

Клаус Манн • МЕФИСТОФЕЛЬ •

Клаус Манн

МЕФИСТОФЕЛЬ





Клаус

Манн

МЕФИСТОФЕЛЬ

**история одной
карьеры**

перевод

с немецкого



Klaus Mann

MEPHISTO

**Roman
einer
Karriere**

Перевод К. БОГАТЫРЕВА

Редактор Е. СУРИЦ

Послесловие Ю. АРХИПОВА

Художник А. КРЫНСКИЙ

**АКТРИСЕ
ТЕРЕЗЕ ГИЗЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ**

И(нем)
М23

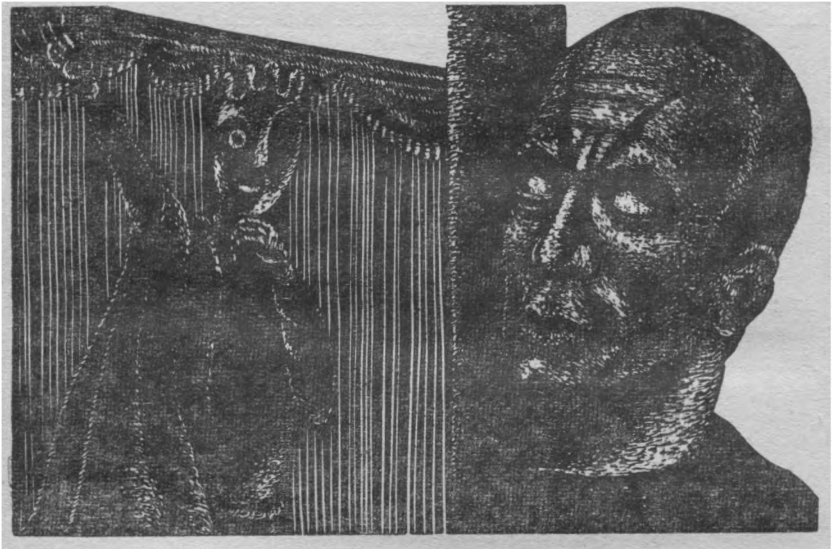
Все слабости человека прощаю я актеру, и ни одной слабости актера не прощаю человеку.

Гёте, Вильгельм Мейстер

— Говорят, в одном промышленном центре на западе Германии осудили больше восьмисот рабочих. Все проходили по одному процессу. Всех в каторжную тюрьму. На большой срок.

— А я слышал, что их было всего пятьсот. И еще больше ста даже не судили — убили тайком за убеждения.

— А что, правда у них такие низкие зарплаты?



— Ужасно низкие, и все ниже и ниже, а цены растут.

— Оформление оперного театра к сегодняшнему торжеству обошлось, говорят, в шестьдесят тысяч марок. Плюс по крайней мере сорок тысяч марок других расходов, да еще прибавьте убытки в связи с закрытием театра на пять дней из-за подготовки к балу.

— Милый семейный праздничек, день рождения, видите ли.

— Чудовищно, а ведь хочешь не хочешь, надо в нем участвовать.

Оба молодых иностранных дипломата, любезно улыбаясь, раскланялись с офицером в парадном мундире, подозрительно глянувшим на них сквозь монокль.

— О, тут весь генералитет!

Они вновь заговорили, лишь когда офицер в парадном мундире оказался вне пределов слышимости.

— Все они говорят только о мире, — горько заметил один.

— Интересно, надолго ли их хватит, — весело усмехнулся второй, кланяясь низенькой даме из японского посольства, шедшей под руку с великаном в морской форме. Рядом с ним она казалась совсем маленькой и очень изящной.

— От них всего можно ждать.

К обоим атташе присоединился господин из министерства иностранных дел. Молодые люди тотчас принялись восхищаться великолепием праздничного убранства.

— Да, это во вкусе господина премьер-министра, — слегка смутился господин из министерства иностранных дел.

— Но какой блеск изобретательности, — поспешили заверить его молодые дипломаты чуть не в один голос.

— Безусловно, — выдавил из себя господин с Вильгельмштрассе.

— Такого великолепия нигде, кроме Берлина, и не увидишь, — успел добавить один из иностранцев.

Господин из министерства иностранных дел секунду помедлил, потом вежливо улыбнулся. Наступила пауза. Все трое осматривались, прислушиваясь к праздничному шуму.

— Невероятно, — шепнул, наконец, один из молодых людей, на этот раз без всякого сарказма. Он был в самом деле потрясен и даже несколько подавлен окружавшим его великолепием. Воздух был насыщен благовониями и освещение так ярко, что ему слепило глаза. Чуть недоверчиво, но с благоговением он смотрел на мерцающие огни.

«Где я? — подумал молодой человек, он был представитель одной из Скандинавских стран. — Ну и убранство — просто невероятно. Даже страшно. Что-то подозрительно мне веселость этих нарядных господ. Двигаются, как марионетки, — угловато и даже вроде дергаются. В глазах ожидание, взгляд неприятный — много страха и жестокости. У нас люди смотрят не так — приветливей, свободней. У нас... И смеются у

нас не так. Да... У нас на севере. У этих смех язвительный, и в нем слышится отчаяние. И что-то наглое в нем, вызывающее, и безнадежно злое, и печальное. Люди с чистой совестью так не смеются».

Пышный бал, данный по случаю сорокатрехлетия премьер-министра, распространился на все помещения Оперного театра. Нарядная толпа текла по длинным фойе, кулуарам и вестибюлям. В ложах, убранных дорогими драпри, откупоривали шампанское. Из партера унесли стулья, там танцевали. Оркестр, размещившийся на сцене, освобожденной от декораций и кулис, был столь велик, что вполне мог исполнять по меньшей мере симфонию Рихарда Штрауса. Звучала, однако, всего лишь странная мешанина из военных маршей и джазовой музыки. Правда, джаз в рейхе презирали по причине негритянского происхождения, но вельможный именованный на своем торжестве не мог от него отказаться.

Здесь собрались все те, кто что-то значил в этой стране, — все, кроме самого диктатора, сославшегося на болезнь горла и переутомление. Не было также кое-кого из партийных выскочек — но это так, плебеи, их просто не пригласили. Зато тут блистало несколько наследных принцев, и множество князей, и почти вся придворная знать. Весь генералитет вермахта, влиятельнейшие финансисты и промышленники, члены дипломатического корпуса — в основном представители малых или отдаленных стран; несколько министров, несколько знаменитых артистов — о благосклонном отношении юбиляра к театру знали все — и даже один поэт очень демократического вида. О нем было известно, что он снискал дружеское расположение диктатора. Всего разослали около двух тысяч приглашений. Из них около тысячи почетных с правом бесплатно наслаждаться празднеством; прочие должны были платить по пятьдесят марок за вход, и таким образом часть издержек окупалась, а остальная часть ложилась бременем на тех налогоплательщиков, которые не принадлежали к ближайшему окружению премьер-министра и ни в коей мере не входили в состав элиты нового немецкого общества.

— Какой чудесный праздник! — воскликнула дородная супруга рейнского фабриканта оружия, обращаясь к жене дипломата из Южной Америки. — Мне так весело, я так счастлива! Вот бы всем людям в Германии и во всем мире было так же хорошо, так же весело, как мне!

Жена дипломата из Южной Америки, плохо понимавшая немецкий, кисло улыбнулась: она скучала...

Счастливую фабрикантку разочаровало это отсутствие энтузиазма, и она двинулась дальше.

— Простите меня, дорогая! — сказала она, изысканным движением подбирая сверкающий шлейф. — Мне надо поздороваться с моей старинной приятельницей из Кельна — матерью директора государственных театров, вы же знаете — великого Хендрика Хефгена.

Тут американка, наконец, раскрыла рот, чтобы спросить: «Who is Henrik Hopfgen?»* — что дало повод фабрикантке потрясенно воскликнуть:

— Как, вы не знаете нашего Хефгена? Хефген, моя дорогая, а не Хопфген, и Хендрик, а не Хенрик — он придает большое значение этому маленькому «д»!

Но она уже метнулась к изящно одетой матроне, которая под руку с поэтом — другом фюрера важно плыла по залу.

— Дорогая фрау Белла! Мы ведь не виделись целую вечность! Как поживаете, моя дорогая? Не тоскуете иногда по нашему Кельну? Правда, здесь у вас такое блестящее положение! А как поживает Йози? Ах, какое прелестное дитя! Но прежде всего: что Хендрик, ваш великий сын? Боже, как он вознесся! Ведь он почти равен министру! Да, да, дорогая фрау Белла! В Кельне так не хватает вас и ваших изумительных детей!

На самом деле миллионерша никогда не интересовалась фрау Беллой Хефген, пока та жила в Кельне и пока сын ее еще не сделал такой головокружительной карьеры. Дамы были едва знакомы. Никогда фрау Беллу не приглашали на виллу фабриканта. Но теперь веселая и благостная богачка так и вцепилась в женщину, сын которой считался близким другом премьер-министра.

Фрау Белла благосклонно улыбалась. Она была одета очень просто, но не без кокетства. На ее гладком, отливающим черным блеском бальном платье сверкала белая орхидея. Седые скромно убранные волосы пикантно контрастировали с еще довольно молодым, чуть подкрашенным лицом. Широко раскрытые зеленовато-голубые глаза приветливо, но сдержанно смотрели на болтливую даму, обязанную и своим

* Кто это Хенрик Хопфген? (А н г л.)

потрясающим ожерельем, и длинными серьгами, и парижским туалетом — словом, решительно всем великолепием — оживлению немецких военных приготовлений.

— Грех жаловаться, нам всем живется неплохо, — сказала со сдержанной гордостью фрау Хефген. — Йози обручилась с молодым графом Доннерсбергом. Хендрик немного переутомлен, он столько работает.

— Ну еще бы! — Лицо фабрикантши выражало почтительность.

— Разрешите вам представить нашего друга Цезаря фон Мука, — сказала фрау Белла.

Поэт наклонился к усыпанной бриллиантами руке, и болтовня тотчас полилась снова.

— Ах, как интересно, я ужасно рада, я тотчас же вас узнала по фотографиям. Вашей драмой «Танненберг» я восхищалась в Кельне, постановка хорошая, правда, хорошая, конечно без того блеска, каким нас избаловали в Берлине, но вполне приличная и, без сомнения, достойна всяких похвал. А вы, господин государственный советник, вы же сделали такое огромное путешествие, весь мир говорит о ваших путевых очерках. На днях они у меня будут.

— Я видел на чужбине много прекрасного и много уродливого, — скромно отвечал поэт. — Но путешествую я не только ради собственного удовольствия, а скорее с миссионерскими целями.

Голубые, стальные глаза, пронизательность и пламенная чистота которых отмечалась во множестве статей, оценивающие смотрели на драгоценности миллионерши. «Неплохо бы пожить на ее вилле, если я поеду в Кельн для доклада или новой постановки», — подумал поэт.

— Для нашего прямого ума просто непостижимо, — продолжал он, — сколько намеренной лжи о нашей стране распространяют в мире.

Лицо его было так устроено, что любому репортеру тотчас напрашивалась ассоциация с резьбой по дереву: изборозженный морщинами лоб, стальные глаза под светлыми бровями, сжатые губы... Говорил он с легким саксонским акцентом. Жена фабриканта оружия подпала под обаяние этого лица и этой речи.

— Ах, — посмотрела она на него мечтательно. — Когда приедете в Кельн, непременно будьте нашим гостем!

Государственный советник Цезарь фон Мук, президент

академии писателей и автор шедшей на всех сценах пьесы «Танненберг», поклонился с рыцарским достоинством.

— Почту за честь, мадам, — и при этом он положил даже руку на сердце.

Промышленница нашла его прелестным.

— Какое счастье слушать вас целый вечер, ваше превосходительство! — воскликнула она. — Чего только вы не повидали на веку! Вы даже были, кажется, директором государственных театров?

Этот вопрос показался бестактным как изысканной фрау Белле, так и автору трагедии «Танненберг». Он довольно резко отчеканил:

— Да, разумеется.

Миллионерша ничего не заметила. Напротив, она продолжала трещать с неуместной шаловливостью:

— Вы, государственный советник, наверное, чуть-чуть завидуете нашему Хендрику, вашему преемнику, — и она погрозила ему пальцем.

Фрау Белла не знала, куда деваться. Цезарь фон Мук, однако, доказал, что безупречная светскость может вполне заменить то, что люди называют благородством. На его сошедшем с гравюры лице проступила улыбка, лишь на первый взгляд несколько горькая, на самом же деле кроткая, добрая и даже мудрая.

— Это тяжелое бремя я с радостью — от всего сердца — передал моему другу Хефгену, который, как никто иной, призван его нести.

Голос его дрожал. Он был сильно взволнован своим великодушием, благородством своих помыслов. Видно было, что на фрау Беллу, мать директора, его слова произвели сильное впечатление. Подруга же фабриканта оружия была настолько растрогана благородством и величием знаменитого драматурга, что чуть не расплакалась. Героическим усилием воли она сглотнула слезы, вытерла уголки глаз носовым платком и вернулась к обычной своей чисто рейнской веселости. Взгляд ее вновь засиял.

— Какой восхитительный праздник!

Праздник был действительно восхитительный, тут уж ничего не скажешь. Как все блестело, пахло, шуршало! Трудно было понять, что больше блестело: драгоценности или ордена. Огни огромных люстр скользили по обнаженным спинам,

раскрашенным лицам, по жирным затылкам, крахмальным воротничкам, и галунам мундиров, и по вспотевшим лицам лакеев, пробежавших с освежительными напитками. Благоухали цветы, со вкусом расставленные по всем помещениям театра. Благоухали парижскими духами немецкие дамы. Благоухали сигары промышленников и напомаженные волосы юношей в скромно-элегантных формах СС. Благоухали принцы и принцессы, руководители тайной полиции, редакторы газет, кинозвезды, профессора университетов, заведующие кафедрами расовых и военных наук и даже кое-кто из еврейских банкиров, чье богатство и международные связи так подняли их, что невозможно было их не пригласить даже в такое высокое собрание. Эти облака искусственных благоуханий словно призваны были заслонить другой запах — пресный, сладковатый запах крови, столь обожаемый в этой стране. Но здесь, в присутствии иностранных дипломатов, его все же несколько стеснялись.

— Невероятно! — сказал высокого роста рейхсверовец своему спутнику. — И чего только толстяк себе не позволяет.

— Мы же сами ему потакаем! — ответил тот.

И они изобразили на своих лицах хорошее настроение. Ибо их фотографировали.

— Платье на Лотте стоит, говорят, три тысячи марок, — сообщила киноактриса наследнику Гогенцоллернов, с которым она танцевала. Лотта была супругой титулованного и могущественного премьер-министра, который решил отпраздновать свое сорокатрехлетие, как сказочный принц. Прежде Лотта была провинциальной актрисой и считалась скромной и доброй, истинно немецкой женщиной. В день свадьбы сказочный принц приказал казнить двух рабочих.

Гогенцоллерн сказал:

— В нашей семье не знали такой роскоши... Когда же, наконец, пожалует высокая чета? Очевидно, они хотят, чтоб наше нетерпение достигло предела!

— Лотхен это умеет! — деловито заметила бывшая подруга хозяйки страны.

Поистине великолепный праздник! Это живейшим образом ощущали все приглашенные: как почетные гости, так и те, что заплатили по пятьдесят марок за право присутствовать на балу. Танцевали, болтали, флиртовали; восхищались сами-

ми собою и другими, но особенное восхищение вызывала власть, которая могла себе позволить такую расточительность. В ложах и кулуарах, возле буфетов, ломившихся от яств, велись оживленные беседы. Спорили о дамских туалетах, о богатстве того или иного из гостей, о призах, которые будут раздаваться при розыгрыше благотворительной лотереи: самым ценным призом, говорили, был бриллиантовый фашистский знак, изящный и очень дорогой. Его можно носить вместо броши или кулона. Посвященные утверждали, что заготовлены и очень забавные утешительные призы, например пушки и танки из марципана. Совсем как настоящие! Иные из дам капризно уверяли, что предпочитают драгоценной свастике это сладкое оружие смерти. То и дело раздавался смех. Приглушенные голоса обсуждали политическую подоплеку празднества. Отмечалось, что диктатор отказался явиться и что нет многих партийных деятелей. С другой стороны, бросалось в глаза присутствие большого количества членов княжеских семей. С этим обстоятельством связывали темные многозначительные слухи, шепотом передававшиеся из уст в уста. Кое-кто знал мрачные подробности о состоянии здоровья диктатора. Все это взволнованным шепотом обсуждалось и в кругу иностранных журналистов и среди представителей рейхсвера и промышленников.

— Значит, видимо, все-таки рак, — сообщал, прикрывая рот носовым платком, представитель английской прессы одному из своих парижских коллег.

Но он не на того напал. Пьер Ларю был отвратительным, коварным карликом, но это не мешало ему восторгаться красотой военной формы, а заодно и героизмом представителей новой Германии. По существу, он даже не был настоящим журналистом, но просто богатым человеком, автором книг-сплетен об общественной, литературной и политической жизни европейских столиц. Истинным смыслом его жизни было заводить знакомства со знаменитостями. Этот отвратительный гном с острым личиком и тонким старушечьим голоском презирал демократию собственной страны и объяснял каждому, кто желал его слушать, что Клемансо прохвост, а Бриан идиот, и любой чиновник из гестапо был для него чуть ли не полубогом, а верхушка нового немецкого режима сонмом небожителей.

— Это гнусная и глупая клевета! — Гном лопался от злости. Голос шелестел, как опавшая листва. — Состояние здо-

ровья фюрера не оставляет желать лучшего. Он лишь немного простужен. — Было похоже, что маленькое чудовище тотчас побежит с доносом.

Английский корреспондент начал нервничать. Он попытался вывернуться:

— Мне намекнул на это мой итальянский коллега.

Но слабосильный обожатель военных мундиров строго его оборвал:

— Замолчите! Ничего не хочу знать! Все — безответственная болтовня. Простите, — добавил он помягче, — мне надо поздороваться с бывшим королем Болгарии. Рядом с ним принцесса Гессенская, я познакомился с ее высочеством при дворе ее отца в Риме. — И убежал, прижав к груди маленькие, худенькие ручки. Он напоминал теперь какого-то хитрого, коварного аббата.

Англичанин пробормотал:

— Damned snob! *

В зале зашушукались, заволновались: вошел министр пропаганды. Его не ждали: все знали о его напряженных отношениях с жирным именовником, который, впрочем, все еще не прибыл, видимо, намереваясь произвести максимальный эффект своим появлением.

Министр пропаганды — властитель дум многомиллионного народа — быстро прохромал сквозь блестящую толпу, раступавшуюся перед ним с поклонами. Казалось, вместе с ним в зал ворвался ледяной ветер. Казалось, некое злое, опасное, одинокое и суровое божество сошло в толпу примитивных и жалких смертных. На несколько секунд все общество словно парализовал ужас. Танцующие застыли в прелестных па, устремив испуганные, подобострастно-ненавидящие взгляды на карлика, наводящего ужас. А тот, очаровательной улыбкой растягивая худые губы до самых ушей, пытался несколько сгладить впечатление. Он хотел очаровывать, старался смягчить выражение своих острых, глубоко сидящих глазок. Грациозно волоча косолапую ногу, он ловко проходил по залам, показывая обществу из двух тысяч рабов, попутчиков, обманщиков, обманутых и дураков свой ложно значительный профиль хищной птицы. Коварно улыбаясь, пробежал он мимо сгрудившихся миллионов, послов, кинозвезд и военных чи-

* Проклятый сноб! (А н г л.)

нов. Остановился он только перед директором Хендриком Хефгенном, государственным советником и сенатором.

Еще одна сенсация! Директор Хефген принадлежал к числу явных фаворитов премьер-министра и генерала авиации, который и устроил его на пост руководителя государственных театров вопреки воле министра пропаганды, вынудив того после долгой и упорной борьбы поступиться интересами собственного протеза, поэта Цезаря фон Мука, и отправить его в путешествие. И вот он демонстративно чествует креатуру своего врага, здороваается с ним, беседует. Хочет ли хитрый министр пропаганды показать международной элите, что в немецких верхах вовсе не существует несогласий и интриг и что слухи о распрях между ним, шефом рекламы, и генералом авиации — гнусные побасенки, не более? Или Хендрик Хефген — одна из самых популярных фигур в столице — со своей стороны, столь хитер, что сумел завести такие же интимные отношения с министром пропаганды, как и с генералом — премьер-министром? И, играя на вражде всемогущих властей, пользуется милостями обоих сразу? О, он такой ловкач, он на все способен.

До чего же все это интересно! Пьер Ларю бросил бывшего короля Болгарии и, гонимый любопытством, как перышко порывом ветра, просеменил через зал, чтобы в непосредственной близости лицезреть эту встречу. Стальные глаза Цезаря фон Мука недоверчиво сощурились, миллионерша из Кельна сладострастно застонала от радости, что присутствует при столь необычайном событии. А фрау Белла Хефген, мать великого человека, улыбалась всем, кто стоял поблизости, — улыбалась милостиво и ободряюще, словно хотела сказать: «Мой Хендрик — великий человек, а я его достойная мать. О, нет-нет, вы можете не преклонять колен. Он и я — мы ведь всего лишь существа из плоти и крови, хотя во всем прочем и отличаемся от остальных людей».

— Как поживаете, мой дорогой Хефген? — спросил министр пропаганды, приятно улыбаясь и глядя на директора.

И директор заулыбался. Но улыбка его была сдержанной, почти горькой.

— Спасибо, господин министр!

Он говорил тихо, несколько напевно и очень подчеркнуто. Министр все еще не выпускал его руки из своей.

— Могу ли я справиться о здоровье вашей супруги? — спросил директор.

И тут уж его высокому собеседнику пришлось сделать серьезную мину.

— Она сегодня не совсем здорова, — ответил он, выпуская, наконец, руку сенатора и государственного советника.

И тот отозвался печально:

— О, как жаль!

Конечно, он, как и все присутствующие, знал, что жена министра пропаганды совершенно сломлена и опустошена завистью к супруге премьер-министра. А поскольку сам диктатор был неженат, то законная жена шефа рекламы оказалась первой дамой в рейхе и эту функцию божьей милостью исполняла с приличием и достоинством, каковых не смог бы отрицать даже ее злейший враг. Но вот явилась эта Лотта Линденталь — средняя актриса, и особенно молодой ее тоже не назовешь, — и женила на себе влюбленного толстяка. Жена министра пропаганды страдала ужасно! Подумать только! Оспаривается ее право называться первой дамой рейха! Другая вырывается вперед! С комедианткой носятся так, словно воскресла сама королева Луиза! Каждый раз, когда чествовали Лотту, жена шефа рекламы так злилась, что у нее начиналась мигрень. И сегодня она осталась в постели.

— Вашей супруге было бы здесь очень приятно. — С лица Хефгена все еще не сходило выражение торжественности. В словах не было и следа иронии. — Как жаль, что фюреру пришлось отказаться. Английский и французский послы тоже не смогли прибыть.

Этими замечаниями, произнесенными самым мягким тоном, Хефген предавал собственного друга и покровителя, премьер-министра, которому был обязан всем своим блеском, — ревнивого министра пропаганды надо было попридержать в резерве.

Колченогий спросил доверительно, не без презрения:

— Ну, а как общее настроение?

Директор государственных театров ответил сдержанно:

— Кажется, веселятся.

Оба высокопоставленных лица понизили голос. Ибо их уже обступили любопытные фотографы. Пушечная фабрикантша шептала Пьеру Ларю, потиравшему в экстазе костлявые ручки:

— Наш директор и министр! Ну разве не восхитительная пара? Такие значительные лица! И оба так хороши собой!

Она притиснула пышные, украшенные драгоценностями телеса к слабому телу карлика. Хрупкий галл — почитатель германского героизма, стройных юношей, идей фюрера и высоких дворянских имен — испугался близости такого количества вздыхающего женского мяса. Он метнулся в сторону, бормоча:

— Потрясающе! Великолепно! Несравненно!

Дама с Рейна настаивала:

— Наш Хефген — настоящий мужчина, уверяю вас! Генрих, какого не сыщешь ни в Париже, ни в Голливуде! Истинно немецкий дух, прямой, простой и честный! Я его знала, когда он был еще во-от такой! — И она довольно верно показала, каким маленьким был Хендрик, когда она, миллионерша, игнорировала его мать во время кельнских благотворительных мероприятий. — Изумительный мальчик! — сказала она, и глаза у нее подернулись такой подозрительной поволокой, что Ларю пустился в бегство.

Хендрику Хефгену можно было дать лет пятьдесят. Но ему было всего лишь тридцать девять — невероятно мало для такого поста. Бледное лицо в роговых очках выражало то каменное спокойствие, которое умеют напускать на себя очень нервные и очень тщеславные люди, когда замечают, что на них смотрят. Лысый череп был благородной формы. Высокие дуги светлых бровей, резко выделявшиеся на сером, бледном и отеком лице, шли к впавшим, страдальческим вискам. Он гордо нес выдающийся подбородок, так что подчеркивалась благородная, красивая линия от подбородка к уху. На бледных губах застыла многозначительная, презрительная и одновременно заискивающая улыбка. За большими сверкающими стеклами очков почти не видно было глаз. Когда же они показывались, то наводили ужас, ибо при всей своей бдительности были ледяными, при всей меланхоличности — жестокими. Эти серо-зеленые переливчатые глаза напоминали редкостные драгоценные камни, приносящие несчастье. И в то же время они напоминали глаза жадной, злой и опасной рыбы. Все дамы и большинство мужчин находили Хендрика Хефгена не только значительным и в высшей степени ловким, но и замечательно красивым. Его сдержанная — от сознания своей неотразимости — манера держаться, рассчитанные движенья и дорогой фрак отвлекали внимание от того факта, что он был явно жирноват, особенно в бедрах.

— Поздравляю вас с вашим Гамлетом, мой милый, — говорил министр пропаганды, — блестящее достижение. Немецкая сцена может вами гордиться.

Хефген слегка наклонил голову, опустив красивый подбородок; над высоким ослепительным воротником шея пошла складками.

— Кому не под силу сыграть Гамлета, тот не достоин называться артистом. — В голосе прозвучала скромность.

Министру оставалось лишь констатировать:

— Вы глубоко прочувствовали всю трагедию.

Но тут по залу прошло волнение.

Генерал авиации и его супруга, бывшая актриса Лотта Линденталь, появились в центральной двери. Громкие аплодисменты и возгласы приветствовали их появление. Сиятельная чета прошла сквозь шпалеры ликующих людей. Ни один царь не выходил с таким великолепием. Энтузиазм был невероятный. Каждый из двух тысяч благороднейших избранных хотел как можно более громкими возгласами и аплодисментами доказать самому премьер-министру и всем прочим, как близки его сердцу праздник сорокатрехлетия всесильного господина и вообще судьбы нации и государства. Орала: «Хох!», «Хайль!» и «Поздравляем!» — бросали цветы, которые фрау Лотта ловила с грациозным достоинством. Оркестр играл большой туш. У министра пропаганды лицо перекошилось от злости. Но на это никто не обратил внимания, кроме, может быть, Хендрика Хефгена. Он стоял неподвижно. Учтиво застыв, он ожидал своего покровителя.

Держали пари, в каком фантастическом одеянии на этот раз появится толстяк. Он избрал путь кокетства аскетизмом и потряс общество скромным одеянием. Бутылочного цвета тужурка производила впечатление почти домашней куртки строгого покроя. На груди блестела лишь совсем маленькая орденская звездочка. В серых штанах его ноги, которые он обычно скрывал под полами пальто, казались особенно толстыми — словно две медленно передвигающиеся колонны. Колоссальные размеры и чудовищная тучность словно специально были даны ему, чтобы нагонять на всех страх и благоговение, — смеяться над ним ни у кого не было охоты: и у самого храброго в горле застревал смех при мысли о том, сколько крови пролито по указанию этой мясной туши и сколько, возможно, еще прольется ее в его честь. Массивная голова на короткой толстой шее, казалось, была полита

красным соком: голова Цезаря, с которой содрали кожу. В лице не было уже ничего человеческого — бесформенный кусок сырого мяса.

Премьер-министр величаво проносил через сияющее собрание свой огромный живот. Премьер-министр ухмылялся.

Его жена Лотта не ухмылялась, но одаряла улыбкой — королева Луиза до мозга костей. И ее драгоценное платье — предмет обсуждения дам — было тем не менее скромно: гладко скользкая, мерцающая серебром ткань падала по-королевски длинным шлейфом. Бриллиантовая диадема в белесых, как сноп пшеницы, волосах, жемчуга и смарагды на груди затмевали самые дерзкие мечты присутствующих дам. Гигантские драгоценности провинциальной актрисы составляли несметное богатство: то были дары любезного супруга (так бичевавшего в официальных речах склонность к роскоши и продажность республиканских министров и бургомистров), а также подношения кое-кого из хорошо устроенных верноподанных. Фрау Лотта умела принимать такого рода знаки внимания с простотой и веселостью, которые упрочили за ней славу женщины наивной, матерински доброй и достойной всяческого уважения. Честь ее была незапятнана, бескорыстие бесспорно. Красота ее стала идеалом немецкой красоты. У нее были большие, круглые, немного навывкате, коровьи глаза, сверкающие влажной голубизной, красивые светлые волосы и белоснежная грудь.

Впрочем, и она тоже начала слегка полнеть в результате обильного питания в президентском дворце. О ней с восхищением говорили, что она просила мужа за нескольких евреев из хорошего общества — правда, евреи тем не менее попали в концентрационный лагерь. Ее называли добрым ангелом премьер-министра, хотя чудовище не смягчилось под ее воздействием. Одна из наиболее известных ее ролей была леди Милфорд из «Коварства и любви» Шиллера: содержанка власть имущего, которая не в силах вынести блеска драгоценностей, а также и близости своего князя, после того как узнала, чем оплачиваются драгоценности. Выступая на сцене Государственного театра в последний раз, она играла Минну фон Барнхельм. Перед тем как переехать во дворец генерала авиации, она декламировала строфы поэта, которого ее супруг и его сообщники преследовали бы и травили, живи он поныне в этой стране. В ее присутствии обсуждались самые

страшные тайны тоталитарного государства, а она по-матерински смеялась. По утрам, кокетливо выглядывая из-за плеча супруга, она видела на письменном столе в стиле ренессанс смертные приговоры — он их подписывал. Вечером она демонстрировала белую грудь и хитроумную пышную прическу на премьерах в опере или за столом тех избранных, которых удостаивала знакомством. Она была недоступна осуждению. Ибо ничего не подозревала и была сентиментальна. Ей казалось, что она окружена «любовью своего народа», потому что две тысячи тщеславных, продажных снобов рукоплескали в ее честь. Она проходила сквозь блеск и раздаривала улыбки, кроме них, она ничего никогда не дарила. Она вполне серьезно считала, что бог благоволил к ней, раз наделил ее столькими драгоценностями. Недостаток фантазии и ума хранил ее от мыслей о будущем, которое, возможно, и непохоже на прекрасное настоящее. Идя с гордо поднятой головой, в сиянии света сквозь восторженный гул толпы, она ни секунды не сомневалась в незыблемости этой волшебной сказки. Никогда — так думала она с уверенностью, — никогда не пройдет этот блеск. Никогда не отомстят ей истязаемые, никогда не поглотит ее тьма. Все еще играли туш, и все так же громко. Все еще раздавались подобострастные выкрики. Тем временем Лотта и толстяк подошли к министру пропаганды и Хефгену. Трое господ подняли руки, небрежно намекая на церемонию приветствия. Потом Хендрик с серьезной, проникновенной улыбкой склонился над рукой важной дамы, которую он имел возможность довольно часто обнимать на сцене. И так они стояли, пронзаемые любопытными взглядами лучших представителей избранного общества — четверо властителей страны, четверо комедиантов — шеф рекламы, специалист по смертным приговорам и бомбардировщикам, замужняя инженер и бледный лицедей. Избранное общество наблюдало, как толстяк с треском хлопнул по плечу директора и с хрюкающим смешком спросил:

— Ну как дела, Мефисто?

С эстетической точки зрения ситуация была выгодна для Хефгена: рядом со слишком уж крупной четой он казался стройным, а рядом с подвижным, но уродливым карлом — шефом рекламы — высоким и статным. Впрочем, и лицо его, как оно ни было бледно и мрачно, все же являло собой отрядный контраст с теми тремя лицами, которые его окружали: впалые виски и сильный подбородок все же выдавали ли-

цо человека, жившего и страдавшего. Лицо же его мясистого покровителя было разбухшей свиной маской, мордочка инженерю — маской воплощенной глупости, а у руководителя пропаганды была просто перекошенная рожа.

Инженю сказала, метнув задушевный взгляд в директора, к которому питала тайное — однако же и не слишком тайное — расположение:

— Я вам ведь еще не говорила, Хендрик, в каком я восторге от вашего Гамлета!

Он молча пожал ей руку, причем подошел к ней на шаг и попытался взглянуть на нее тем же задушевым взглядом, каким ее наделила сама природа. Попытка была обречена на неудачу: рыбыи глаза, напоминающие драгоценные камни, не могли излучать столько мягкого тепла. Поэтому он тотчас сделал серьезное, почти сердитое официальное лицо и проворчал:

— Я хочу сказать несколько слов.

И поднял голос.

Голос был безукоризненно поставлен, и утонченные металлические переливы достигли самых дальних уголков огромного зала:

— Господин премьер-министр, ваши превосходительства, ваши высочества, дамы и господа! Мы гордимся — да, мы гордимся, что имеем счастье праздновать эту дату в этом доме с вами, господин премьер-министр, и с вашей очаровательной супругой...

При первых же звуках его голоса смолк взволнованный говор двухтысячной толпы. Все, подобострастно застыв, слушали длинную патетическую и пошлую поздравительную речь, которую произносил директор, сенатор и государственный советник в честь своего премьер-министра. Все глаза устремились на Хендрика Хефгена. Все им восхищались. Он принадлежал к власти имущим. Он купался в сиянии власти — до поры до времени. Он был одним из самых изысканных представителей этой власти. Сорокатрехлетие хозяина придало знаменитому голосу неожиданно радостные тона. Хефген высоко поднял подбородок, глаза сияли, скупой и смелый жест был очень красив. Тщательнейшим образом он избегал правды. Скальпированный Цезарь, шеф рекламы и всесильная инженерю, казалось, следили за тем, чтобы с его губ сходила только ложь, одна ложь, ничего, кроме лжи:

таков был тайный сговор, связывавший всех в этом зале, да и во всей стране.

Когда он в бравурно-приподнятом темпе приближался к концу своей речи, красивая молодая дама — жена известного кинорежиссера, скромно стоявшая в дальнем углу, беззвучно шепнула своей соседке:

— Когда он кончит, надо будет подойти и пожать ему руку. Фантастика! Я ведь его знаю еще по Гамбургу. Вот были веселые времена! Ну и карьера!

В последние годы мировой войны и в первые годы после ноябрьской революции литературный театр Германии процветал. В эти времена, невзирая на тяжелое экономическое положение в стране, дела у директора Оскара Х. Кроге шли блестяще. Он руководил камерным театром во Франкфурте-на-Майне: в тесном гулком подвальном помещении интимно встречался интеллектуальный цвет города, и прежде



всего увлекающаяся, взбудораженная событиями молодежь, любящая поспорить и поаплодировать после премьер Ведекинда или Стриндберга, Георга Кайзера, Штернгейма, Фрица фон Унру, Хазенклевера или Толлера. Оскар Х. Кроге, который и сам был эссеист и писал стихотворные гимны, придавал большое значение моральной функции театра: со сцены должно воспитывать новое поколение в тех идеалах, которым, казалось, пришло время, — в идеалах свободы, справедливости, мира. Оскар Х. Кроге был патетичен, доверчив и

наивен. В воскресные утренники, перед постановкой пьесы Толстого или Рабиндраната Тагора, он выступал перед своим приходом с речью. Часто употреблялось слово «человечество». Молодым людям, теснившимся в партере, он кричал: «Смелее, братья!» — и собирал урожай аплодисментов, заключая свою речь словами Шиллера: «Обнимитесь, миллионы!»

Оскара Х. Кроге любили и почитали во Франкфурте-на-Майне и повсюду, где интересовались смелыми экспериментами интеллектуального театра. Выразительное лицо, высокий, изборожденный морщинами лоб, редеющая грива седых волос и добрые, умные глаза за золотыми очками в тонкой оправе часто мелькали в авангардистских ревю. А иногда и в больших иллюстрированных журналах. Оскар Х. Кроге принадлежал к числу наиболее активных и успешных поборников экспрессионизма в драме. Вне всякого сомнения — и он сам слишком скоро это понял, — с его стороны было ошибкой оставить маленький театр во Франкфурте. Гамбургский Художественный театр, где ему предложили место директора в 1923 году, правда, был больше. Потому он и принял предложение. Но гамбургская публика оказалась далеко не столь отзывчивой к тонкому, прочувствованному эксперименту, как изысканный и подготовленный круг франкфуртских завсегдаев. В Гамбургском Художественном театре Кроге приходилось, кроме вещей, близких его сердцу, показывать такие пьесы, как «Похищение сабинянок» и «Пансион Шеллер». И он страдал. Каждую пятницу, когда утверждался репертуар на неделю, происходила баталия с господином Шмицем, директором театра по административной части. Шмиц хотел ставить фарсы и ходкие комедии-боевики. Кроге же настаивал на художественном репертуаре. Большею частью Шмиц, который, впрочем, был сердечно расположен к Кроге и безмерно им восхищался, должен был уступать. Художественный театр придерживался художественного репертуара, но это уменьшало доходы.

Кроге жаловался на безразличие гамбургской молодежи и на антидуховность всего общества, не принимавшего ничего высшего.

— Куда все подевалось! — говорил он с горечью. — В 1919 году ходили еще на Стриндберга и Ведекинда. В 1926 году жаждут одних оперетт.

Оскар Х. Кроге был чересчур требователен и не обладал

к тому же провидческим даром. Разве стал бы он жаловаться на судьбу в 1926 году, если бы мог себе представить год 1936-й?

— Хорошие вещи не тянут, — жаловался он. — Вчера даже «Ткачи» прошли при полупустом зале.

— Но ведь сводим же мы как-то концы с концами.

Директор Шмиц пытался утешить друга: озабоченные морщины на добром детски-старческом кошачьем лице Кроге причиняли ему боль, хотя у него самого были все основания тревожиться и несколько глубоких складок уже прорезали его пухлое розовое лицо.

— Но как! — Кроге никак не поддавался утешениям. — Каким образом мы все же сводим концы с концами? Приходится приглашать знаменитых гостей из Берлина — как сегодня вечером, например, — чтобы гамбургцы к нам пожаловали!

Гедда фон Герцфельд — актриса, давнишняя их сотрудница и приятельница Кроге, уже во Франкфурте ставшая его советчиком, замечала:

— Опять тебе все представляется в черном свете, Оскар! В конце концов что же постыдного в том, что мы приглашаем Дору Мартин? Она великолепна, а гамбургцы посещают нас и когда играет Хефген.

Выговаривая слово «Хефген», фрау фон Герцфельд тонко и нежно улыбнулась. По ее большому напудренному лицу с крупным носом и с большими золотисто-карими грустными и умными глазами прошло скромное сияние.

Кроге отвечал ворчливо:

— Хефгену переплачивают.

— Но ведь и Мартин тоже, — возражал Шмиц. — Признаю ее волшебство и невероятный успех. Но тысяча марок за вечер — не слишком ли бешеная цена?

— Запросы берлинских звезд, — заметила презрительно Гедда.

Она никогда не работала в Берлине и утверждала, что ненавидит столичную суету.

— Тысяча марок в месяц Хефгену тоже многовато, — уверял Кроге, вдруг почему-то обидясь. — С каких же пор мы ему платим тысячу? — спросил он вызывающе у Шмица. — Всегда платили восемьсот, и это тоже предостаточно.

— Что же делать? — Шмиц извинялся. — Он ворвался ко мне в кабинет и сел ко мне на колени...

Фрау фон Герцфельд заметила, что Шмиц покраснел, рассказывая об этом эпизоде.

— Он щекотал мне подбородок и все время повторял: «Мне необходима тысяча марок! Тысяча марок, докторишка! Это такая кругленькая сумма!» Что же мне оставалось делать, Кроге? Ну, скажите!

Это был обычный прием Хефгена: когда ему нужен был аванс или повышение заработка, он влетал в бюро Шмица как ураган. Он разыгрывал милого капризулю, прекрасно зная, что толстый, неуклюжий Шмиц не устоит, если потрепать ему волосы и ткнуть пальцем в живот. Ну, а если речь идет о тысяче марок, можно и сесть к нему на колени. Шмиц, покраснев, во всем этом признался.

— Все глупости! — Кроге сердито и озабоченно покачал головой. — Хефген, по существу, кривляка. Все в нем фальшиво, начиная от его литературного вкуса до его так называемого коммунизма. Он не художник, он только комедиант.

— Что тебе сделал Хендрик? — фрау фон Герцфельд старалась говорить иронически. На самом деле ей было вовсе не до иронии, когда она говорила о Хефгене, чьи точно рассчитанные чары слишком на нее действовали.

— Ведь он наш первый номер. Только бы его не перемашили в Берлин.

— Не разделяю ваших восторгов, — сказал Кроге. — Просто опытный провинциальный актер, и в глубине души он сам это прекрасно знает.

Шмиц спросил:

— А куда он подевался сегодня?

На что фрау фон Герцфельд тихонько хихикнула:

— Спрятался в своей уборной за ширмой — мне донес маленький Бёк. Он всегда страшно волнуется и ревнует, когда приезжают берлинские гости. «Так далеко мне никогда не пойти», — говорит он в таких случаях и прячется за ширмой. Чистая истерика. Особенно его выводит из себя эта Мартин, у Хендрика к ней какая-то сложная любовь-ненависть. Сегодня вечером, говорят, у него был просто настоящий нервный припадок.

— Комплекс неполноценности! — воскликнул Кроге и торжественно огляделся. — Или я вам больше скажу: в душе он знает себе точную цену!

Все трое сидели в театральной столовой, которая называ-

лась в честь Гамбургского Художественного театра коротко «Г. Х.».

Над столами с грязными скатертями висели запыленные фотографии всех, кто в течение десятилетия здесь играл, — целая галерея. Фрау фон Герцфельд иногда во время беседы улыбалась фотографиям инженеру, комических стариков, героев-отцов, молодых любовников, интриганов и салонных дам; Кроге и Шмиц не обращали на них никакого внимания.

Внизу, на сцене, в каком-то боевике играла Дора Мартин, которая своим хриплым голосом, соблазнительной юной худобой и трагически расширенным бездонным детским взором околдовывала публику больших немецких городов. Оба директора и фрау фон Герцфельд покинули ложу после второго акта. Остальные члены коллектива Художественного театра оставались в зале, чтоб до конца видеть игру берлинской штучки, которую они и обожали и ненавидели.

— Ну и труппу она приволокла. Ниже всякой критики, — презрительно заметил Кроге.

— Что же вы хотите? — возразил Шмиц. — Как же ей заработать свою тысячу марок, если брать с собой дорогих актеров?

— Но сама она с каждым разом все лучше, — сказала умная Герцфельд. — Она может себе позволить любое манерничание. Как она говорит! Голос душевнобольного ребенка. Нет, она неотразима!

— Душевнобольной ребенок — неплохо сказано, — засмеялся Кроге.

— Кажется, кончили, — добавил он, глядя в окно.

Люди проходили по мощеной дорожке мимо ресторана, к воротам на улицу. Ресторан постепенно заполнялся людьми. Артисты подчеркнуто почтительно и сердечно приветствовали директора и громко поддразнивали низенького крепыша хозяина с белой бородой и сизым носом. Хозяин ресторана папаша Ганземанн был для труппы почти столь же важной персоной, как Шмиц — директор по административной части. От Шмица, когда он бывал в добром расположении, всегда удавалось получить аванс, а во второй половине месяца, когда жалование уже кончалось и аванса не давали, можно было занимать у Ганземанна. Все были у него в долгу. Утверждали, что Хефген должен ему больше ста марок. Так что Ганземанн вполне мог себе позволить не реагировать

на шутки несолидных гостей. С застывшим, угрожающе серьезным лицом он подавал коньяк, пиво и холодную закуску, за которую никто не платил.

Все говорили о Доре Мартин, у всех было свое мнение о качестве ее игры. Все сходились в одном: ей явно слишком много платят.

Моц объясняла:

— Из-за этих звезд погибает немецкий театр.

На что ее друг Петерсен мрачно кивал головой. Петерсен исполнял роли отцов, но посягал на роли героев. Ему хотелось играть королей или старых благородных рубак в исторических пьесах. Но он не вышел ростом и был для этих ролей чересчур толст — как ни пытался он держаться прямо. К его подчеркнuto простодушному лицу очень пошла бы седая шкиперская борода. А поскольку бороды он не носил, лицо с длинной верхней губой и ярко-голубыми выразительно поблескивавшими, но слишком маленькими глазками казалось голым. Моц любила его больше, чем он ее. Это все знали.

Он кивнул, и она тотчас повернулась и интимно, многозначительно сказала:

— Правда ведь, Петерсен, мы уже говорили об этом разбазаривании денег?

Он подтвердил:

— Конечно же, — и подмигнул Рахели Моренвиц — молоденькой девице, которая, несмотря на черную челку до самых подбритых бровей и большой монокль, выглядела почти ребенком.

— В Берлине фокусы Мартин, может быть, и производят впечатление, — очень решительно говорила Моц, — но нас, стреляных воробьев, она не проведет.

Моц оглянулась, ища поддержки. По амплуа она была комической старухой. Иногда ей разрешали играть салонных дам. Она часто, много и громко смеялась, показывая золотые зубы, и тогда у рта собирались складки. Сейчас она была совершенно серьезна, даже строга.

Небрежно поигрывая длинным мундштуком, Рахель Моренвиц сказала:

— Нельзя отрицать, что в чем-то Мартин все-таки невероятно сильная личность. Стоит ей выйти на сцену, и она уже в центре внимания. Вы меня поняли?

Все ее поняли. Но Моц недовольно потрянула головой, а

маленькая Ангелика Зиберт высоким робким голоском объявила:

— Я в восторге от Мартин. Она сказочно обаятельна, так я считаю.

И залилась краской, произнеся столь длинную и смелую фразу. Все даже несколько растроганно на нее посмотрели. Маленькая Зиберт была очаровательна и коротко остриженной светлой головкой с косым пробором напоминала тринадцатилетнего мальчика. Светлые невинные глаза не портила близорукость. Некоторые считали, что именно манера Ангелики щуриться придает ей особую прелесть.

— Наша малышка опять размечталась. — Красавец Рольф Бонетти, пожалуй, чересчур громко рассмеялся.

Никто в труппе не получал столько любовных записочек из публики. Следствием этого у Рольфа явилось высокомерно-брезгливое выражение лица. Но маленькой Ангелики он домогался и уже давно искал ее благосклонности. На сцене он часто обнимал ее — по роли. Но в остальное время она держалась неприступно. С удивительным упорством она изливала свою нежность на объект, взаимности которого не могла ожидать. Трогательная, милая, она, казалось, была создана для того, чтоб ее носили на руках. Но странное упрямство сердца оставляло ее холодной к бурным заверениям Рольфа Бонетти и обрекало ее горько плакать из-за ледяного пренебрежения к ней Хендрика Хефгена.

Рольф Бонетти произнес с видом знатока:

— Как женщина эта Мартин, конечно, ничто: гермофродит какой-то — наверняка холодна как лягушка.

— А по-моему, она красивая, — тихо, но решительно сказала Ангелика, — самая красивая женщина, вот. — И глаза уже были полны слез, Ангелика часто плакала без особого на то повода. Она добавила мечтательно: — Странно, я нахожу какое-то таинственное сходство между Дорой Мартин и Хендриком.

Все удивленно встрепенулись.

— Мартин — еврейка. — Это вдруг открыл рот молодой Ганс Миклас.

Все посмотрели на него озадаченно и брезгливо.

— Ну, Миклас неподражаем, — нарушила неловкое молчание Моц. И попыталась засмеяться.

Кроме в негодовании нахмурил лоб, фрау фон Герцфельд лишь покачала головой и побледнела. Когда молчание стало

невыносимым — молодой Миклас весь побелел, — директор Кроге сказал довольно резко:

— Что это значит? — и сделал такое злое лицо, какое только мог.

Другой молодой актер, до тех пор тихо беседовавший с папашей Ганземанном, вмешался примирительно и бодро:

— Неосторожно! Ну да ладно, со всеми бывает, Миклас, а вообще-то ты вполне сносный парень! — И он похлопал злодея по плечу и так сердечно засмеялся, что заразил всех. Даже Кроге постарался развеселиться, хоть вышло это несколько натужно. Он хлопал себя по ляжкам и задира л голову, как бы изнемогая от смеха. Но Миклас оставался серьезным. Он поднял бледное упрямое лицо, зло сжал губы.

— И все же она еврейка.

Он сказал это так тихо, что никто не расслышал, кроме Отто Ульрихса, который только что спас ситуацию своей милой непосредственностью. И тот наказал его строгим взглядом.

Директор Кроге, дав понять своим смехом, что принял промах молодого Микласа за веселую шутку, кивнул Ульрихсу:

— Ах, Ульрихс, подите-ка сюда на минутку!

Ульрихс сел за стол к директорам и фрау фон Герцфельд.

— Я не хочу вмешиваться в ваши дела, ей-богу!

Кроге нахмурился, показывая, что тема разговора ему в высшей степени неприятна.

— Но вы что-то уж очень часто стали выступать на коммунистических собраниях. Вот и вчера. Ведь это же вредит вам, Ульрихс, да и нам тоже.

Кроге говорил тихо.

— Вы же знаете буржуазные газеты, Ульрихс, — продолжал он наставительно. — Мы и так уже у них на подозрении. А если хоть один из нас подвергает себя политическому риску — это же нас погубит, Ульрихс.

Кроге одним залпом проглотил свой коньяк и даже покраснел.

Ульрихс ответил спокойно:

— Я рад, господин директор, что вы со мной заговорили об этих вещах. Я и сам об этом думал. Может, нам лучше расстаться, господин директор, поверьте, мне очень тяжело вам это говорить. Но от своей политической деятельности я отказаться не могу. Ради нее я пожертвую и работой в теат-

ре, а это немалая жертва. Я ведь с удовольствием работаю у вас.

Голос был приятный, низкий и теплый. Кроме с отцовской симпатией смотрел в умное волевое лицо. Отто Ульрихс был хорош собою. Высокий открытый лоб, отброшенные назад черные волосы, узкие карие умные и веселые глаза внушали доверие. Кроме его очень любил. Поэтому он почти разозлился.

— Что вы, Ульрихс! — воскликнул он. — Об этом не может быть и речи. Вы же прекрасно знаете, что я вас никогда не отпущу.

— Нам ведь без вас не обойтись, — добавил Шмиц. Толстяк иногда поражал удивительными обертонами ясного, красивого голоса. На это замечание Герцфельд серьезно кивнула.

— Вас же просят только о некоторой сдержанности, — уверял Кроге.

Ульрихс сказал проникновенно:

— Вы все очень добры ко мне — правда, очень добры, — и я постараюсь не слишком вас компрометировать.

Герцфельд доверчиво ему улыбнулась.

— Вы ведь сами знаете, — сказала она тихо, — что ваши политические взгляды нам близки.

Ее бывший муж, чье имя она носила, был коммунист. Он был гораздо моложе ее и ее бросил. Теперь он был кинорежиссером в Москве.

— И весьма, — поддержал Кроге, назидательно подняв палец. — Хотя и не всегда, не во всем. Не все наши мечты исполнились в Москве. Разве могут мечтания, требования, духовные запросы осуществиться при диктатуре?

Ульрихс отвечал серьезно, и узкие глаза стали еще уже, в них появилось что-то даже угрожающее.

— Не только люди с духовными запросами или те, кто так себя именует, имеют надежды и требования. Еще важнее требования пролетариата. А они, покуда мир устроен так, а не иначе, могут быть осуществлены только при диктатуре.

Тут лицо директора Шмица выразило недоумение. Но Ульрихс уже свернул разговор на легкую тему, улыбнулся:

— Кстати, Художественный театр на вчерашнем собрании чуть было не блеснул своим самым видным представителем. Хотел выступить Хендрик — в самый последний момент дело почему-то не выгорело, что-то там ему помешало.

— Хэфгену всегда что-то мешает в последний момент, если под угрозой его карьера.

Тут Кроге презрительно скривил рот. Гедда фон Герцфельд кинула на него умоляющий озабоченный взгляд. Но Отто Ульрихс убежденно проговорил:

— Хендрик — наш, — и тогда она улыбнулась и с облегчением вздохнула. — Хендрик — наш, — повторил Ульрихс. — И он это докажет. Доказательством будет Революционный театр. Он откроется в этом месяце.

— Пока его еще не открыли, — Кроге злобно рассмеялся. — Пока есть только красивая писчая бумага со штампом «Революционный театр». Но даже если на минуточку допустить, что такой театр откроется, неужели вы думаете, что Хендрик решится поставить действительно революционную пьесу?

Ульрихс довольно резко ответил:

— Да, я в это верю. Впрочем, пьеса уже выбрана. И можно сказать, что это революционная пьеса.

На лице у Кроге мелькнули усталость и презрение.

— Посмотрим.

Гедда фон Герцфельд, заметив, как Ульрихс покраснел с досады, нашла, что пора переменить тему.

— А что вы скажете о невероятной реплике Микласа? Значит, все-таки верно, что парень — антисемит и водится с национал-социалистами?

При слове «национал-социалисты» ее лицо исказилось отвращением, как если бы она дотронулась до дохлой крысы. Шмиц презрительно рассмеялся, а Кроге сказал:

— Этого еще не хватало!

Ульрихс, удостоверившись, что Миклас их не слышит, приглушенно сказал:

— Ганс ведь по сути парень хороший — я знаю, я часто с ним беседовал. С таким парнем надо просто терпеливо заниматься — и тогда можно отвоевать его для доброго дела. Я не верю, что он человек пропащий. Его упрямство и недовольство просто не на то направлены. Я ясно выражаюсь?

Фрау Гедда кивнула. Ульрихс истово шептал:

— У него по молодости лет все в голове перепуталось, сплошная каша — и сегодня ведь уже миллионы таких, как этот Миклас. Главное у них — ненависть, и это хорошо, потому что есть, что ненавидеть. Но потом не повезет такому

парню, попадется он в плохие руки — и его честная ненависть загублена. Ему тотчас разобъяснят, что во всем виноваты евреи и Версальский договор, и он ведь верит, и забывает, кто, собственно, во всем виноват. Это и есть знаменитый отвлекающий маневр, и у молодых путаников, которые ничего-то не знают и не хотят как следует поразмыслить, он имеет успех. И вот сбитый с толку глупец причисляет себя к национал-социалистам.

Все четверо глянули на Ганса Микласа, который сидел за маленьким столиком в самом дальнем углу со старой толстой суфлершей фрау Эфой, Вилли Бёком, маленьким гардеробщиком, и швейцаром сцены господином Кнурром. Про господина Кнурра говорили, что за отворотом пиджака он носит свастику и что его квартира увешана фотографиями фюрера, которые он все же не рискует вывесить в швейцарской. Господин Кнурр жарко спорил с коммунистами — рабочими сцены, которые не посещали «Г. Х.», а ходили в свою столовую, где их порой навещывал Ульрихс. Хефген не решался посещать эту пивную. Он боялся, что рабочие будут смеяться над его моноклем. Но он жаловался, однако, что в «Г. Х.» ему противно бывать из-за националиста господина Кнурра.

— Проклятый мещанин, — говорил Хефген, — только и ждет своего фюрера и спасителя, как непорочная дева ждет самца, чтобы забеременеть. Меня бросает то в жар, то в холод, когда я иду мимо швейцарской и думаю о свастике за отворотом пиджака...

— У него было тяжелое детство, — сказал Ульрихс, все еще продолжая разговор о Микласе, — он мне как-то рассказывал. Рос в медвежьем углу, в Нижней Баварии. Отец погиб в мировую войну, мать, видимо, взбалмошная баба. Закатила ему дикий скандал, когда парень пошел работать в театр. Словом, сами понимаете. А он малый честолюбивый, прилежный и способный. И очень многому научился, больше, чем большинство из нас. Сначала хотел стать музыкантом, обучался контрапункту, может играть на рояле, обучен акробатике, чечетке, игре на гармонике и бог знает чему еще. Работает день-деньской, а ведь наверняка болен, послушайте, как он кашляет. Конечно, ему кажется, что его обходят, что не имеет успеха, что у него плохие роли. Он думает, мы в заговоре против него из-за его так называемых политических убеждений.

Ульрихс все еще внимательно, серьезно смотрел в сторону молодого Микласа.

— Девяносто пять марок в месяц, — сказал он вдруг и глянул с угрозой на директора Шмица, который тут же заерзал на стуле, — не больно-то разживешься, а ведь надо при этом еще держать марку.

Герцфельд тоже внимательно смотрела на Микласа.

К гардеробщику Бёку, к суфлерше Эфой и к господину Кнуру Миклас подсаживался обычно тогда, когда ему казалось, что его подло оскорбила дирекция Художественного театра, которую он в разговорах с политическими единомышленниками именовал «ожидовевшей» и «марксистской». Но больше всех он ненавидел Хефгена, этого мерзкого «салонного коммуниста». Хефген, если послушать Микласа, был ревнив и тщеславен. У Хефгена была мания величия, он посягал сразу на все роли, но главное — вечно отнимал роли у него, у Микласа.

— Ну и подлость, отнял у меня Морица Штифеля, — заявлял невинно оскорбленный. — Ну ладно, ставь себе «Весеннее пробуждение», но почему же хватать еще и самые лучшие роли? А для нашего брата ничего не остается. Подлость! И вообще он слишком толст и стар для Морица. Представляю его в коротких штанишках! — И Миклас злобно глянул на собственные худые, мускулистые ноги.

Гардеробщик Бёк, глупый малый с водянистыми глазами и светлыми, очень жесткими волосами, подстриженными щеточкой, хихикал, поглядывая в пивную кружку. Над Хендриком ли Хефгеном, который будет смешно выглядеть в роли гимназиста, над бессильной ли яростью молодого Ганса Микласа — сказать трудно. Суфлерша Эфой, напротив, пришла в негодование. Она поддержала Микласа. Ну конечно, это подлость. Материнский интерес, который пожилая толстуха выказывала молодому человеку, сулил практические выгоды. Впрочем, она разделяла и его политические симпатии. Она штопала ему носки, приглашала ужинать. Одежала колбасой, ветчиной, вареньем.

— Надо поправляться, дружок, — говорила она, с нежностью его оглядывая. Но ей нравилась именно его худоба, его тренированное, гибкое, узкое тело.

Когда его густые темно-русые волосы поднимались непокорным хохолком на затылке, Эфой говорила:

— Ой, ну прямо уличный мальчишка! — и вынимала из сумки гребешок.

Ганс Миклас действительно походил на уличного мальчишку, не слишком избалованного судьбой. Жизнь у него была нелегкая. Он тренировался целыми днями, изнуря свое узкое тело. Потому-то, очевидно, он и был так раздражителен и обидчив и усвоил такое брюзгливое выражение лица. Это юное лицо портила болезненная, серая бледность. Скулы выдавались, а щеки глубоко запали. Вокруг светлых глаз — почти черные круги. Зато детский, чистый лоб как бы освещался бледным сиянием. Сверкал и рот, но было в нем нечто болезненное: губы, выпуклые, резкие, всегда горели, словно вся кровь, схлынув с лица, собралась в них. Под этими чувственными губами, от которых суфлерша Эфой не могла отвести взгляда, странным казался слабый подбородок.

— Сегодня утром на репетиции ты выглядел просто ужасно, — озабоченно сказала Эфой. — Весь почернел! И кашель! Такой глухой — просто ужас!

Миклас не выносил, когда его жалели. Лишь материальные воплощения сострадания он принимал охотно, хоть и без лишних слов. Он пропустил мимо ушей причитания Эфой, обернулся к Бёку и стал его выпрашивать:

— А что, Хефген правда весь вечер прятался за ширмой?

Бёк не стал этого отрицать. Поведение Хефгена показалось Микласу таким нелепым, что он даже развеселился:

— Я же говорил — абсолютный дурак, — и он торжествующе рассмеялся.

— И все из-за еврейки, у которой голова провалилась в плечи! — Он изобразил горб, чтобы показать, как выглядит Мартин. Эфой веселилась от всего сердца. — Видали вы таких звезд?

Язвительное восклицание относилось не только к Мартину, но и к Хефгену. И он и она, на его взгляд, — одна бражка. Ненастоящие немцы, ни к черту не годятся.

— Мартин! — продолжал он, уперев страдальческое, перекошенное злобой юное лицо в не вполне чистые худые ладони. — Хорошо ей болтать коммунистическую салонную пошлятину, когда ей платят по тысяче марок за вечер! Просто банда! Ну ничего, мы от них избавимся, Хефген еще увидит!

Обычно он остерегался таких речей в кафе, особенно в присутствии Крое. Но сегодня не мог удержаться, хотя и

произносил свои тирады громким шепотом. Эфой и господин Кнурр одобрительно кивали головами, а Бёк уставил в него свой водянистый взгляд.

— Настанет час, — продолжал Миклас тихо, но страстно, и его светлые, окруженные темной тенью глаза лихорадочно заблестели. Тут он закашлялся, и фрау Эфой похлопала его по спине.

— Опять глухой кашель, — сказала она тревожно. — И такой глубокий...

В тесном кафе плавал густой дым.

— Ужасный воздух, — пожаловалась Моц. — Такого и самый здоровый мужик не вынесет. А мой голос! Вот увидите, завтра мне опять придется тащиться к врачу. Если хотите получить удовольствие, можете проверить.

Но никому не хотелось получить это удовольствие.

Рахель Моренвиц иронически заметила:

— Тоже мне колоратурное сопрано!

За этот возглас Моц наградила ее уничтожающим взглядом — она и раньше недолюбливала Рахель. И Петерсен знал, отчего. Не далее как вчера его застукали в уборной сей inferнальной дивы, и Моц рыдала по этому поводу. Но сегодня она, видимо, решила, что не позволит, чтоб эта воображала с моноклем и идиотской прической портила ей настроение. Она сложила руки на груди и явно делала хорошую мину при плохой игре.

— Как здесь мило, — сказала она прочувственно. — Что, папаша Ганземанн?

Она подмигнула хозяину, которому задолжала двадцать семь марок, и тот по этой причине ответил ей каменным выражением лица. И когда Петерсен заказал себе бифштекс, к тому же с глазуньей, она возмутилась:

— Неужели двух сосисок мало!

От возмущения у нее даже слезы выступили на глазах. Моц и Петерсен часто ссорились из-за его излишней, как она полагала, расточительности. Он всегда заказывал самые дорогие блюда и к тому же швырял кучу денег на чаевые.

— Без бифштекса с глазуньей ему, видите ли, не обойтись! — жаловалась Моц.

Петерсен в ответ бормотал, что мужчине надо хорошо питаться. Тут Моц, уже в совершенной ярости, осведомилась у Моренвиц, не предлагал ли ей случайно Петерсен бутылку шампанского.

— «Вдову Клико», высший сорт! — кричала Моц, но, не смотря на свою озлобленность, произнесла название этой марки с небрежностью, которая должна была свидетельствовать о ее принадлежности к высшему обществу.

На этот раз Моренвиц по-настоящему обиделась.

— Что вы хотите этим сказать? — закричала она. — Вы изволите острить?

Монокль выпал из ее глаза, толстошеекое лицо залилось краской и потеряло всю inferнальность. Кроме удивленно глянул в их сторону. Фрау фон Герцфельд иронически улыбалась. Прекрасный Бонетти похлопал по плечу Моц, а заодно и Моренвиц, которая грозно приблизилась к ним.

— Не ссорьтесь, дети! — посоветовал он. Вокруг его рта собрались особенно горькие складки. — Все равно этим ничего не добьешься. Лучше давайте в карты сыграем.

Тут раздались глуховатые выкрики, и все обернулись к распахнувшейся двери. На пороге стояла Дора Мартин. За ней теснился, словно свита королевы на сцене, ансамбль, с которым она приехала.

Дора Мартин смеялась и кивала с порога всем участникам Гамбургского Художественного театра. Она кричала своим хриплым голосом, растягивая отдельные слова — особенная, прославленная ее манера, которую пытались копировать тысячи молодых актрис по всей стране:

— Ах, ребятки, нас пригласили, очень скучный банкет, ужасно жалко, но нам необходимо пойти.

Казалось, она пародировала собственную манеру, так своевольно она удлиняла слоги. Но всем это понравилось, даже тем, кто терпеть не мог Мартин, например молодому Микласу. Спору нет, ее появление произвело большой эффект. Широко раскрытые, детские, загадочные глаза под высоким и умным лбом сбивали с толку и очаровывали каждого: даже папаша Ганземанн идиотски заулыбался. Фрау фон Герцфельд, прежняя подруга Мартин, крикнула ей:

— Какая жалость, Дорочка! Но, может, ты все же присядь к нам на минутку?

Акции Гедды, запросто обращавшейся к Мартин на «ты», тотчас поднялись. Но Мартин, улыбаясь, отрицательно покачала головкой, почти потонувшей в буром воротнике дорогой шубки.

— Ужасно жалко! — проворковала она, и ее рыжая грива

рассыпалась по воротнику: она не носила шляпок. — Мы и так ужасно опаздываем!

Вдруг кто-то сзади протиснулся сквозь свиту. То был Хендрик Хефген. На нем был смокинг, который он носил на сцене, когда выступал в светских ролях, правда, уже довольно поношенный и грязный. На плечах лежал белый шелковый шарф. Хендрик тяжело дышал. Щеки лихорадочно горели. Он нервно, беспокойно смеялся, и плечи его тряслись, когда он склонился над рукой дивы. Казалось, он исполнен самых глубоких чувств.

— Простите, — с трудом выговорил он, все еще склоняясь над ее рукой, как ни странно, не роняя монокля и продолжая смеяться. — Просто фантастика: я так поздно... О, что вы обо мне подумали... Просто фантастика... — Он трясся от смеха, лицо его все больше краснело. — Но я не мог отпустить вас, — тут он, наконец, выпрямился, — не сказав вам, какое наслаждение был для меня этот вечер — какое наслаждение!

И вдруг то невероятно смешное — то, из-за чего он так надрылся от смеха, что чуть было не лопнул, — казалось, перестало существовать. Лицо его стало совершенно серьезным.

Тут уж смеяться настала очередь Доры Мартин, и она зашмеялась — особенно хрипло и особенно чарующе.

— Мошенник! — воскликнула она, растягивая «е» в слове «мошенник» почти до бесконечности. — Вас ведь и не было в театре. Вы же спрятались! — И она легонько похлопала его по плечу перчаткой из ярко-желтой свиной кожи.

— Но это ничего, — и она пронизала его лучистым взглядом. — Говорят, вы такой талантливый.

Это столь неожиданное замечание напугало Хефгена так, что вся кровь схлынула с его лица. Однако почти тотчас он томно проговорил:

— Я? Талантливый? Да ведь это же совершенно необоснованные слухи!

Он тоже умел растягивать гласные, это удавалось не одной только Доре Мартин. Но он кокетничал выговором на свой лад, никого не копируя. Дора Мартин ворковала. Он же буквально пел. И при этом продемонстрировал ту улыбку, которую на репетициях показывал дамам, когда разыгрывались пикантные сцены. Эта улыбка обнажала зубы и была достаточно вульгарна. Он называл такой оскал стержозным. «Постержозней, — слышишь, милая? — еще постержозней!» — увещал

он на репетициях Рахель Моренвиц или Ангелику Зиберт и демонстрировал этот вид улыбки.

Дора Мартин тоже осклабилась, но, пока из уст вырывался детский лепет, а головка кокетливо покачивалась на короткой шее, большие, умные, всепонимающие и грустные глаза испытующе смотрели в лицо Хефгена.

— Вы еще сумеете выказать ваш талант! — сказала она тихо, и целую секунду не только ее взгляд, но и лицо оставались серьезными. Серьезно, почти грозно она кивнула Хефгену, и тот, всего пятнадцать минут назад прятавшийся за ширмой, твердо выдержал ее взгляд. Тогда Мартин снова засмеялась, проворковала: — Мы очень запаздываем! — кивнула и исчезла вместе со свитой. А Хефген вошел в столовую.

Встреча с Дорой Мартин каким-то чудом его взбодрила, он пришел прямо-таки в праздничное настроение. Лицо благоклонно сияло. Все смотрели на него почти так же благоговейно, как на берлинскую диву. Прежде чем поздороваться с директором Крое и фрау фон Герцфельд, он подошел к гардеробщику Бёку.

— Послушай-ка, Бёк, — пропел он и встал в позу соблазнителя — руки засунуты в карманы брюк, плечи высоко подняты, а на губах стержовная улыбка.

— Ты мне должен дать займы по крайней мере семь марок пятьдесят пфеннигов. Я хочу как следует поужинать, а у меня есть подозренье, что папаша Ганземанн потребует сегодня наличными.

Его глаза, переливчатые, словно драгоценные камни, метнули косой взгляд в Ганземанна, свесившего сизый нос над стойкой.

Бёк подскочил: от выходки Хефгена, и польстившей ему и перепугавшей его, глаза у него стали еще водянистей, а щеки побагровели. Пока он молчал, рылся дрожащей рукой в карманах, а Ганс Миклас враждебно и внимательно наблюдал за происходящим, к ним поспешила маленькая Ангелика.

— Хендрик! — заговорила она робко. — Если тебе нужны деньги, я же могу тебе одолжить пятьдесят марок до первого.

Глаза Хефгена тотчас стали по-рыбьи холодными. Он высокомерно бросил через плечо:

— Не вмешивайся в мужские дела, малышка. Бёк мне все даст.

Гардеробщик закивал, и Зиберт ушла с мокрыми глазами.

Хефген, не сказав спасибо, небрежно опустил серебряные монеты в карман. Миклас, Кнуэрр и Эфой были мрачны, Бёк — смущен, а Ангелика провожала его заплаканным взором. Он покачивающейся походкой, с белым шелковым платком на плечах, прошел по столовой.

— Папаша Шмиц решил уморить меня голодом, — объяснил он, обращая победную улыбку к директорскому столику.

Там его встретили приветственными возгласами. Даже Крое, пожалуй, чересчур шумно и не вполне искренне произнес:

— Ну, старый грешник, как дела? Хорошо перенесли сегодняшней вечер?

Вокруг кошачьего рта собрались складки, почти как у Моц, фальшивые глаза блеснули за стеклами очков. Вдруг стало ясно, что он не только пишет эссе о политике и культуре и стихотворные гимны, но к тому же более тридцати лет имеет отношение к театру. Хефген и Ульрихс долго и проникновенно жали друг другу руки. Директор Шмиц неожиданно мягким, приятным голосом произнес какую-то безобидную шутку. Фрау фон Герцфельд беспричинно улыбалась, иронически устремив золотисто-карий, увлажнившийся, почти молящий взгляд на Хендрика. Помогая ему выбирать блюда для ужина, она вплотную придвинула к нему тяжело вздыхающую грудь. Его стержовная улыбка нисколько ее не пугала: она к ней привыкла, она ей даже нравилась.

Когда папаша Ганземанн принял заказ, Хефген заговорил о своей постановке «Весеннего пробуждения».

— Думаю, что получится очень сносно, — сказал он с серьезным видом.

А испытующие глаза скользили по столовой, оглядывая актеров, как глаза полководца оглядывают войско.

— Вендлу Зиберт не испортит. Конечно, Бонетти далеко не идеальный Мельхиор Габор, но его можно дотянуть. Из демонической Моренвиц выйдет первоклассная Ильза.

Не часто случалось, чтобы он говорил вот так, не валяя дурака, а серьезно и деловито, как сейчас. Крое уважительно, не без удивления прислушался. Но Герцфельд испортила Хефгену настроение. Она льстиво, вкрадчиво приблизилась к нему большое, густо напудренное лицо и заметила:

— Ну, а что до Морица Штифеля, то высокий авторитет — сама Дора — утверждает, что молодой актер, которому мы поручили эту роль, не лишен дарованья...

Кроге неодобрительно нахмурил лоб. Хефген, казалось, не заметил насмешки.

— А что бы вы сказали, дорогая, если бы вам поручили роль фрау Габор? — спросил он Герцфельд напрямик.

Это было открытое и грубое глумление. Фрау Гедду бог обделил талантом — это все знали. И все знали, что она мучится от этого. Много насмешек вызывало то обстоятельство, что умная женщина не смогла себя пересилить и ограничиться хотя бы скромными ролями старух. В ответ на выходку Хефгена она попыталась равнодушно пожать плечами. Но краска залила все ее немолодое крупное лицо. Кроге все видел, и сердце у него защемило от жалости, граничившей с нежностью. Много лет назад у Кроге был роман с фрау фон Герцфельд.

Чтобы переменить тему или, верней, чтобы перейти к той единственной теме, которая его всерьез интересовала, Ульрихс без обиняков заговорил о Революционном театре.

Революционный театр был задуман как серия воскресных утренних спектаклей в постановке Хендрика Хефгена и под покровительством коммунистической организации. Ульрихс, для которого театр прежде всего и в первую очередь был политическим орудием, страстно добивался осуществления этого проекта. Пьеса, которую выбрали для премьеры, очень подходила для открытия театра, он еще раз ее основательно изучил.

— Партия очень серьезно относится к нашему начинанию, — заявил он и кинул многозначительный, заговорщицкий взгляд на Хефгена, как бы не замечая Кроге, Шмица и Герцфельд, но гордясь тем, что и они его слышат и что его слова произведут на них впечатление.

— Да, но партия не возместит мне убытков, когда добрые гамбургцы станут бойкотировать мое заведение, — ворчал Кроге, которого мысль о создании Революционного театра всегда огорчала и настраивала на скептический лад.

— Да, — добавил он, — в 1918 году еще можно было себе позволить подобные эксперименты. Но сейчас...

Хефген и Ульрихс обменялись взглядами, в которых можно было прочесть высокомерие и тайное взаимопонимание, а также презрение к мещанским сомнениям директора. Так они смотрели друг на друга довольно долго, фрау фон Герцфельд все видела и страдала. В конце концов Хефген несколько свысока, отечески обратился к Кроге и Шмицу:

— Революционный театр нам не повредит, наверняка не повредит, поверьте уж мне, папаша Шмиц. Подлинно хорошее никогда никого не скомпрометирует. Революционный театр будет хорошим театром, блестящим театром. Дело, за которым стоит настоящая вера, подлинный энтузиазм, убеждает всех — даже враги умолкнут, видя манифестацию наших пламенных идей.

Его глаза блестели, чуть-чуть косили, и казалось, они зачарованно прозревают даль великих свершений. Он гордо поднял подбородок. На бледном, взволнованном, запрокинутом лице отпечатался блеск уверенности в победе.

«Вот это истинная увлеченность, — подумала Герцфельд. — Этого ему не сыграть, как бы талантлив он ни был».

Она торжествующе посмотрела на Кроге, который не мог скрыть волнения. Лицо Ульрихса торжественно вытянулось.

Все еще сидели во власти его трогательного энтузиазма, а Хефген уже изменил позу и выражение лица. Он вдруг расхохотался и показал на фотографию трагического героя, которая висела на стене над столиком: руки грозно скрещены, гордый взгляд сверкает из-под сдвинутых бровей, окладистая борода тщательно уложена по какой-то причудливой охотничьей куртке. Хендрик никак не мог успокоиться — таким смешным казался ему этот тип. Под общий хохот, лишь после того как Гедда похлопала его по спине — иначе бы он подавился салатом, — он выговорил, что сам очень походил — почти не отличишь — на этого типа, когда играл роль отцов в северо-немецком бродячем театре.

— Когда я был еще мальчишкой, — веселился Хендрик, — я выглядел дико старым. И по сцене всегда ходил сгорбясь от смущения. В «Разбойниках» я играл старика Моора. Я был изумительно добрым Моором. Оба сына были лет на двадцать меня старше.

Смеялся он очень громко, и речь пошла о бродячем театре, и к ним со всех сторон сходились коллеги. Все знали, что теперь пойдут анекдоты, причем не залежалые, а совсем свеженькие и наверняка хорошие — редко случалось, чтобы Хендрик повторялся. Моц в предвкушении удовольствия потирала руки, обнажая золотые зубы, и с мрачной веселостью констатировала:

— Сейчас будет весело!

Она успела метнуть строгий взгляд в Петерсена, который заказал двойной коньяк. Рахель Моренвиц, Ангелика Зиберт

и прекрасный Бонетти — все не сводили глаз с красноречивых уст Хендрика. Даже Миклас вынужден был прислушаться. Тонкие остроты врага вызывали у него невольную угрюмую усмешку. А глядя на веселье своего любимого злюки, радовалась и толстая Эфой. Она кряхтя подвинула стул поближе к креслу Хендрика и пробормотала: «Господа не возражают», — и, отложив в сторону спицы и чулок, она приложила правую руку к уху, чтобы лучше слышать.

Вечер на редкость удался. Хефген был в ударе. Он очаровывал, блистал.словно перед большой публикой, а не перед группкой жалких коллег, он задорно транжирил шарм, остроумие, запасы анекдотов. Чего только не происходило в бродячем театре, где он играл роли отцов! Моц буквально задыхалась от смеха.

— Ой, не могу! — кричала она, а Бонетти с шутливой галантностью обмахивал ее платком, так что она и не заметила, как Петерсен опять заказал водку.

Когда же Хефген, повысив голос до визга, извиваясь и невероятно кося глазами, стал изображать молодую инженеру бродячего театра, даже недвижная мина папаши Генземанна скривилась в улыбке, а господину Кнурру пришлось скрыть ухмылку за носовым платком. Большого триумфа нельзя было выжать из данной ситуации. Хефген смолк. И Моц посерьезнела, увидела, как пьян Петерсен. Кроме дал знак расходиться. Было два часа ночи. На прощанье Моренвиц, у которой всегда возникали оригинальные идеи, подарила Хефгену свой длинный мундштук — декоративный и абсолютно ничего не стоящий предмет.

— Это тебе за то, что ты сегодня был так забавен, Хендрик.

Ее монокль сверкал навстречу его моноклю. У Ангелики Зиберт, рядом с которой стоял Бонетти, от ревности побледнел нос и в глазах сверкнули слезы и злость.

Фрау фон Герцфельд предложила Хендрику выпить еще по чашке кофе. Папаша Ганземанн уже тушил свет в пустом ресторане. Гедде полутьма была на руку: ее большое нежное лицо с умными лучистыми глазами казалось теперь моложе. Это уже не было типичное лицо стареющей интеллектуалки. Щеки словно разгладились. Улыбка на губах, полных восточной неги, утратила ироничность и стала почти соблазнительной. Молча, нежно глядела фрау фон Герцфельд на Хендрика Хефгена. Она не сознавала, что выглядит привлекательней,

чем обычно. Она замечала только лицо Хендрика с вдавленными висками и благородным подбородком, бледное и отчетливое в полутьме, — смотрела на него и наслаждалась.

Хендрик оперся локтями о стол, сплетя пальцы вытянутых рук. Обладая красивыми готически длинными руками, можно себе позволить такую претенциозную позу. Но руки Хефгена никоим образом нельзя было назвать готическими. Казалось, своей топорностью они опровергают страдальческие очертания его висков. Тыльная сторона ладоней была слишком широкой и поросла рыжими волосками. Широки были и довольно длинные пальцы, а ногти — квадратные и не вполне чистые. Именно эти ногти придавали рукам что-то неблагоприятное, почти отталкивающее. Казалось, они сделаны из недоброкачественного материала: рассыпчатые, хрупкие, без блеска и без формы.

Но эти недостатки скрывала благосклонная полутьма. А вот мечтательный косой взгляд зеленых глаз делался еще загадочней и прелестней.

— О чем вы думаете, Хефген? — интимно приглушенным голосом спросила Герцфельд после затяжной паузы.

Хефген ответил так же тихо:

— Я думаю о том, что Дора Мартин не права.

Гедда ни о чем не спросила и не возразила, а он все глядел поверх своих сплетенных пальцев.

— Я несостоявшийся человек, — жаловался он в темноту. — Да и чему состояться? Мне не выбиться в первый сорт. Я провинциален.

Он сжал губы, словно ему самому стало страшно от такого признания, вырвавшегося вдруг в этот странный час.

— Ну, — сказала фрау фон Герцфельд с мягким укором. — А больше вы ни о чем не думаете? Только об этом?

Он не отвечал, и она подумала: «Да по-видимому, одно это и занимает его всерьез. А разговоры о политическом театре и революционный энтузиазм — просто комедия». Это открытие преисполнило ее разочарованием. Но в то же время ей странно полегчало.

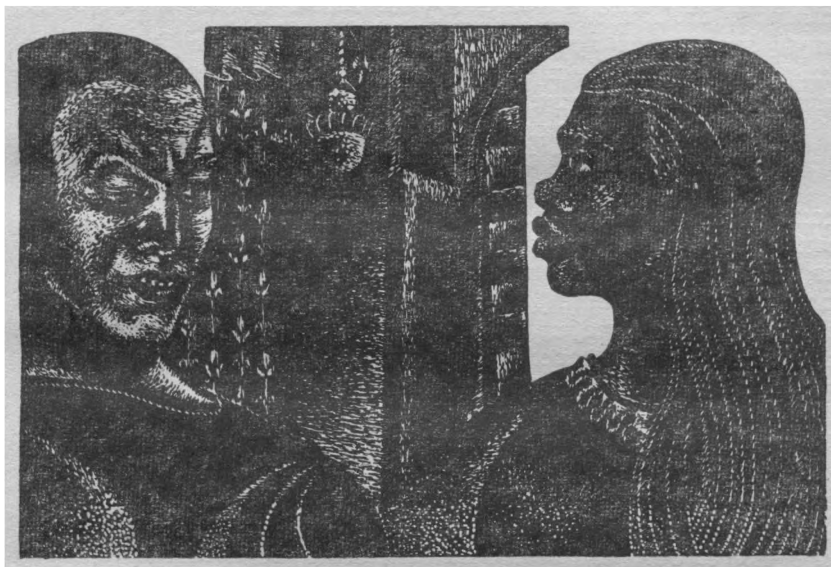
Глаза его загадочно блистали. Он молчал,

— Неужели вы не замечаете, как вы терзаете бедную Ангелику, — спросила женщина, сидевшая возле него. — Неужели не замечаете, как заставляете страдать других? Неужели не ощущаете ответственности? — Она не отрывала

от него жалкого, ищущего взгляда. — Когда-нибудь должны же вы покаяться — и любить.

Ей тотчас стало стыдно, что она это произнесла. Это было слишком много — она просто не совладала с собой. Она оторвала взгляд от его лица. К ее удивлению, он не наказал ее ни злобной ухмылкой, ни презрительным словом. Напротив, его взгляд, косой, блестящий и неподвижный, был направлен во тьму, словно искал в ней ответа на неотложные вопросы, словно пытался найти утешение в сомнениях или угадать силуэт будущности, где единственно важно для него было сделаться великим человеком.

На следующий день репетиция была назначена на половину десятого. Ансамбль, вернее та часть ансамбля, которая была занята в «Весеннем пробуждении», собрался точно в назначенное время. Одни сидели на открытой сквознякам сцене, другие — в плохо освещенном партере. После того как его тщетно прождали пятнадцать минут, фрау фон Герцфельд решила вызвать Хефгена из бюро, где он с девяти утра совещался с директорами Шмицем и Крое.



Сразу при его появлении всем стало ясно, что он находится в самом немилостивом расположении духа — вчерашнего сияющего болтуна и остроумца как не бывало. Нервно приподняв плечи, держа руки в карманах брюк, он торопливо прошел по партеру и севшим от раздражения голосом попросил экземпляр текста.

— Свой я оставил дома.

Тон был обиженный, горько упрекающий всех присутствующих в том, что он, Хендрик, сегодня забывчив и рассеян.

— Ну так как же, можно вас попросить?

Ему удалось выговорить эту фразу одновременно глухо и очень резко.

— Неужели ни у кого не найдется для меня тетрадошки? Маленькая Ангелика подала ему свою.

— Мне она больше не нужна, — сказала она, покраснев. — Я свою роль знаю.

Вместо того чтобы поблагодарить, Хендрик резко бросил:

— Хочу надеяться! — и отвернулся.

На фоне красного шелкового шарфа, заменявшего сорочку или скрывавшего сорочку, если она на нем была, его лицо казалось особенно бледным. Один глаз смотрел из-под полуопущенного века презрительно и зло. В другом блестел монокль. Вдруг Хендрик неожиданно ясным, пронизывающим и несколько дребезжащим командным голосом крикнул:

— Господа, начинаем! — и все вздрогнули.

Он неистово бегал по партеру, а на сцене шла работа.

Морица Штифеля, роль которого он отвел себе, сейчас пока играл Миклас, ибо собственная жалкая роль у него не отнимала много времени. Тут была, конечно, злобная выходка, ибо бедный Миклас сам больше всего на свете хотел бы сыграть именно Штифеля. Или просто Хефген хотел вызывать и высокомерно намекнуть коллегам, что он, мол, несколько не заинтересован в репетициях каких бы то ни было ролей: он режиссер и выше этого, его мастерство равно его гениальности, собственную роль он отрабатывает походя. А вот на генеральной он всем покажет, как надо трактовать и играть Морица Штифеля — гимназиста, отчаявшегося в любви, самоубийцу.

Зато он уже сейчас демонстрировал, что можно сделать из девицы Вендлы, мальчика Мельхиора и матушки фрау Габор. С неожиданной легкостью Хендрик вспрыгнул на сцену и — о чудо! — превратился в нежную девушку, бродившую по утреннему саду в мечтах о возлюбленном, жаждавшую обнять весь мир; в гордого мальчика; в умную заботливую мать. Его голос звучал то нежно, то задорно, то задумчиво. Он делался то отрочески юным, то древним стариком. Он был блестящий актер. Продемонстрировав прекрасному Бонетти, зло, но уважительно смотревшему на него из-под приподнятых бровей, или бедняжке Ангелике, борющейся со слезами, что можно сделать из их ролей при наличии таланта, он устало, презрительно вставлял в глаз монокль и спус-

кался в партер. Оттуда он разъяснял, распорядился, критиковал. Он никого не обходил унижительными замечаниями, даже фрау фон Герцфельд пришлось с кривой улыбкой выслушать его выговор. Маленькая Ангелика несколько раз, обливаясь слезами, бегала за кулисы. На лбу Бонетти вздулись жилы. Но больше всех страдал и злился Ганс Миклас, от злобы у него осунулось лицо и щеки совсем провалились.

Все страдали, и у Хендрика заметно повысилось настроение. В обеденный перерыв он довольно возбужденно беседовал за столиком с фрау фон Герцфельд. В полтретьего он подал знак вернуться к работе. Около половины четвертого на лице прекрасного Бонетти вновь проступило отвращение, и, засунув руки в карманы брюк, он, словно капризное дитя, спросил:

— Когда же конец этим издевательствам?

И Хефген бросил на него уничтожающий, спокойно-ледяной взгляд:

— Когда конец — устанавливаю я! — и он особенно высоко поднял красивый подбородок. Оробевшей труппе предстало лицо благородного, утонченного тирана, слегка напominшнее, однако, лицо стареющей и раздраженной гувернантки. Всем стало не по себе. Маленькую Ангелику била сладкая дрожь. Несколько секунд никто не мог оправиться от униженья. Но вот по запуганной, застывшей группе прошел вздох облегчения. Хендрик соизволил захлопать в ладоши и запрокинул голову, милостиво осклабась.

— Итак, продолжаем, господа! — воскликнул он, и голос приобрел металлический призыв, которому почти немислимо было противостоять. — Так на чем же мы остановились?

И все послушно принялись за следующую сцену, но едва добрались до конца, как Хендрик глянул на часы. Было без четверти четыре. Обнаружив это, он так вздрогнул, что даже ощутил боль в животе. Он вспомнил, что на четыре часа у него назначено свидание с Джульеттой. Со слегка напряженной улыбкой он торопливо поспешил объявить ансамблю, что пора кончать. Молодому Микласу, хмуро подступившему к нему, чтобы о чем-то спросить, он знаком показал, что ему некогда. И по темному партеру пронесся к выходу, запыхавшись, добежал до «Г. Х.», сорвал с вешалки кожаное пальто и мягкую серую шляпу и был таков.

Надел он пальто лишь на улице. «Если я пойду пешком, — рассуждал он, — я наверняка на несколько минут опоздаю.

И Джульетточка устроит мне чудовищный прием. На такси я не опоздаю, на трамвае тоже почти поспею. Но в кармане у меня только пять марок. Меньше Джульетте не предложишь. Значит, о такси не может быть и речи. О трамвае, собственно, тоже, ибо тогда останется четыре марки восемьдесят пять пфеннигов, слишком мало для Джульетточки, да и мелочью, а она мне такое запретила раз и навсегда».

Рассуждая на эту тему, он уже пробежал большой отрезок пути. В сущности, он всерьез и не думал брать такси или даже ехать на трамвае. Ибо разменянные пять марок не на шутку рассердили бы его приятельницу, в то время как мнимое негодование по поводу его небольшой задержки стало почти неизбежным ритуалом их свиданий.

Был ясный, очень холодный зимний день. Хендрик продрог в легком кожаном пальто, к тому же незастегнутом. Особенно замерзли руки и ноги: перчаток у него не было, а открытые ботинки с пряжками решительно не подходили ко времени года. Чтобы согреться и сэкономить время, он шаггал крупно и смешно подпрыгивал. Прохожие, кто с улыбкой, кто с осуждением, оглядывались на странного типа в легких и оригинальных полуботинках. Быстрота его передвижения наводила на мысль не то о балагане, не то о нездешних силах. Впрочем он не только прыгал и подскакивал, он и пел — то моцартовские мелодии, то песенки из оперетт. Пение и прыжки он сопровождал жестами, которые тоже не каждый день увидишь. Вот он, точно мяч, подбросил букетик фиалок, обнаруженных в верхней петле пальто — очевидно, подарок поклонницы из ансамбля — скорей всего нежный дар маленькой Ангелики.

Прыгая и распевая, вызывая веселость или раздражение прохожих, Хендрик думал о близоруком и нежном создании. Тут одна дама толкнула другую и шепнула:

— Этот тип, наверное, из театра.

На что та хихикнула:

— Конечно, он же всегда играет в Художественном театре — этот, как его — Хефген. Посмотрите, милая, как он нелепо идет, ой, да он вдобавок что-то бормочет себе под нос!

Обе рассмеялись. На другой стороне улицы хохотали два подростка. Но Хендрик вопреки объяснимой тщеславию и профессией привычке всегда замечать реакцию окружающих на каждый свой жест на этот раз не заметил ни обеих

дам, ни гимназистов. Окрыленный бег по морозу и предвкушение встречи с Джульеттой привели его в состояние легкого опьянения. Как редко теперь он бывал в таком настроении! Раньше — да, раньше он часто, может быть, почти всегда был в таком расположении духа — бывал окрыленным, самозабвенным. Играя двадцатилетних юношей, стариков и зрелых героев на бродячей сцене, он знал веселые дни. Задор, артистизм были тогда в нем сильнее тщеславия — это было давно, но, может быть, не так уж и давно, как ему теперь порой представлялось. Неужто он вправду так изменился? Разве он и сейчас не так же задорен и артистичен? И теперь в хорошие минуты он забывал о своем тщеславии. Вот хоть бы в эту минуту, если бы он вспомнил о таких понятиях, как тщеславие или великая карьера, он бы над ними только посмеялся. Сейчас, в эту минуту, ему важно только то, что воздух синь и пронизан солнцем и что сам он еще молод, что он бежит, что шарф его порхает, что скоро он будет у своей возлюбленной.

Прекрасное настроение позволило ему с благосклонностью думать и об Ангелике, которую он так часто унижал и огорчал. Он подумал о ней почти с нежностью:

«Милое дитя, что за милое дитя, подарю-ка я ей что-нибудь сегодня вечером, доставлю ей радость. А может, стоит пожить с ней? Да, это было бы недурно, приятней, чем с моей Джульеттой». Но, несмотря на все свое благодушие, он презрительно захихикал, сравнив Ангелику с Джульеттой: бедную маленькую Ангелику с большой Джульеттой, которая — ну в точности, как это ни ужасно, — именно то, что ему нужно. Он в душе попросил у Джульетты прощения за такую наглость, подойдя тем временем к двери своей квартиры.

Старомодная вилла, в первом этаже которой он снимал комнату, помещалась в одной из тех тихих улиц, которые лет тридцать назад считались самыми аристократическими в городе. Но во время инфляции большинство обитателей этого изысканного района обнищали. Их виллы с многочисленными башенками и фронтонами теперь выглядели довольно запустело, как и большие сады подле них. Фрау Мёнкеберг, которой Хендрик платил сорок марок в месяц за просторную комнату, тоже находилась в стесненных обстоятельствах. Тем не менее она оставалась безукоризненно гордой старой дамой и с достоинством носила странные одежды с пышными

рукавами, кружевные накидки, безупречную, без единого торчащего волоска прическу, а также постоянную ироническую, но не горькую усмешку на узких губах. Вдова консула Мёнкеберга была достаточно разумна, чтобы не сердиться на эксцентричные выходки и озорство своего квартиранта — напротив, она скорее видела в них веселую сторону. В кругу своих приятельниц — пожилых дам, столь же благородных, столь же бедных и гладко причесанных — она обычно рассказывала о проказах жильца со сдержанным юмором.

— Иногда он прыгает по лестнице на одной ноге. — Тут она смеялась почти грустно. — А когда гуляет, часто вдруг садится на тротуар — только представьте себе: прямо на грязный тротуар — просто потому, что ему вдруг делается страшно, что он споткнется и упадет.

Пока дамы качали седыми головами и, немного шокированные, повеселевшие, шуршали мантильями, вдова консула примирительно добавляла:

— Ну что же вы хотите от него, дорогие? Ведь артист... Может быть, даже выдающийся артист, — говорила старая патрицианка медленно и водила худыми белыми пальцами, на которых уже в течение десяти лет не носила колец, по выцветшей кружевной скатерти на чайном столике.

В присутствии дамы Мёнкеберг Хендрик робел; ее благородное происхождение и прошлое лишали его уверенности в себе. И теперь он был не рад столкнуться со старой аристократкой в вестибюле, после того как с грохотом захлопнул дверь. Увидев ее импозантную фигуру, он весь подобрался; поправил на себе красный шарф и вставил монокль.

— Добрый вечер, сударыня, как поживаете? — сказал он нараспев, причем не повысил голоса в конце этой формулы вежливости, тем подчеркнув формально-условный и грациозно-пустой характер фразы. Учтливое обращение он сопроводил легким поклоном, который при всей его элегантно-небрежности был почти придворным.

Вдова Мёнкеберг не улыбнулась. Лишь складки всеведущей иронии чуть сильнее заиграли вокруг ее глаз и тонких губ, когда она ответила:

— Поторопитесь, дорогой господин Хефген! Ваша... учительница ждет вас уже четверть часа.

От злонамеренной маленькой паузы, которую фрау Мёнкеберг выдержала перед словом «учительница», Хендрика бросило в жар.

«Наверняка я весь покраснел, — подумал он зло и пристыженно. — Но вряд ли она заметила это в темноте», — пытался он успокоить себя, удаляясь от фрау Мёнкеберг с совершенной грацией испанского гранда.

— Благодарю вас, сударыня.

И он открыл дверь своей комнаты.

В помещении царила розовая полутьма. Горела лишь покрытая пестрым шелковым платком лампа на низком круглом столике рядом с диваном. Стоя в пестрых сумерках, Хендрик Хефген воскликнул очень тихо, смиренно, дрогнувшим голосом:

— Принцесса Тебаб, где ты?

Из темного угла раздался глубокий громовой голос:

— Здесь, свинья, где же еще?

— О, спасибо, — сказал Хендрик все так же тихо, с поникшей головой стоя возле двери. — Да, теперь я тебя вижу... Как я рад, что я тебя вижу...

— Который час? — крикнула женщина из угла.

Хендрик ответил, весь дрожа:

— Около четырех — так мне кажется.

— Около четырех! Около четырех! — насмеялась злая особа, не выходя из тени и оставаясь невидимой. — Очень мило! Просто великолепно!

Она говорила с явным северонемецким акцентом. Голос был сиплый, как у матроса, который слишком много пьет, курит и ругается.

— Сейчас четверть пятого! — произнесла она вдруг зловеще тихо. И тем же наводящим ужас приглушенным голосом, не предвещавшим ничего доброго, приказала: — А ну, подойди-ка чуть поближе, Гейнц, чуть-чуть! Но сперва зажги свет!

От этого обращения — «Гейнц» — Хендрик вздрогнул, как от удара. Он не позволял себя так называть ни одному человеку в мире, даже родной матери, — только Джульетта могла на это решиться. Кроме нее, вероятно, никто в этом городе не знал, что его настоящее имя Гейнц — ах, в какой момент сладкой слабости он ей в этом признался? Гейнц было имя, которым его называли все до восемнадцати лет. И только когда ему стало ясно, что он хочет стать знаменитым актером, он себе присвоил более изысканное имя — Хендрик. С каким трудом он ввел его в семейный обиход, как долго к нему привыкали, не воспринимали всерьез —

необычное, претенциозное «Хендрик»! Сколько писем, начинавшихся обращением: «Дорогой Гейнц!» — осталось без ответа, пока мать Белла и сестра Йози, наконец, не привыкли к новому обращению. С друзьями детства, которые упрямо продолжали называть его Гейнцем, он прекратил всякие отношения. Впрочем, он и вообще не поддерживал знакомства с бывшими друзьями, которые любили вытаскивать на свет божий неприятные анекдоты из пресного прошлого и ржать над собственными бестактными шуточками. Гейнц умер. Хендрик должен стать великим человеком. Молодой артист Хефген ожесточенно боролся с агентствами, директорами театров, газетными редакторами, чтобы они, наконец, научились правильно писать выдуманное им напыщенное имя. Он дрожал от злобы и обиды, когда встречал перед своей фамилией в программах или рецензиях имя «Хенрик». В маленьком «д» в середине вымышленного имени был для него особенный, магический смысл: когда он добьется того, что весь мир — весь! — признает его под именем «Хендрик» — о, тогда он будет на вершине!

Вот такую важную роль играло имя — больше, чем простой знак, означающий личность, нет, в нем были цель и смысл — такую роль оно играло в честолюбивых помыслах Хендрика Хефгена. И тем не менее он стерпел, когда Джульетта из темного угла угрожающе назвала его отброшенным и ненавистным именем — Гейнц.

Он подчинился обоим ее приказаниям. Включил электричество, так что его слепил яркий свет, а потом, все еще понуря голову, сделал несколько шагов к Джульетте. На расстоянии одного метра от нее он остановился. Но не тут-то было. Она пробормотала хрипло, сквозь зубы и с весьма угрожающей любезностью:

— Поди-ка поближе, мой мальчик!

Поскольку он не трогался с места, она подманила его как собаку, которую приманивают ласковым словом, чтобы потом тем суровой наказать:

— Поближе, красавчик! Еще поближе! Да ты не бойся!

Он все не двигался и стоял понурясь. Плечи и руки бесильно обвисли, брови страдальчески поднялись. Раздутые ноздри мучительно вбирали пронизывающий запах сладких, вульгарных духов, смешанный с другим, еще более диким, но отнюдь не сладким запахом пота. Поскольку девицу начала раздражать его жалобная и благородная поза, она вдруг за-

рычала на него, и ее голос походил на хриплый вой, раздающийся из дремучего леса:

— Да не стой ты так, словно наложил в штаны! Выше голову! — И более величаво она добавила: — А ну, погляди мне в глаза!

Он медленно поднял голову. На бледном его лице сверкали зеленовато-голубые глаза, расширенные от блаженства или от страха. Он молча уставился на принцессу Тебаб, на Черную Венеру.

Негритянкой она была только по матери — отец был гамбургский инженер. Но темная раса оказалась более сильной: принцесса Тебаб выглядела не «полукровкой», а почти «чистокровкой». Цвет грубой, местами потрескавшейся кожи был темно-коричнев, а на низком выпуклом лбу и на узких жилистых руках — почти черен, природа светлее раскрасила лишь ладони, сама же Джульетта с помощью румян изменила цвет верхней части щек: на сильных свирепых скулах лежали искусственные, словно чахоточные пятна. Глаза тоже подверглись косметической обработке: брови сбриты и заменены тонкими полосами, нанесенными углем, ресницы искусственно удлинены, на верхние веки до самых узких бровей наложены красновато-голубые тени. Толстым губам она оставила их естественный цвет. Фиолетовые губы над ослепительными зубами, обнажавшимися при смехе и при ругани, были грубые, темные, так же как руки и шея, но с этим мрачным тоном особенно удачно контрастировал здоровый красный цвет десен и языка. Все лицо освещалось подвижными, жестокими и умными глазами и блестящими зубами, нос же был плоский, приплюснутый, но это можно было заметить, лишь внимательно приглядевшись. А то казалось, носа и вовсе не существовало. Он не производил впечатления взгорка посреди распутной и зловеще-притягательной маски. Скорей он казался выемом.

Барварская голова Джульетты уместней выглядела бы на фоне дремучего леса, чем на фоне мещанской комнаты с плюшевой мебелью, безделушками, шелковыми абажурчиками. Впрочем, дисгармонировал с головой не только фон, но и то, что венчало ее, — волосы. То не была курчавая черная грива, которая так бы пошла к этому лбу и к этим губам. Гладкая и тусклая белесоватость волос удивляли, прическа была самая простая, с пробором посередине. Темной даме нравилось утверждать, что такими ее волосы якобы были

всегда, что цвет их она унаследовала от отца — гамбургского инженера Мартенса.

Факт реального существования человека, обладавшего этим именем и профессией, никем не оспаривался. Впрочем, Мартенс уже много лет как умер. Пребывание в Африке, полное трудов, не способствовало укреплению его здоровья. Замученный малярией, загубив сердце уколами хины и пьянками, он вернулся в Гамбург, чтобы там немедля и не привлекая излишнего внимания умереть. Любовницу-негритянку он оставил в Конго, а с нею и маленькое темнокожее создание, будто бы приходящееся ему дочерью. Сообщение о смерти инженера не достигло Африки. Прошли годы, Джульетта потеряла и мать. Вот тогда-то она и собралась в далекую и, очевидно, полную чудес Германию. Она надеялась, что там ей будет покровительствовать отцовская любовь. Но пока ей даже никто не мог показать могилы инженера. Останки бедного отца исчезли бесследно, как и память о нем.

К счастью, юная Джульетта умела прилично отбивать чечетку: она этому научилась еще на родине. Ей удалось найти место в одном из лучших заведений Сант-Паули. Там она наверняка бы удержалась, и, возможно, умной и энергичной особе была предопределена славная карьера, если бы бурный темперамент и неодолимая склонность к спиртному самым роковым образом не опрокинули все расчеты. Она не могла отучиться от пагубной привычки набрасываться с кнутом на тех своих знакомых и коллег, с которыми сходилась не по всем пунктам: сначала над этой прихотью в кругах Сант-Паули смеялись, как над милой смешной черточкой, потом, однако, она показалась уж чересчур оригинальной и, пожалуй, несколько неудобной.

Джульетту уволили, и она пережила в беззаботно быстром темпе то, что обычно называют «падением со ступени на ступень». Вот что это означает: свое танцевальное искусство она должна была демонстрировать раз от разу во все более плохоньких ресторанчиках. Ее доходы на этом поприще становились постепенно настолько мизерными, что она вынуждена была находить побочные заработки. Какое же еще занятие могла она найти, как не ежевечерние прогулки по Репербан и соседствующим улицам? Прекрасное темное тело, гордой поступью проносимое по тротуару, было далеко не самым захудалым товаром на огромной ярмарке

тел, предназначенных на потребу заезжим матросам, а также достопочтенным мужам города Гамбурга.

Артист Хефген, впрочем, завязал знакомство со своей Черной Венерой вовсе не на панели. Нет, это произошло в тесном, переполненном табачным дымом и гвалтом пьяной матросни кабаке, где за ежевечернюю плату в три марки она демонстрировала свое темное, гладкое тело, виртуозно отбивая чечетку. В программе мрачного кабаке черная танцовщица Джульетта Мартенс значилась как принцесса Тебаб — имя, которое она могла носить только в качестве сценического псевдонима, но на которое она претендовала также и в частной жизни. По ее завереньям, ее покойная мать, брошенная гамбургским инженером, была княжеской крови: она была дочерью бесконечно богатого, великодушного, но, к сожалению, в цветущем возрасте съеденного врагами негритянского вождя.

Что касается Хендрика Хефгена, то его не так впечатлял ее титул — хотя и это весьма ему льстило, — как подвижные жестокие глаза и мускулы шоколадных ног. После того как кончился номер принцессы Тебаб, он явился к ней в уборную, чтобы выразить свое — спервоначала, быть может, слегка неожиданное — пожелание: а именно — брать у нее уроки танцев.

— Нынешний актер должен быть тренирован, как акробат, — объяснил Хефген.

Но принцесса не очень заинтересовалась его объяснениями. Нимало не удивясь, она уговорилась с ним о плате за урок и о первой встрече.

Так завязались отношения между Хендриком Хефгеном и Джульеттой Мартенс. Темнокожая девушка была «учительницей» — иными словами повелительницей. Перед ней стоял бледный мужчина в роли послушного, униженного ученика, переносящего частые наказания с тем же смирением, как и редкие, скупые похвалы.

— А ну, взгляни на меня! — потребовала принцесса Тебаб, ужасно выкатив глаза, в то время как его глаза, полные вожделения и страха, не отрывались от ее властного лица.

— Как ты сегодня прекрасна! — произнес он наконец, с трудом шевеля губами.

В ответ она набросилась на него:

— Брось чепуху молоть! Я не прекрасней, чем всегда!

Однако она провела рукой по груди и поправила на себе

тесную плиссированную юбочку, открывавшую колени в черных шелковых чулках. Зеленые сапожки из мягкой лакированной кожи доходили до середины икр. Помимо красивых сапожек и короткой юбки, принцесса еще носила серый меховой жакетик, поднимая воротник до самого затылка. На темных жилистых запястьях бренчали широкие браслеты из дутого листового железа. Самой элегантной частью туалета был хлыст — подарок Хендрика, — сверкающе-красный, из плетеной кожи. В резком, угрожающем ритме Джульетта постукивала им по зеленым сапожкам.

— Опять на четверть часа опоздал, — сказала она после долгой паузы, и злые складки пролегли на низком выпуклом лбу. — Вечно будешь опаздывать? А, моя радость? — спросила она с тихим коварством, тотчас прорвавшимся злостью: — Хватит! Надоело! Дай лапы!

Хендрик медленно поднял обе руки, повернув их ладонями вверх. При этом он не сводил загипнотизированного распянутого взгляда с ужасной гримасы своей возлюбленной.

Она стала пронзительно отсчитывать удары:

— Раз, два, три!

Элегантный хлыст со свистом хлестал по его ладоням, на них тотчас образовались толстые красные рубцы. Боль была такая сильная, что на глазах выступили слезы. Он скривился. При первом ударе Хендрик тихо вскрикнул, потом овладел собой и стоял с неподвижным белым лицом.

— Для начала достаточно, — сказала она, и вдруг на ее лице проступила усталая улыбка, никак не вязавшаяся с правилами игры: в ней не было ничего угрожающего, скорее она выражала добродушную усмешку и даже некоторое сострадание. Она опустила хлыст, повернула голову и остановилась в прекрасной грустной позе. — Переоденься, — сказала она тихо. — Будем работать.

Здесь не было ширмы, за которую он мог бы спрятаться. Из-под полуопущенных ресниц совершенно равнодушно Джульетта наблюдала его движения. Он разделся, обнажив светлое, уже несколько оплывшее, в рыжих волосках тело, а потом натянул свитер в белую и голубую полоску и черные спортивные трусики и предстал перед ней в униженном наряде, который он сам называл «тренировочным костюмом» — ребячески смешной в черных полуботинках и белых носочках, кокетливо завернутых над щиколотками, в трусиках из блестящего черного сатина, какие носят маленькие маль-

чки на спортивных занятиях, и полосатом свитере, который открывал шею и руки.

Она обозревала его критическим и холодным взглядом.

— Ты за неделю еще потолстел, моя радость, — бросила она, презрительно постукивая хлыстом по зеленым сапожкам.

— Прости, — тихо вымолвил он. Его белое лицо со строгой линией подбородка и чувствительными жалобными глазами сохранило всю серьезность и почти трагическое достоинство, несмотря на гротескный наряд.

Негритянка возилась с граммофоном. В неожиданный грохот джаза ворвался сиплый голос:

— Ну, начинай же!

При этом она обнажила оба ряда своих чересчур белых зубов и свирепо водила глазами. Этой-то мимики он и ждал от нее сейчас.

Лицо ее напоминало ужасную маску незнакомого божества: бог этот царит в дремучем лесу, в укромном месте; оскалом зубов своих и выражением глаз он словно требует человеческих жертв. Ему их приносят, у его ног струится кровь, он принюхивается приплюснутым носом к знакомому сладкому запаху и слегка раскачивает царственное тело в ритме бешеного тамтама. А вокруг него верноподданные исполняют восторженный танец. Раскидывают руки и ноги, прыгают, раскачиваются, шатаются. Их рык переходит в сладострастный стон, и вот уже они задыхаются, и вот уже падают, падают к ногам черного божества, которое любят, которым восхищаются, ибо могут любить и восхищаться только тем, кому пожертвовали самым дорогим — кровью.

Хендрик медленно начал танцевать. Но куда же делась его победная легкость, вызывавшая такое восхищение публики и коллег? Она исчезла. Казалось, он с мучительным усилием передвигает ноги — но в этой муке было и блаженство: его выдавала самозабвенная улыбка на бледных, плотно сжатых губах и оцепенелый взгляд.

Джувлетта же не думала танцевать. Она оставляла эти муки своему ученику. Она лишь воодушевляла его хлопками, грубыми окриками и ритмическими покачиваниями тела.

— Быстрее, быстрее! — требовала она в бешенстве. — Что у тебя за суставы? И ты еще считаешь себя мужчиной? Хочешь быть артистом, да еще показываться за деньги? Эх ты, тоже мне герой недоделанный...

Хлыст бил по икрам, по рукам. На этот раз слезы не вы-

ступили на его глазах, глаза были сухи и горели. Лишь сжатые губы дрожали. Принцесса Тебаб хлестнула его еще раз.

Он работал без пауз в течение получаса, будто речь шла о важной тренировке, а не о жутком увеселении. Наконец он запыхался. Пошатнулся. Лицо покрылось потом. С трудом он выдавил:

— Голова закружилась. Можно передохнуть?

Она ответила, посмотрев на часы, коротко и деловито:

— Нет, четверть часа попрыгаешь.

Музыка вновь заиграла, Джульетта вновь испуганно хлопала в ладоши, и он еще раз попробовал воспроизвести трудную чечетку. Но измученные ноги в кокетливых полуботинках и носочках отказались служить. Хендрик с секунду покачался, потом встал. Потной рукой утер пот со лба.

— Что это за шуточки? — громыхала она. — Кончаешь без моего разрешения? Вот еще новости!

Она нацелилась красным хлыстом на его лицо. Он вовремя наклонил голову и избежал удара. Прийти вечером в театр с кровавым рубцом от лба до подбородка было бы все же чересчур смело. Несмотря на свое удрученное настроение, он ясно отдавал себе в этом отчет.

— Довольно! — сказал он коротко. И, отворачиваясь, добавил: — На сегодня довольно!

Она поняла, что теперь он не шутит. Не отвечая, со вздохом облегчения, она посмотрела, как он облачается в спальный халат на толстой подкладке, шелковый, красный, дырявый, и как он ложится на кушетку.

Кушетка, на ночь превращаемая в постель, была днем покрыта пледом и пестрыми подушками. Рядом с ней стоял круглый низенький курительный столик и на нем лампа.

— Выключи этот яркий свет! — напевно, страдальчески попросил Хендрик. — И поди ко мне, Джульетта!

Она шла к нему по розовой полутьме. Когда она остановилась подле него, он тихо вздохнул:

— Как хорошо!

— Ты получил удовольствие? — спросила она его довольно сухо. Зажгла себе сигарету, протянула ему зажигалку. Он пользовался длинным вульгарным мундштуком — подарком Рахели Моренвиц.

— Я измучен, — сказал он. И на его бледных губах изобразилась добродушная, всепонимающая улыбка.

— Это хорошо, — сказала она, наклонясь над ним.

Он положил широкие, бледные, поросшие рыжими волосами руки на ее благородные, блистающие черным шелком колени. Мечтательно он сказал:

— Как отвратительно выглядят мои вульгарные руки на твоих великолепных ногах, возлюбленная!

— А у тебя все уродливо, поросенок, — голова, ноги, руки, ну все! — уверяла она его с ворчливой нежностью. Она растянулась рядом с ним. Серый меховой жакетик она сняла. Под ним она носила короткую, похожую на рубашку блузку из очень блестящего, в красную и черную клетку шелка.

— Я тебя всегда буду любить, — сказал он устало. — Ты сильная. Ты чистая. — При этом он смотрел из-под опущенных век на твердые и острые груди, отчетливо обрисованные тонким шелком.

— Ах, это ты просто так говоришь, — сказала она серьезно и чуть презрительно. — Все-то ты выдумал. У некоторых так бывает — обязательно надо вообразить такое. Иначе им не по себе.

Он провел пальцами по ее высоким мягким сапожкам.

— Но я же знаю, что я тебя всегда буду любить, — прошептал он, теперь уже с закрытыми глазами. — Мне никогда не найти такой женщины, как ты. Ты — царица моей жизни, принцесса Тебаб.

Он недоверчиво покачала темным серьезным лицом над его белым, усталым.

— А ведь ты мне даже не разрешаешь ходить в театр, когда ты играешь, — сказала она недовольно.

Он выдохнул:

— Тем не менее я играю только для тебя — только для тебя, моя Джульетта. У тебя я набираюсь силы.

— Но больше я этого не потерплю! — твердила она упрямо. — Я все равно пойду в театр, позволишь ты мне или нет. На днях как-нибудь усядусь в партере и расхожусь, когда ты выйдешь на сцену, обезьяна ты моя.

Он сказал запальчиво:

— Брось шутить!

Он испуганно раскрыл глаза, приподнялся. Но вид Черной Венеры, казалось, опять его успокоил, он заулыбался, стал декламировать:

— Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme —
o Beauté? *

— Что это еще за чушь? — перебила она.

— Это вот из той прекрасной книги, — объяснил он, показывая на французский томик в желтом переплете, лежавший рядом с лампой на курительном столике — это были «Les Fleurs du Mal» ** Бодлера.

— Не понимаю я ничего, — сказала Джульетта досадливо.

Он, однако, не дал себя сбить, он продолжал:

Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques.

De tes bijoux l'Horreur n'est pas le moins charmant.

Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques,

Sur ton ventre orgueilleux, danse amoureusement...***

— И чего это ты так завираешься, — и она дотронулась темным узким пальцем до его рта.

Но он продолжал все так же меланхолически-напевно:

— Ты мне никогда не рассказываешь о своей прежней жизни, принцесса Тебаб. Там, у себя.

— А я ничего не помню, — отрезала она.

Потом она поцеловала его — может быть, для того, чтобы прекратить бестактные и поэтические расспросы. Ее раскрытый звериный рот с темными, потрескавшимися губами и кровавым языком медленно приблизился к его алчным бледным устам.

Как только она оторвала свое лицо от его лица, он заговорил снова:

— Не знаю, поняла ли ты меня, когда я сказал, что играю только для тебя и только благодаря тебе?

Покуда он говорил так, нежно и мечтательно, она проводила опытными пальцами по его редким шелковым волосам, которым лампа придавала золотистый блеск. Она перебирала его тонкие волосы не ласково, но серьезно и деловито, словно собиралась его стричь.

— Я ведь имею это в виду совершенно буквально, — про-

* С небес ли ты снисходишь или поднимаешься из бездны, о Красота? (Ф р а н ц.)

** «Цветы зла». (Ф р а н ц.)

*** Ты ступаешь по трупам, Красота, ты смеешься над ними, Ужас — не последнее из твоих украшений, И убийство — один из драгоценнейших твоих брелоков — Влюбленно танцует на гордом твоём животе. (Ф р а н ц.)

должал он. — Когда я хоть немного нравлюсь публике, когда я имею успех, — этим я обязан тебе. Видеть тебя, трогать тебя, принцесса Тебаб, для меня что-то вроде чудодейственного лекарства. Великолепное, небывалое освежение.

— Ах, ты только и можешь болтать и врать, — матерински усмехнулась она. — Ну и дерьмо же ты у меня, миленький.

Чтобы заставить его умолкнуть, она положила обе руки ему на лицо. Широкие браслеты зазвенели у его подбородка. На его щеках покоились ее светлые ладони. Наконец он умолк, поудобней лег на подушке, словно собираясь уснуть. И словно ища спасения, охватил руками черную девушку. Она тихо лежала в его объятиях, оставив руки на его лице, словно для того, чтоб скрыть от него свою нежно-презрительную усмешку.

Сезон был в разгаре, неплохой сезон для Гамбургского Художественного театра. Оскар Х. Кроге был решительно не прав, утверждая, что тысяча марок в месяц слишком много для Хефгена. Без этого актера и режиссера все бы провалилось к чертям. Он был столь же неутомим, сколь изобретателен. Он играл все — молодых, старых. Повод ему завидовать был не у одного только Микласа, но и у Петер-



сена и даже у Отто Ульрихса. Но последний был занят более серьезными делами и не вполне всерьез принимал театральную сутолоку. Хефген завоевывал сердца детей, являясь остроумным и прекрасным принцем в рождественской сказке. Дамы находили его неотразимым в легких французских пьесах и в комедиях Оскара Уайльда. Литературная гамбургская публика обсуждала его успехи в «Весеннем пробуждении», роль адвоката в стриндберговском «Сне», роль Леонса в бюхнеровском «Леонс и Лена». Он мог быть элегантным,

мог быть и трагическим. У него была стержневая улыбка, но и страдальческая складка над переносьем. Он очаровывал задорным остроумием, он импонировал властно поднятым подбородком, четко повелительной речью и горделиво-нервным жестом. Он трогал смиренным, беспомощно блуждающим взором, нежной, не от мира сего растерянностью. Он был благороден и низок, надменен и нежен, резок и подавлен — как того требовал репертуар. В шиллеровском «Коварстве и любви» он играл попеременно то майора Фердинанда, то секретаря Вурма — экзальтированного любовника и гнусного интригана, — причем, казалось бы, у него не было нужды так кокетливо подчеркивать свою способность к перевоплощению, ведь в ней и так никто не сомневался. Утром у него репетировался «Гамлет» а после обеда — фарс «Мице — мастер на все руки». Премьера фарса состоялась под рождество и имела шумный успех. Шмиц мог быть доволен. По поводу «Гамлета» бесновался Кроге, который уже на генеральной хотел запретить премьеру.

— Такого свинства я еще не терпел в моем доме! — возмущался старый поборник интеллектуального театра. — «Гамлета» нельзя ставить между прочим; как проходной спектакль!

Но Хефген справился и с Гамлетом. Он очень впечатлял черным, застегнутым на все пуговицы костюмом, загадочно косившим взглядом и бледным, страдальческим лицом, и наутро гамбургская пресса уверяла, что эта роль — интереснейшее достижение, может быть, она недостаточно отточена, не доработана, но зато как много захватывающих моментов. Ангелике Зиберт дали Офелию, и на каждой репетиции она буквально утопала в слезах. Из-за этих вечных слез на премьеры она еле держалась на ногах. Впрочем, некоторые знатоки считали, что она лучшая в этом сомнительном спектакле.

Хефген работал по шестнадцать часов в сутки, и по крайней мере раз в неделю с ним случался нервный приступ. Кризисы бывали всегда очень сильные и принимали самые разнообразные формы. Однажды Хефген упал на пол и молча бился в припадке. Другой раз он оставался на ногах, но кричал диким голосом, и так продолжалось пять минут без перерыва. А то однажды случилось, что он на репетиции вдруг, ко всеобщему ужасу, процедил, что не может раздвинуть челюсти, что у него спазмы, что он может только бормотать. Перед вечерним представлением, в уборной, он за-

ставил Бёка — который все еще не получил свои семь марок с полтиной — массировать ему нижнюю часть лица, стонал и что-то бормотал, не разжимая зубов. Спустя же четверть часа, на сцене, его артикуляция была свободна, как никогда. Он был ловок, блистал и имел успех.

В тот день, когда принцесса Тебаб избила его и изругала, он плакал, кричал и бился — это был ужаснейший приступ. Все актеры испуганно обступили его, а ведь они уже на всякое нагляделись. В конце концов фрау фон Герцфельд облила бесноватого водой. Джульетта, надо сказать, очень редко давала своему другу повод к такому отчаянию. Обычно она появлялась в его квартире точно в установленный час и делала именно то, чего он от нее ждал. Поздоровевший, свежий, еще более изобретательный, еще более властный, выносливый, он расставался со своей возлюбленной. Он говорил Джульетте, что любит ее, что в ней одной смысл его жизни. Иногда он сам верил тому, что ей говорил. Разве не расставался он у ног своей Черной Венеры со своей гордостью, не бросал ей под ноги свое тщеславие? Это ли не любовь? Бывало, он задумывался над этими ночами, когда возвращался из «Г. Х.». Тогда он говорил себе: «Да, я люблю ее. Правда». И слышал в себе еще более глубокий голос: «Зачем ты себя обманываешь?» Но ему удавалось заглушить этот голос. Самый глубокий голос молчал, и Хендрик верил, что способен на любовь.

Маленькая Ангелика страдала, Хефген об этом не заботился. Фрау фон Герцфельд страдала. Он ее тешил интеллектуальными беседами. Рольф Бонетти страдал из-за маленькой Ангелики, которая оставалась недоступна ему, несмотря на пылкие и упорные ухаживания. И прекрасному молодому любовнику оставалось довольствоваться Рахель Моренвиц. Он склонялся к этому с отвращением, и маска брезгливости не сходила с его лица. Ганс Миклас — ненавидел. Он голодал, когда Эфой не кормила его бутербродами. Он со своими политическими единомышленниками ругал марксистов, евреев и их еврейских пособников. Упрямо тренировался, получал незначительные роли, а под скулами залегали все более черные тени.

Со своими политическими единомышленниками много времени проводил и Отто Ульрихс. И ему было неприятно, что открытие Революционного театра все время откладывалось. Каждую неделю Хефген придумывал новую увертку.

Часто Ульрихс после репетиции отводил своего друга в сторону и молил:

— Хендрик! Когда же мы начнем?

Хендрик в ответ быстро и страстно заговаривал о гнилости капитализма, о театре как орудии политики, о необходимости сильного, отточенного художественно-политического воздействия на массы и под конец обещал сразу же после премьеры «Мице — мастер на все руки» начать репетиции для Революционного театра.

Но вот прошла прочувствованная рождественская премьера, потом прошли другие премьеры, сезон близился к концу, почти уже кончался. А Революционный театр все еще существовал только на роскошной бумаге, на которой Хефген вел переписку — торжественную и очень обширную — со знаменитыми писателями социалистического толка. И вот однажды, когда Отто Ульрихс стал вновь его теребить и уговаривать, Хендрик ему ответил, что в этом сезоне, к глубокому его сожалению, по причине роковых обстоятельств дело уже не выгорит. К сожалению, придется подождать до осени. Лицо Ульрихса омрачилось. Но Хендрик положил руку на плечо друга и единомышленника и говорил тем неотразимым голосом, который сначала пел, дрожал, а потом креп и отдавал медью, ибо Хефген бичевал моральное разложение буржуазии и славил международную солидарность пролетариата. Ульрихс смирился. Распростились с долгим прочувствованным рукопожатием.

Как раз тогда готовилась последняя новинка сезона: в комедии Теофиля Мардера «Кнорке» Хендрик Хефген репетировал главную роль. Эта пьеса Мардера, критикующая общество, имела огромный успех. Все знатоки расхваливали индивидуально-яркий стиль пьесы, ее безошибочную сценическую убедительность и безжалостно разящую злость. На премьеру «Кнорке» собирались приехать критики из Берлина. Впрочем, на премьеру — не без трепета — ждали и самого автора. Ибо бескомпромиссно высокое мнение Мардера о себе самом было всем столь же известно, сколь и его наглость и склонность к беспричинным, громким и затяжным скандалам.

Однако при всем своем страхе Хефген радовался перспективе визита знаменитого драматурга. Он почти не сомневался в том, что этот ясновидец и опытный-муж будет покорен блеском его исполненья.

«Я должен хорошо сыграть в «Кнорке», — поклялся себе Хендрик.

Чтобы целиком посвятить себя роли, он передал режиссуру директору Кроге, который собаку съел на комедиях Теофиля Мардера. «Кнорке» принадлежал к циклу сатирических пьес, которые высмеивали немецкую буржуазию при Вильгельме II. Герой комедии был выскочка, который с помощью подло заработанных денег и беспринципного, низкого, надменного ума завоевывает себе власть и влияние в высших кругах. Кнорке гнусен, но и привлекателен. Он представляет собой новый тип буржуазного выскочки — очень жизнестойчивого, далекого от благородных помыслов. Все ждали, что Хефген будет превосходить в этой роли. Он умел передать жестокость, резкость, а иногда почти трогательную беззащитность. Он привнес в роль и робкую, но первоначально ослепляющую величавость гранда, проявлявшуюся в осанке и жестах, и вульгарную, подлую, ловкую демагогию подонка, готового на все, лишь бы вылезти в люди, и бледное, застывшее, почти героическое лицо, и даже ужас в глазах при виде собственного взлета, который поистине головокружителен и может вдруг кончиться падением. Несомненно, в этой пьесе Хефген должен был стать сенсацией.

Его партнерша — спутница жизни Кнорке, не менее бесовская, чем он сам, но слабее его только потому, что она любит Кнорке; его партнершу в этой гениальной комедии играла молодая девушка, которую Теофиль Мардер настойчиво рекомендовал в письме, выдержанном в энергичном, почти гневном тоне. У Николетты фон Нибур было еще довольно мало практического театрального опыта — она выступала очень редко и только в небольших городишках. Но она была существом очень самоуверенным — настолько, что почти вгоняла окружающих в страх. Мардер в резких выражениях угрожал бедному Оскару Х. Кроге самым ужасным скандалом, если дирекция Художественного театра не ангажирует фон Нибур на главные роли. Грозный тон драматурга заставил Кроге сжаться от страха, и он пригласил Николетту в виде пробы сыграть в «Кнорке». Она приехала со множеством чемоданов из красной лакированной кожи, в широкополой черной мужской шляпе и огненно-красном плаще. У нее был большой нос крючком, сверкающие кошачьи глаза и высокий красивый лоб. Все сразу увидели в ней личность. Моц отметила это благоговейно взволнованным голосом, и никто

в «Г. Х.» не смог возразить, даже Рахель Моренвиц, хотя эта последняя и была недовольна прибытием новенькой. Ибо очевидно было, что Николетта — тоже inferнальная дама, и ей даже не нужен монокль или длинный мундштук, чтобы доказать это миру.

Рольф Бонетти и Петерсен спорили о том, можно ли назвать Николетту красивой. Энтузиаст Петерсен находил ее «просто ослепительной». Осторожный знаток Бонетти предпочел ограничиться понятием «интересная».

— О красоте не может быть и речи при таком носе! — бросил он небрежно.

— Но какие глаза! — восторгался Петерсен, тревожно озираясь, как бы не услышала Моц. — А как она держится! Да, прямо-таки величаво.

Николетта прошла мимо окон под руку с Хефгеном, на что все тотчас обратили внимание. Ее голова с гордым носом, сверкающим взглядом и высоким лбом походила на голову юноши эпохи Возрождения. Фрау фон Герцфельд, ревниво наблюдавшая за парой, печально, но пронизательно это отметила. Николетта держалась очень прямо. Ярко накрашенные тонкие губы резко и точно артикулировали. Каждая фраза четко звенела. Гласные она выбрасывала далеко вперед, так что они звучали отточенно и плоско, ни один согласный не пропадал и даже самые несущественные слова становились верхом речевой техники.

А текст речи Николетты состоял в том, что она с невыносимыми ухищрениями подчеркивала, как она честолюбива, и, если понадобится, может стать интриганкой.

— Конечно, мой милый! — говорила она Хефгену, с которым была знакома всего несколько часов. — Мы ведь все хотим выдвинуться. Надо уметь работать локтями.

Хендрик, который с любопытством искоса ее разглядывал, думал о том, позирует ли она сейчас или говорит искренно. Решить было трудно. Может быть, этот откровенный цинизм — просто маска, за которой прячется совершенно другое лицо? Но кто знает, какой у этого другого, спрятанного, лица нос и какой рот? И имеет ли оно хоть что-нибудь общее с этой гордой миной?

Хендрик не мог не признаться себе, что женщина, шедшая с ним бок о бок, произвела на него впечатление. Без сомнения, с тех пор, как он узнал Джульетту, это первая женщина, для которой у него нашелся участливый, заинтересованный

взгляд. В тот же день он признался во всем Черной Венере, и та страшным образом его избила — на этот раз не ради ритуала и игры, но с подлинной страстью. Ибо принцесса Тебаб сердилась. Хендрик страдал, стонал, наслаждался и под конец стал уверять свою принцессу, что она его единственная госпожа и возлюбленная. Но когда он вновь увидел Николетту, его опять очаровали ее резкая манера говорить, ее блестящий пронизывающий взгляд и гордая осанка.

Ноги ее нельзя было назвать безупречными, скорее они были несколько толстоваты. Но она демонстрировала их в черных шелковых чулках так победоносно, что категорически отпадало всякое сомнение в их красоте — в точности так же, как Хендрик умел держать свои грубоватые руки, как если бы они были тонкими и благородными. Николетта закидывала ногу на ногу, смотрела сверкающим взглядом, загадочно улыбалась и юбку подтягивала выше колен. Хендрик, конечно, сразу раскусил этот маневр, но именно оттого и пришел в восторг. Впрочем, как легко было представить себе на этих ногах — которые заприметил даже такой знаток, как Бонетти — зеленые сапожки — обстоятельство, делавшее Николетту еще притягательней. Хендрик откидывал бледное лицо и алчно вращал бриллиантовыми глазами. Николетта ему нравилась.

Еще понравилось ему, что она точно и откровенно сказала о своем происхождении. Ему импонировало все эксцентрическое, все сомнительное, поскольку сам он был из заурядной мещанской семьи. Николетта призналась, что не помнит своих родителей.

— Мой отец был авантюрист, — объявила она, высоко подняв голову, весело и гордо. — Мама была маленькая танцовщица в Парижской опере, и очень глупая, как я слышала, но у нее, говорят, были совершенно божественные ноги.

Она вызывающе глянула на собственные ноги, которые подавала как божественно прекрасные.

— Папа был гений. Он умел жить на широкую ногу. Он умер в Китае, где оставил семнадцать чайных и огромные долги. Единственная память о нем у меня — трубка для опиума.

В своем номере в гостинице она продемонстрировала Хендрику эту реликвию. С корректностью, за которой проглядывали чертики, она спросила его, хочет ли он чаю или кофе. Заказ она передала официанту по телефону тоном

жестокого, безжалостного приговора. Потом она стала подробно рассказывать о своем детстве.

— Училась я мало, — сказала она. — Но я умею ходить на руках, бегать на катящемся шаре и кричать совой.

Букварем ей служил достойный всяческих похвал журнал «La Vie Parisienne»*. Росла она то во французских интернатах, откуда ее часто вышибали из-за диких проказ, то в доме тайного советника Брукнера, которого она называла другом юности своего отца.

О тайном советнике Брукнере Хефген слышал раньше. Произведения этого историка были знамениты. Впрочем, Хендрик их не читал. Зато он знал, что общественное положение тайного советника столь же значительно, как и необычайно. Исследователь и мыслитель был не только одной из самых представительных и наиболее обсуждаемых фигур в немецком и европейском научном и литературном мире. Ему приписывали также и интимные связи в политических кругах. Известна была его дружба с социал-демократическим министром; с другой стороны, у него были связи и с рейхсвером: его покойная жена была дочерью генерала. Много поводов для комментариев дала поездка тайного советника по России, где он выступил с циклом лекций. Тогда националисты организовали против него травлю в печати. С тех пор многие стали с горечью поговаривать, что исторические взгляды Брукнера подверглись марксистскому влиянию. Случалось, что студенты свистели, когда он поднимался на кафедру. Но его всемирно известное имя и спокойная, уверенная осанка утихомиривали разбушевавшихся студентов. Тайный советник выходил из всех скандалов победителем. Он оставался неприкасаемым.

— Старик великолепен, — говорила о нем Николетта. — Он и в людях разбирается. Он, например, был очень привязан к папе. А мне он позволял делать все, что вздумается. Правда, он немного занудлив, но я ничего, терпела.

Лучшей подругой Николетты, по сути ее сестрой, была Барбара, дочь Брукнера.

— Она такая прелесть! И такая добрая! — Взгляд Николетты понежнел, когда она произносила эти слова, хоть она и тут не могла забыть о четкой, звенящей артикуляции.

* «Парижская жизнь». (Ф р а н ц.)

К премьере «Кнорке» ждали не только Теофиля Мардера, но и Барбару.

— Мне не терпится ее тебе показать, — сказала Николетта Хендрику. — Может быть, она тебе даже не особенно понравится. Но ты будь, пожалуйста, мил с ней ради меня. Она несколько робка, — сказала Николетта, твердо ударяя на гласные.

В день великой премьеры прибыла Барбара Брукнер. Мардер приехал лишь к вечеру, берлинским скорым. Хефген познакомился с Барбарой перед самым началом представления, когда пил в столовой коньяк. Николетта, отчетливо артикулируя, звонко произнесла:

— Это моя самая любимая подруга, Барбара Брукнер, — и при этом сделала церемонный жест под черной крахмально-плиссированной накидкой.

Хендрик был слишком взволнован, чтобы повнимательней разглядеть юную девушку. Он второпях проглотил коньяк и исчез. В уборной он нашел два огромных букета — белую сирень от Ангелики Зиберт и чайные розы от Герцфельд. Чтобы умилостивить небеса добрым поступком, Хефген широким жестом выдал маленькому Бёку, который всегда являлся на премьеры заплаканным, пять марок, что, впрочем, не вполне погашало долг в семь марок пятьдесят пфеннигов.

Премьера комедии «Кнорке» прошла блестяще: едкие остроты точным прицелом попадали в цель, обрывистые диалоги щекотали нервы, то и дело вызывая в зрительном зале смех — то испуганный, то счастливый, — но больше всего восхищала точная, грациозная, блистательная сыгранность Хефгена с новой звездой — Николеттой фон Нибур, которая «гастролировала по приглашению». После второго акта оба исполнителя главных ролей много раз выходили на аплодисменты восторженной публики. В антракте к Хефгену заявился сам Теофиль Мардер, его сопровождала Николетта.

Беспокойный, но пронизывающий взгляд Мардера обжегал все предметы в уборной и, наконец, остановился на Хендрике, который в изнеможении сидел перед зеркалом. Николетта осталась стоять у дверей, почтительно затихнув. После долгой паузы Мардер сказал пронизывающим начальственным голосом:

— Вы тот еще типаж.

Его жесткий, все схватывающий взгляд не отрывался от красиво нагримированного лица Хендрика.

— Вам понравилось, господин Мардер? — Хефген пытался очаровать сатирика жемчужным взглядом и томной улыбкой.

Но Теофиль сказал:

— Ну да... — и бессовестно добавил: — Ну да, господин... Как — я запомнил — ваше имя?

На сей раз Хендрик все же несколько обиделся. Тем не менее он назвал свое имя напевно-завлекательным голосом. На это Мардер откликнулся:

— Хендрик, Хендрик — очень забавное имя, признаться, должен сказать — очень смешное! — Это прозвучало так презрительно, что у Хефгена мороз пробежал по коже. Но вдруг писатель воскликнул с пугающей веселостью: — Хендрик! Почему Хендрик? Конечно же, вас зовут просто Гейнц! Зовут его Гейнцем, а он называет себя Хендриком! Ха-ха-ха, ей-богу, неплохо!

Он смеялся пронзительно, долго, от чистого сердца; Хефген, потрясенный этим злым ясновидением, побледнел и вздрогнул под розовой маской. Николетта, не вмешиваясь, весело переводила сверкающие кошачьи глаза с одного на другого. Теофиль снова посерьезнел, как будто задумался, и принялся шевелить голубыми губами под черными усиками. Эта игра губ как-то зловеще напоминала всасывающие движения растений, пожирающих мясо, или рыб, хватающих добычу. В заключение Мардер сказал:

— Вы тот еще типаж. Сильный талант — чувствую нюхом, у меня очень тонкий нюх. Еще поговорим! А потом вместе поедем! Пошли, дитя!

Он взял Николетту под руку и покинул уборную. Хефген остался в полном замешательстве.

Он полностью овладел собой, только когда уже стоял на сцене в огнях рампы. Зато в третьем акте он по смелости взлета превзошел все, что когда-либо прежде демонстрировал на сцене. Публика бесновалась. Когда упал занавес, Николетта, осыпанная цветами, бросилась Хефгену на шею и сказала:

— Теофиль опять нашел точное слово — ты действительно тот еще типаж!

Подождал Кроче, пробормотал какую-то любезность. Он заверил фрейлейн фон Нибур, что для него большое удовольствие продолжать с ней совместную работу. Завтра утром он просит ее прийти в бюро обсудить условия. Николетта тут же продемонстрировала свою коварно-корректную

мину, церемонно поклонилась и выразила свое категорическое удовольствие по поводу решения директора.

Теофиль Мардер пригласил обеих молодых дам и артиста Хефгена в очень дорогой, скорей буржуазно солидный, нежели модный ресторан. Хендрик здесь еще ни разу не был, и это дало Мардеру повод резко заявить, что тут единственная «лавочка» в Гамбурге, где мало-мальски прилично кормят, по крайней мере нормальная еда и хороший старый стиль, во всех же других местах подают только прогорклый жир и вонючее жаркое, а здесь бывают благородные господа, которые знают толк в жизни. И винный погреб недурен.

Действительно, на отделанных коричневыми панелями стенах висели картины из охотничьей жизни и красивые ковры, а за столиками сидели лишь пожилые господа с видом миллионеров. Но внушительней их всех выглядел метрдотель. В почтительности, с которой он принял заказ Теофиля, можно было заподозрить некоторую ироничность. Мардер предложил начать с лангустов.

— Что вы на это скажете, любезнейший Хендрик? — спросил он у Хефгена с той коварной корректностью, которой Николетта, по всей вероятности, обучалась у него.

Хендрик не знал, что ответить. Он чувствовал себя несколько неуверенно и смущенно в этом дорогом ресторане. Ему показалось, что метрдотель с пренебрежением глянул на его смокинг, в нескольких местах сиявший жирными пятнами. Под оценивающим взглядом изысканного официанта Хендрик на миг, но очень явственно почувствовал свою революционную сущность.

«Мне не место в этом ресторане для капиталистических эксплуататоров», — подумал он злобно, в то время как ему наливали белое вино. Теперь он корил себя за то, что все время откладывал открытие Революционного театра. Но Мардер его разочаровал. Этот безжалостный ясновидящий и опасный критик буржуазного общества проявил при ближайшем рассмотрении сомнительные реакционные наклонности. У него грубый, начальственный голос, злобный взгляд, на нем слишком безупречно пошитый темный костюм со слишком тщательно подобранным галстуком, что же касается лангустов, только что поданных к столу, то он с роковым знанием дела выбирает самые лучшие. А ведь у него немало общего с теми переонажами, над которыми он издевается в своих пьесах! Вот он нахваливает доброе старое время, когда он

был молод, — о, с ним не идет ни в какое сравнение новая упадочническая суета! — а сам не спускает холодных, беспокойных, алчных глаз с Николетты, которая, со своей стороны, тонко изгибает не только губы, но и все тело в металлически сверкающем вечернем платье.

Барбара тихо сидела рядом. Хендрик, которому претил вызывающий флирт Николетты с Мардером, наконец, обратил внимание на Барбару. И тут он заметил: ее взгляд испытующе обращен на него. Хендрик Хефген испугался.

В глубине сердца он испугался того, что он увидел в Барбаре Брукнер прелесть, какой еще никогда не замечал в другой женщине. Он встречал много женщин, но такой — никогда. Рассматривая ее, он мысленно перебирал в очень точной последовательности — так, как если бы надо было подвести итоговую черту под длинным и грязным прошлым — всех женщин, с какими он когда-либо имел дело. Он как бы устроил им смотр, всех вспомнил, чтобы всех забракковать: крепких и бодрых девиц с Рейна, без всяких церемоний и жеманства приобщивших его грубой реальности любви, вполне зрелых, но еще стройных приятельниц матери Беллы; молодых, но не слишком нежных приятельниц его сестры Йоизи; опытных берлинских уличных див и не менее деловитых шлюх из немецких провинций, оказывавших ему те особые услуги, которых он от них требовал, таким образом отбивая вкус от менее острых, более обычных удовольствий; всегда готовых к услугам актрис, которых он, однако, дарил этой честью лишь в самых редких случаях, а чаще заставлял довольствоваться его капризной, обольстительно жестокой дружбой; и множество поклонниц — то девически робких, то патетически-томных, то иронически-умных. Они предстали ему еще раз, демонстрируя лица и фигуры, чтобы тотчас отступить, исчезнуть, растаять перед только что открытой, ни на что не похожей прелестью Барбары. Даже Николетта — занятная дочь авантюриста и очаровательная собеседница, со всей ее корректностью и испорченностью стала почти комическим персонажем. Хендрик пожертвовал ею, его интерес к ней потух — но чем бы он не пожертвовал в этот заряженный роком, решительный, сладкий миг? Не было ли это первым большим предательством по отношению к Джульетте, томной возлюбленной, именуемой им самим смыслом его жизни и великой силой, обновлявшей и омывавшей его собственные силы? С Николеттой, на ногах которой можно было

себе представить зеленые сапожки, он никогда бы всерьез не мог обмануть Джульетту. В самом крайнем случае она могла стать эрзацем Черной Венеры, но, конечно, не ее соперницей. Соперница же сидела здесь. Она испытующе рассматривала Хендрика, когда он, в свою очередь, стал ее рассматривать, — не обольстительно косясь, не загадочно сверкая глазами, но с подлинным волнением, делающим человека беспомощным. Она опустила взгляд и отвернулась.

Ее очень простое черное платье — знаток мог бы определить, что оно сшито нехитрой домашней портнихой, — платье с белым, как у школьницы, крахмальным воротничком, оставляло открытыми шею и худые руки. Нежное и тонкое лицо было бледно; шея и руки смуглы, с золотистым отблеском — как спелая кожа благородных, напоенных ароматом долгого лета яблок. Хендрик старался доискаться, что же напоминает ему этот драгоценный отблеск, еще больше поразивший его, чем лицо Барбары. Ему вдруг вспомнились женские портреты Леонардо, и он даже слегка растрогался, что, пока Мардер хвастает знанием рецептов старинной французской кухни, он сам молчит и думает на столь благородные и возвышенные темы. Да, именно на иные портреты Леонардо походила окраска ее плоти — сочный, нежный и при этом восприимчивый тонкий цвет. Был этот цвет у него и на портретах юношей, там, где тень окутывает их голые, милые руки. Лишь юноши и мадонны на картинах старинных мастеров могли сравняться с ней прелестью.

Облик Барбары Брукнер заставил восхищенного Хендрика вспомнить о юношах и мадоннах. Идеальные юноши отличались той же восхитительной худобой. У мадонн же было такое лицо. Так они раскрывали глаза — именно так, как сейчас Барбара: глаза под длинными, черными и неподвижными, но совершенно естественными ресницами. Глаза сочного синего, отливающего чернотой цвета. Вот такие глаза были у Барбары Брукнер, и смотрели они очень серьезно, испытующе, с дружеским любопытством, временами слегка плутовски. Да и вообще это благородное лицо не лишено было плутовских черт: вовсе не скорбное и не повелительное лицо мадонны — скорее лукавое лицо. Довольно большой, влажный рот улыбался мечтательно, но не без нежной хитрости. И почти уже дерзостью казалось, что узел пышных пепельно-светлых волос несколько косо сидел на затылке. Провод же был проведен очень аккуратно и точно посередине.

— Что вы так смотрите? — в конце концов спросила Барбара, так как восхищенный Хендрик не сводил с нее глаз.

— А нельзя? — спросил он тихо.

Она сказала с кокетливой развязностью, за которой скрывалось смущение:

— Нет, почему же, смотрите на здоровье...

Хендрик понял: ее голос доставляет такое же наслаждение уху, как цвет кожи — глазу. Казалось, и голос ее тоже сочного, спелого и нежного тона. И он тоже сверкает, у него тоже драгоценный темный отблеск. Хендрик вслушивался в голос с тем же самоотречением, с каким он за минуту до того всматривался в нее. Для того чтобы она говорила и говорила, он задавал ей вопросы. Ему хотелось узнать, как долго она собирается остаться в Гамбурге. Она ответила с неловкостью, выдававшей отсутствие привычки, посасывая сигарету:

— Пока Николетта будет здесь играть. Все зависит от успеха «Кнорке».

— О, вот когда меня по-настоящему радует, что публика сегодня так долго аплодировала! — сказал Хендрик. — Думаю, что и отзывы в прессе будут хорошие.

Он заинтересовался ее занятиями. Николетта упомянула, что Барбара посещает университет. Она говорила о социологических, исторических семинарах.

— Но я там занимаюсь так нерегулярно, — сказала она рассеянно и чуть насмешливо. И она облокотилась на стол и сплела узкие пальцы.

Наблюдатель не столь пристрастный счел бы ее движения, такие трогательно-застенчивые и милые в глазах Хендрика, почти неловкими. Натянутость выдавала в ней провинциалку, не очень светскую профессорскую дочку, и эта натянутость была в контрасте с умным и веселым, открытым ее взглядом. В ней была неуверенность человека, который в определенном, но очень тесном кругу очень любим и избалован, но вне пределов этого круга склонен ощущать комплекс неполноценности. В присутствии же Николетты Барбара, кажется, привыкла быть на вторых ролях. Поэтому она обрадовалась и, пожалуй, развеселилась, что этот чудачковатый актер Хендрик Хефген так демонстративно предпочел ее, и она не без удовольствия продолжала с ним беседу.

— О, чем я только не занимаюсь, — сказала она задум-

чиво. — Вообще-то я рисую... Много занималась театральными декорациями.

Это было для Хендрика ключевое слово. Теперь он повел разговор более оживленно. Воодушеваясь, с горящими щеками он говорил о преобразованиях декоративного стиля, обо всем том, что в этой области остается открыт или подновить, улучшить. Барбара слушала, отвечала, смотрела испытующе, улыбалась, делала трогательно-неловкие движения руками, голос ее звучал плутовски-рассеянно, и она высказывала разумные, продуманные суждения.

Хендрик и Барбара болтали тихо и увлеченно. Николетта и Мардер тем временем пожирали друг друга сверкающими взглядами. Оба пустили в ход все свое искусство обольщения. Прекрасные хищные глаза Николетты блестели еще больше, чем всегда, четкость ее произношения достигла апогея. Между ярко накрашенных губ, когда она смеялась и говорила, блестели маленькие, острые зубы. Мардер, со своей стороны, выбрасывал интеллектуальные фейерверки. Его подвижный, вздрагивающий рот, производивший нездоровое впечатление голубоватой окраской, почти не закрывался. Впрочем, у Мардера была склонность с большим напором повторять одно и то же. Прежде всего он страстно настаивал на том, что нынешнее время, самым беспристрастным и признанным судьей которого он себя считал, сквернейшее, безнадежнейшее из всех времен. Ныне не существует духовного движения, никаких общих тенденций. Но прежде всего этому времени недостает личностей. Он, Мардер, — единственная личность на весь мир — и его недооценивают. Сбивало с толку то обстоятельство, что наблюдатель и судья европейской гибели не противопоставлял этому отпетому времени будущего, которое стоило бы любить и ради которого стоило бы ненавидеть сущее. Напротив, унижая современность, он восхвалял прошлое, которое именно он-то и видел насквозь, над которым он-то и насмехался и которое он так расчихвостил в своих драмах. Возбужденная Николетта не была склонна чему-нибудь удивляться. Иначе ей показалось бы странным, что именно человек, сам себя называвший классическим сатириком буржуазной эпохи, теперь превозносил до небес офицеров старой немецкой армии и рейнских промышленников, видя в них идеал безупречной дисциплины и личной отваги. Старый насмешник, чей самовлюбленный, но бесхребетный радикализм выродился в нечто ре-

акционное, провозглашал славу физическим и моральным качествам прусских генералов и, как раздраженный унтер-офицер, издевался над дряблой мягкотелостью нынешнего поколения.

— Никакой дисциплины! Нигде! — кричал он так громко и злобно, что почтенные господа, сидевшие за красным вином, удивленно поворачивали головы. — Женщины и те совершенно распоясались, — утверждал взбешенный Мардер. — Они уже ничего не смыслят в любви, они превратили ее в гешефт, они такие же поверхностные и вульгарные, как мужчины. — На этом месте Николетта засмеялась так вызывающе, что Мардер галантно добавил: — Есть, конечно, исключения.

Но тут же снова пошел все хаять. По его мнению, для немецких мужчин перестали существовать такие понятия, как порядок и уважение с тех пор, как отменена всеобщая воинская повинность. Сегодня из-за этой загнившей демократии все стало мишурой, подделкой, обманом, созданным рекламой.

— Если это не так, — спрашивал Мардер с горечью, — то почему тогда не я первый человек в государстве? Разве невероятная сила моего гения не призвана решать самые важные проблемы общественной жизни? А ведь сегодня, когда утрачены все стимулы к пониманию подлинных масштабов, мой голос стал голосом общественной нечистой совести, да и то его почти не слышно!

Глаза его горели, худое лицо, контрастировавшее бледностью с чернотой усов, исказилось. Чтобы успокоить его, Николетта напомнила ему, что ни один другой из современных драматургов не ставится так часто, как он. Он слегка польщенно улыбнулся, но уже через несколько секунд вновь помрачнел. И вдруг заорал на Хендрика Хефгена, поглощенного задушевым разговором с Барбарой:

— А вы, милостивый государь, может быть, служили?

Хендрик, обескураженный и возмущенный столь грубым обращением, обратил к нему растерянное лицо. Мардер надел:

— Отвечайте-ка, милостивый государь!

Натужно улыбаясь, с трудом Хендрик выдавил:

— Нет, конечно, нет... Слава богу, нет!

И Мардер торжествующе расхохотался:

— Вот вам опять! Никакой дисциплины! Полное отсутст-

вие личности! Или вы скажете, что у вас есть дисциплина? Или, может быть, вы личность? Все сплошная мишура, все эрзац, все сплошное плебейство, куда ни глянь!

Это уже было нагло. Хендрик не знал, как реагировать. Он чувствовал, что в нем вскипает ярость. Но ради дам, а также из-за того, что ему импонировала слава Мардера, он решил избежать скандала. К тому же он решил, что писатель психически болен. Но какая удивительная перемена произошла в Мардере! Вдруг голос обрел зловеще приглушенный тон, а глаза стали пророческими:

— Все это кончится страшно. — Он прошептал это, но в какие дали, в какие пропасти заглянул теперь его взгляд, разом получивший проникновенную силу? — Случится страшное, помяните мое слово, дети, когда это случится, я это предвидел, предугадал. Наше время гниет, оно воняет. Вспомните меня: я это раньше всех унюхал. Меня не проведешь. Я предчувствую катастрофу. Она будет беспримерной. Она поглотит всех, и никого не будет жаль, кроме меня. Все, что существует, треснет по швам. Все прогнило. Я все нащупал, проверил и проклял. Когда все рухнет, мы окажемся под обломками. Мне и вас жаль, дети, ибо вам не придется прожить вашу жизнь. А я прожил прекрасную жизнь.

Теофилоу Мардере было пятьдесят лет. Он три раза был женат. Его ненавидели и высмеивали. Он познал успех, славу и богатство.

Так как он умолк и тяжело дышал, остальные, сидевшие с ним за столиком, тоже не произносили ни звука. Николетта, Барбара и Хендрик опустили глаза.

Вдруг настроение Мардера круто изменилось. Он разливал красное вино, стал обворожителен. Хефгена, которого только что оскорбил, он теперь осыпал комплиментами.

— Я, конечно, знаю, — сказал он покровительственно, — роль выигрышна, диалог бесконечно остроумен. Но эти несчастные, нынче называющие себя актерами, до того бездарны, что даже и в моих пьесах им удастся быть бескрылыми и скучными. А вы, Хефген, по крайней мере имеете понятие о том, что такое театр. Среди слепых вы мне представляетесь одноглазым. Ваше здоровье! — И он поднял стакан. — Кажется, вы неплохо спелись с нашей Барбарой, — заметил он весело.

Барбара серьезно подняла глаза, глянула на его язвительную усмешку. Хендрик помедлил, прежде чем чокнуться

с Теофилом. Ухарский тон драматурга по отношению к чудесной Барбаре он воспринял как непристойность. Казалось, Мардер, громко хваставшийся не только своими познаниями в винах и соусах, но и безошибочным нюхом на женщин, вообще не замечает Барбару. Он смотрел на одну только Николетту, а та, в свою очередь, тщательно избегала нежных и озабоченных взглядов Барбары.

Мардер заказал шампанское к сладостям, которые только что принес изысканный официант. Было уже за полночь. Солидный ресторан, где не осталось посетителей, кроме этих четырех странных людей, давно бы уже закрылся. Но Мардер дал понять официантам, что те получают приличные чаевые, если задержатся на посту несколько дольше обычного. Великий сатирик, бдительная совесть испорченной цивилизации, теперь демонстрировал свой талант простодушия. Он рассказывал анекдоты из быта прусской военщины и из еврейского быта. Изредка он взглядывал на Николетту, чтобы отметить:

— Великолепная девушка! Дисциплинированная особа! Сегодня это исключительная редкость!

Или рассматривал Хефгена и бодро кричал:

— Этот так называемый Хендрик — тот еще типаж! Колоссально! Феномен! Он доставляет мне удовольствие! М-да!

Хендрик не мешал ему говорить, хвастаться, сиять. Он не завидовал его триумфу. У него не было ни малейшего желания с ним конкурировать. Пусть себе Мардер господствует за этим столом. Хендрик искренно смеялся над его шутками. Хефген испытывал в этой ситуации нежное и странное наслаждение: рядом с весело расходившимся Теофилом он сам казался себе притихшим и изысканным — а это редко удавалось. Таким тихим, изысканным человеком он должен был показаться и Барбаре, которой вряд ли нравилась громкость Мардера. Хефген чувствовал, что испытующий взгляд Барбары с любопытством и симпатией направлен на него. Он знал, что понравился девушке. Самые радужные надежды закрались в его взволнованное сердце.

Расстались поздно и в прекраснейшем настроении. Хендрик отправился домой пешком. Ему хотелось подумать о Барбаре. Чувство чистой влюбленности было ему абсолютно ново, к тому же оно приятно разрослось под воздействием сильных и дорогих напитков. «В чем ее секрет? — думал

восторженный Хефген. — Я думаю, ее секрет в абсолютной порядочности. Она самый порядочный человек из всех, кого мне приходилось видеть. Она и самый естественный человек из всех, кого я встречал. Она могла бы стать моим добрым ангелом».

Он остановился посреди улицы, тьма была нежная, ароматная. Ведь уже почти лето. Он ведь и не заметил, как прошла весна. Сердце его испугалось счастья, о котором не подозревало, к которому не было подготовлено опытом.

«Барбара будет моим добрым ангелом».

Встречи с принцессой Тебаб на следующий день он ждал с ужасом. Он должен был попросить свою учительницу танцев на время прекратить посещения. К этому решению его вынудило новое, большое чувство к Барбаре. Но он заранее страдал от мысли, что не увидит больше Джульетту, и дрожал, предчувствуя вспышку ее ярости. Он пытался объяснить ей перемену ситуации в самом спокойном тоне. Но голос его дрожал, и стервозная улыбка ему не удавалась, напротив, он попеременно то белел, то багровел, и большие капли пота собирались у него на лбу. Джульетта бесновалась, орала, что не позволит себя выбросить, как тряпку, что она этой фрейлейн Николетте, из-за которой он пошел на такую наглость, выцарапает глаза. Хендрик, приготовившийся к тому, чтобы сразу же отведать хлыста, умоляя ее успокоиться, заверял, что фрейлейн фон Нибур никакого отношения к делу не имеет.

— Ты мне говорил, что я смысл твоей жизни, и прочую подобную ерунду, — бранилась принцесса Тебаб.

Хендрик прикусил губу и пытался принести ей свои извинения.

— Ты лгал мне! — кричала дочь вождя. — Я всегда думала, что ты врешь самому себе, но нет, ты врал мне! Сколько ни живи, никогда до конца не узнаешь, как подл человек бывает!

Ее громовой голос и лицо выражали подлинное возмущение и самое горькое разочарование.

— Но я за тобой не побегу, — заключила она гордо. — Я не из тех, кто бегают за мужиками, пусть другая избивает тебя вместо меня — пожалуйста!

Хендрик обрадовался, что она не будет за ним бегать. Он сделал ей денежный подарок, она, ворча, его приняла.

Но уже стоя на пороге, еще раз продемонстрировала свою торжествующую улыбку.

— Только не думай, что ты от меня отделался, — сказала она и весело ему кивнула. — Когда я тебе опять понадобится — ты знаешь, где меня найти.

Теофиль Мардер уехал после бурного объяснения с Оскаром Х. Кроге. Автор «Кнорке» добивался от директора, чтобы тот на нотариально заверенной бумаге обещал ему, что пьеса будет поставлена минимум пятьдесят раз. Кроге, конечно, отказался дать такую гарантию, на что Мардер сначала пригрозил прокурором, а потом, когда угроза не возымела действия, объявил руководителя Гамбургского Художественного театра абсолютным нулем — «ни личности, ни дисциплины», — обманщиком, дельцом, невежественным халтурщиком и типичным представителем вонючей, обреченной на смерть эпохи.

На такого рода оскорбления даже такой стоворчивый малый, как Кроге, не мог реагировать спокойно. Ссорились в продолжение часа. После чего Мардер в отличном расположении духа сел в берлинский экспресс.

Хендрик, Николетта и Барбара встречались каждый день. Случалось, что Хендрик встречался с Барбарой и без Николетты. Гуляли, катались на лодке по Альстер, сидели на террасах, посещали галереи. Много болтали, сблизились. Хендрик рассказывал Барбаре то, что считал нужным ей открыть: он ей высказывал свои убеждения, объявлял о своих надеждах на мировую революцию и на миссионерское значение Революционного театра. В драматически прикрашенной форме он рассказал ей историю своего детства, обрисовал свой домашний быт, своего отца Кёбеса, мать Беллу и сестру Йози.

О своем детстве рассказывала и Барбара. Хендрик понял, какие две фигуры были до сих пор в ее жизни центральными: любимый отец и Николетта, подруга, к которой она относилась с заботливой нежностью. Эта жаждущая приключений яркая девушка давала ей много поводов к беспокойству. Но самую большую тревогу Барбаре внушали ее нынешние отношения с Мардером. Барбара испытывала к нему отвращение, Хендрик это сразу почувствовал. По ее вскользь кинутым презрительным намекам можно было понять, что Теофиль прежде, чем познакомиться с Николеттой, страстно ухаживал за Барбарой. Она же резко его отшила. И Теофиль ее возненавидел. Тем больше ему повезло с Николеттой. Она

объясняла каждому, кто хотел это слышать, очень четко артикулируя, что Теофиль Мардер единственный полноценный, подлинно серьезный и значительный человек, которым в настоящее время может похвастаться Европа. Почти ежедневно она долго говорила с ним по телефону, хотя Барбара давала ей понять, насколько серьезно она это не одобряет. Николетта же блестящими, благожелательными глазами наблюдала за тем, что происходило между Барбарой и Хендриком. Ей было приятно, что Барбара, чья нежная забота слегка тяготила Николетту, сама ввязалась в сентиментальное приключение. Николетта делала все от нее зависящее, чтобы способствовать развитию их отношений. Она говорила Хендрику, входя вечером в его уборную:

— Я рада, что у тебя с Барбарой дело на мази. Вы поженились. Ведь она не знает, что ей с собой делать.

Хендрик был против такой манеры выражаться. Но он дрожал от радости, когда спрашивал:

— Ты веришь, что Барбара об этом подумывает?

И Николетта звонко смеялась.

— Конечно, она об этом думает. Разве ты не видишь, как она вся изменилась? Я ее знаю — она из числа тех женщин, которые, если испытывают к кому-нибудь склонность, всегда примешивают к ней жалость. Женись на ней! Для вас обоих это будет самым разумным решением. Кроме того, это поможет твоей карьере. У старика Брукнера большое влияние.

Об этом Хендрик и сам уже успел подумать. Упоение любовью, которое еще продолжалось — во всяком случае, так ему хотелось думать, — не могло полностью вытеснить соображений более трезвых. Тайный советник Брукнер был великий человек, и не беден. Союз с его дочерью принесет целый ряд преимуществ, помимо счастья. Права ли Николетта в своем цинизме и категоричности? Думает ли Барбара о возможном браке с Хендриком Хефгеном? Как далеко заходит ее интерес к нему? А вдруг это только забава? Лицо плутоватой мадонны было непроницаемо. Ничего не выдавал сочный, звучащий золотом, глубокий голос. Но что значат ее испытующие глаза, столь часто устремленные на Хендрика с любопытством, участием, может быть с нежностью?

Надо было торопиться. Сезон уже подходил к концу, надвигались последние представления «Кнорке». Барбара и Николетта уедут. И вот Хендрик решился. Николетта объявила, что надумала совершить большую прогулку с Рольфом Бо-

нетти. Барбара, следовательно, оставалась одна. И Хендрик пошел к ней.

Был долгий разговор, и кончился он тем, что Хендрик упал на колени и заплакал. В слезах он просил Барбару, чтобы она сжалась над ним.

— Ты мне нужна, — всхлипывал он, положив голову ей на колени. — Без тебя я погибну. Во мне так много плохого. Один я не смогу одолеть это плохое, справиться с ним, а ты укрепишь лучшее во мне.

Эти патетические, мучительно-неловкие возгласы исторгло отчаяние. Ибо растерянный взгляд Барбары открыл ему, что решительные утверждения Николетты были либо ошибкой, либо наглой хитростью: никогда Барбара и не думала о браке с актером Хефгеном.

Он медленно оторвал залитое слезами лицо от ее колен. Его бледный рот вздрагивал, мерцание его глаз, напоминающих драгоценные камни, погасло, они казались ослепшими от горя.

— Ты меня не любишь, — выдавил он, рыдая. — Я ничто, из меня ничего не выйдет, ты меня не любишь, я конченный человек.

Он больше не мог говорить. Все, что он хотел еще сказать, вылилось в сплошной лепет.

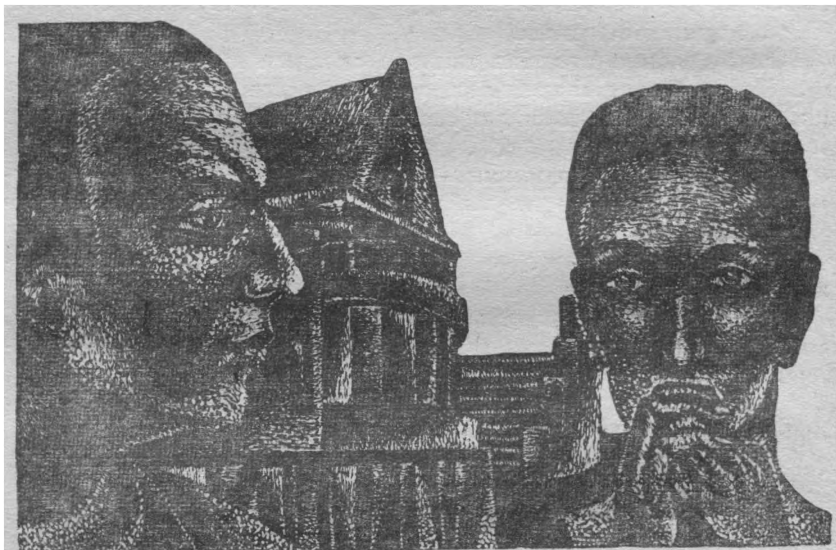
Из-под опущенных век смотрела Барбара на его волосы. Они уже поредели. На макушке тщательно причесанные пряди скрывали маленькую лысину. Но теперь эти пряди пришли в полнейший беспорядок. Может быть, вид этих бедных волос растрогал Барбару?

Не прикасаясь руками к его мокрому лицу, которое он, не разжимая век, поднял к ней, она сказала очень медленно:

— Если тебе этого так хочется, Хендрик... Мы можем попробовать. Можем попытаться...

Вслед за тем Хендрик Хефген испустил тихий хриплый крик, прозвучавший как приглушенный победный вопль. То было обручение.

Барбара еще долго не могла прийти в себя после объяснения, которое так неожиданно на нее свалилось. Ни душой, ни мыслями она не была к нему подготовлена, и кто знает, чем все это кончится? Как могло это случиться? Что она взяла на себя? Разве чувствовала она уж такой глубокий контакт с этими многоликим и ловким, в высшей степени талантливым, иногда трогательным, иногда почти отталкивающим человеком — комедиантом Хендриком Хефгеном?



Барбару почти невозможно было обольстить, даже самые хитрые трюки оставляли ее безучастной. Тем быстрее пробуждались в ней жалость и педагогическое участие. Испытанным нюхом Хендрик тотчас это учуял. С того самого первого вечера, когда он в убедительном контрасте с шумной бравадой Мардера изображал тихую изысканность, он в присутствии Барбары мудро избегал блеска и сверкания. Они говорили лишь о серьезном, о трогательном: о его этических и поли-

тических взглядах, о его одинокой юности, о трудностях и волшебстве его искусства. И в решающую минуту он показал этой девушке заплаканное, ослепшее от душевных мук лицо, и все, что он мог бы ей еще сказать, превратилось в бессвязный лепет.

Барбара привыкла к тому, что друзья обращались к ней за помощью в трудные минуты. Не только Николетта с ее путаными исповедями, но и молодые люди, а порой и пожилые друзья отца приходили к ней, когда нуждались в утешении. Она умела разбираться в страданиях других. Но с юных лет она запретила себе принимать всерьез собственные страдания, собственную беспомощность и никогда никому не изливалась. Поэтому все думали, что ничто не может нарушить ее душевного равновесия. Все друзья Барбары считали ее ровным, энергичным, многосторонне способным, мягким, умным и уверенным в себе человеком. Вероятно, из всех окружающих лишь один человек знал о ее метаниях, сомнениях в собственных силах, о ее меланхолической любви к прошлому, о ее страхе перед будущим: старый Брукнер знал свое любимое дитя.

Поэтому в его письме, написанном ей, когда он получил известие об обручении, сквозила не только грусть о том, что она собирается покинуть отчий кров, но и тревога. Взвесила ли она все, точно ли все рассчитала? — хотел знать отец. И Барбару напугала предостерегающая серьезность вопроса. Правда, все ли она взвесила и рассчитала? Каждый совет, который она давала друзьям, был результатом долгих, тщательных размышлений. Но она легкомысленно не задумывалась о событиях, которые имели отношение непосредственно к ней. Иногда она немного пугалась, но дело никогда не доходило до попытки оборониться от хода вещей; этому мешали любопытство и гордость. Со скептической улыбкой она отважно выжидала, часто вовсе не надеясь ни на что хорошее. Улыбаясь, она смотрела на своего странного Хендрика, который темпераментно требовал, чтобы она стала его добрым ангелом. Может быть, тут есть смысл, может быть, в этом ее долг, может быть, в нем есть благородное зерно и ее — именно ее — долг его охранять? И Барбара не сопротивлялась. Гораздо больше, чем внезапный поворот в собственной судьбе, ее заботила Николетта, помешавшаяся на Мардере.

Впрочем, события развивались быстро. Хендрик торопил:

свадьбу надо сыграть еще летом. Николетта поддерживала его требование.

— Если вы уж решили пожениться, дорогие, — говорила она так, будто самым категорическим образом осуждает происходящее, но не показывает вида, раз ничего нельзя поделать, — если вы уж решили пожениться, — сказала она, тщательно расставляя ударения, — тогда уж лучше поскорей. Долгая помолвка — это же просто смешно.

Свадьбу назначили на середину июня. Барбара поехала домой: масса дел и приготовлений. Тем временем Николетта и Хендрик гастролировали в комедии всего на две роли на курортах у Балтийского моря. Барбаре приходилось часто заказывать дорогостоящие телефонные переговоры с Хендриком, пока она не добилась, чтобы он прислал ей бумаги, необходимые для регистрации брака. За два дня до свадьбы прибыла Николетта — ошеломляющее явление в жизни маленького университетского городка, где обитали Брукнеры. Днем позже приехал Хендрик, заезжавший в Гамбург за новым фраком. Уже на перроне он сообщил Барбаре, что фрак неслыханно красив, но, к сожалению, за него не выплачено ни шиша. Он много и нервно смеялся. Он загорел, на нем был очень светлый, несколько тесноватый летний костюм, розовая сорочка и мягкая серебристо-серая фетровая шляпа. Смех его становился все натужней по мере приближения к вилле Брукнера. У Барбары сложилось впечатление, что Хендрик побаивается знакомства с ее отцом.

Тайный советник ждал юную пару у дверей дома, в саду. Он поздоровался с Хендриком таким глубоким и торжественным поклоном, что можно было заподозрить в этом иронию. Но он не улыбался. Лицо оставалось серьезным. Форма узкой головы была так благородна, а лицо так тонко, что это почти нагоняло страх. Изборожденный морщинами лоб, длинный согнутый нос и щеки, казалось, были выработаны из драгоценной темной слоновой кости. Расстояние между носом и ртом было большое, его заполняли седые усы. Может быть, именно это непропорционально большое расстояние между верхней губой и носом как бы искажало лицо, придавая ему несколько ненатуральный вид, словно в кривом зеркале или на портрете примитивиста. Бросался в глаза также и удлинненный подбородок, поросший бородой. Сначала казалось, что тайный советник носит длинную бородку, но на самом деле седая борода была не длиннее самого подбо-

родка. Впечатление же эспаньолки возникало оттого, что сам подбородок был необыкновенно длинен. На этом лице, которому ум и возраст придавали особое благородство, одновременно пугавшее и вызывавшее жалость, особенно поражали глаза: они были того глубокого, мягкого, впадающего в черноту темно-синего цвета, который был так хорошо знаком Хендрику: это были точь-в-точь глаза Барбары. Только над мечтательными и добрыми глазами отца были тяжелые и большей частью опущенные веки, и взгляд его был несколько затуманен. Дочь же смотрела открыто и ясно.

— Мой дорогой господин Хефген, — проговорил тайный советник, — я рад с вами познакомиться. Позвольте мне надеяться, что ваше путешествие было приятно.

Его выговор был отчетлив, но вовсе не напоминал inferнальную четкость Николетты. С любовной тщательностью тайный советник отчетливо выговаривал слова, как будто его чувство справедливости не могло допустить, чтобы хоть один слог был обижен: даже с теми незначительными конечными слогами, которыми обычно пренебрегают, он обращался бережно и аккуратно.

Хендрик был в замешательстве. Прежде чем решиться на торжественное выражение лица, он еще немного посмеялся, бессмысленно, примерно как тогда, когда здоровался с Дорой Мартин в «Г. Х.». Барбара с беспокойством на него поглядывала, но на тайного советника такое странное поведение, видимо, не произвело впечатления. Он оставался безупречно корректным и дружелюбным. С любезной церемонностью он пригласил обоих молодых людей в дом. Барбаре, которая хотела пропустить его вперед, он сказал:

— Иди первой, дитя мое, и покажи твоему другу, куда ему положить эту красивую шляпу.

В передней царил прохладный полумрак. Почтительно вдыхал Хендрик запах помещения: аромат цветов, которые стояли на столах и на камине, смешивался с тем почтенным и серьезным запахом, который шел от книг. Библиотека заполняла все стены до потолка.

Хендрика провели через ряд комнат. Он напряженно болтал, чтобы показать, что внушительность помещения нисколько его не смущает. Впрочем, он мало что замечал. Лишь случайные детали бросались ему в глаза: большая страшная собака, она, рыча, поднялась, Барбара ее погладила, и собака удалилась, важно покачиваясь; портрет покойной матери,

ласково смотревшей из-под высокой старинной прически; пожилая горничная или экономка — маленькая, добродушная и болтливая — в неимоверно длинном накрахмаленном фартуке. Она присела в реверансе перед женихом юной хозяйки, потом долго и сердечно пожимала его руку и сразу же после этого завела с Барбарой подробную беседу о домашних делах. Хендрик был поражен тем, как хорошо разбиралась Барбара в делах кухни и в садоводстве. Впрочем, он нашел странным, что старая прислуга хотя и называет Барбару «госпожой», но обращается к ней на «ты».

И вот эти-то господские покои, устланные прекрасными коврами, увешанные картинами, уставленные бронзой, и были домом Барбары. Здесь она провела детство. Эти книги она читала. В этом саду принимала друзей. Нежно оберегаемое умной любовью отца, прошло ее детство — чистое, полное игр, тайные правила которых были ведомы лишь ей одной, — прошли и девичьи годы. Кроме нежности, граничившей с благоговением, Хендрик, еще не решаясь самому себе в этом признаться, испытывал и нечто другое: зависть. Мучительно тяготила мысль о том, что завтра в эти покои ему придется ввести свою мать Беллу и сестру Йози. Как стыдился он уже заранее их развязности, дурного тона. Счастье еще, что отец Кёбес не сможет приехать.

Завтракали на террасе. Хендрик был в восторге от красоты сада, грядок, деревьев и дорожек. Тайный советник указал на статую Гермеса, упрятавшего в кудрявой березовой листве грациозную худобу устремленного вверх, словно готового к полету юного тела. Это славное произведение искусства, казалось, было предметом гордости хозяина.

— Да, да, он красив, мой Гермес, — сказал он, и в его улыбке появилось нечто похожее на довольную ухмылку. — Я каждый день заново радуюсь, что он мой и так удачно вписывается в мой березняк.

Конечно, он был также рад обилию хороших вин и прочих напитков. Он наливал себе в меру, но достаточно всего по очереди и все похваливал.

— Люблю малину, — отметил он с удовлетворением, когда дело дошло до десерта. — Хорошо. И запах приятный.

Настроение, которое он распространял вокруг себя, было странной смесью торжественности, и уюта, неприступной холодности и благожелательства. Кажется, зять ему понравился. Он выказывал ему расположение, возможно не лишнее

иронии. Его улыбка словно говорила: «Типы вроде тебя, мой дорогой, тоже необходимы; довольно забавно наблюдать за вами — по крайней мере не соскучишься; правда, я ни сном ни духом не думал и никогда не мог хотеть, чтобы малый вроде тебя сидел за моим столом в качестве зятя. Но я имею склонность принимать вещи такими, каковы они есть, — надо уметь в любом явлении находить лучшую и смешную сторону. А впрочем, моя Барбара, надо думать, имела веские причины выйти за тебя замуж...»

Хендрик решил, что у него есть шансы на успех. И поставил себе целью понравиться во что бы то ни стало. Он уже не мог не пуститься на испытанный прием — сверкать глазами. Запрокинув голову, многозначительно и победно улыбаясь, он вновь придал своим глазам сходство с драгоценными камнями — и казалось, тайный советник вполне очарован этим взглядом. Пожилой господин остался внимательным и сохранил улыбку на лице, когда его зять Хефген перешел к тому, что в эффектно заученной речи стал выражать свое мировоззрение, причем находил самые убийственные выражения, говоря об эксплуататорском цинизме буржуазии и о кощунственном безумии националистов. Старик не мешал его декламации. Лишь однажды он поднял худую красивую руку, чтобы вставить:

— Вы так презрительно говорите о буржуазии, мой дорогой господин Хефген. Но я ведь тоже буржуа. Правда, не националист и, надеюсь, не эксплуататор, — добавил он приветливо.

Хендрик, лицо которого над розовой сорочкой покраснелось от оживленной беседы и вина, что-то пробормотал о том, что существует, мол, надбуржуазный тип людей, которых вполне умеют ценить сторонники идей коммунизма, что великое наследство буржуазных революций и либерализма останется жить вечно, и так далее и тому подобное.

Тайный советник движением руки остановил этот поток красноречия. Но потом — словно бы действительно хотел убедить Хефгена в своей политической непредвзятости — рассказал в присущей ему степенной, взвешивающей, вычурно-обстоятельной и убедительно-наглядной манере о тех значительных впечатлениях, которые он вынес из своей поездки по Советскому Союзу.

— Каждый объективный наблюдатель должен признать и все мы должны привыкнуть к мысли, что там нарождается

новая форма человеческого общежития, — сказал он медленно и посмотрел голубым взглядом вдаль, будто видел там великие события, происходящие в той стране. И строгим голосом добавил: — Этот факт могут оспаривать лишь дураки или лжецы.

Но тотчас внезапно он переменял тон.

Попросив, чтобы ему пододвинули блюдо с малиной, он с плутоватой улыбкой, по своему обычаю склонив набок голову, проговорил:

— Поймите меня правильно, дорогой господин Хефген: конечно, мне чужд этот мир — даже, боюсь, слишком чужд. Но разве это должно означать, что я отрицаю его великое будущее?

И он кивнул Барбаре, подававшей ему сливки. Хендрик был рад, что можно снова говорить. Казалось, его не особенно интересуют подробности о Советском Союзе. Зато он с жаром заговорил о Революционном театре и о преследованиях со стороны реакции, которым он подвергался в Гамбурге. Он стал резок, фашистов называл то «зверьями», то «дьяволами», то «идиотами» и гневно клеймил тех интеллигентов, которые из гнусного приспособленчества потворствуют воинствующему национализму.

— Всех их надо перевешать! — воскликнул Хендрик, при этом даже стукнув кулаком по столу.

Тайный советник заметил примирительно:

— Да, да, у меня тоже были неприятности.

Этим замечанием он намекал на известные скандальные происшествия: на бурные сцены, которые ему закатывали националистически настроенные студенты, и на гнусные нападки реакционной прессы, которым он подвергся.

После еды пожилой хозяин дома попросил актера Хефгена показать что-нибудь из своего репертуара. Хендрик, вовсе к этому не подготовленный, долго упирался. Но тайный советник хотел развлечься: если уж его дочь вышла замуж за комедианта в розовой рубашке и с моноклем, то он, отец, по крайней мере надеялся на забавное представление. И Хендрику пришлось декламировать в гостиной стихи Рильке. Даже пожилая экономка и собака пришли его послушать. К маленькой аудитории присоединилась также и Николетта, которая не обедала с ними и которую тайный советник приветствовал с иронической церемонностью. Хендрик очень

старался, пустил в ход все средства, сделал свое дело очень хорошо и стяжал аплодисменты. Когда он закончил выступление отрывком из «Корнета», тайный советник не без волнения пожал ему руку, а Николетта, превосходно артикулируя, похвалила его «отличный выговор».

На следующий день принимали обеих дам Хефген — мать и дочь. Хендрик сказал Барбаре, поджидая их на перроне:

— Вот увидишь: Йози бросится ко мне на шею и расскажет, что она опять обручилась. Это ужасно — она обручается по крайней мере раз в полгода, и с кем! Мы всегда радуемся, когда дело кончается разрывом. В прошлый раз это чуть не стоило жизни бедному отцу. Жених был автогонщик, он взял отца с собой в машину, и поездка закончилась в овраге. Автогонщик, слава богу, помер, отец же только сломал ногу. Конечно, он очень жалеет, что не может быть сегодня с нами.

Все было, как и предвидел Хендрик: сестра Йози в ярко-желтом летнем платье, вышитом красными цветами, выпорхнула из вагона, покуда мама еще возилась с чемоданами в купе, бросилась на шею к брату и бурно потребовала, чтобы тот ее поздравил. На этот раз речь шла о господине, который работал на кельнском радио.

— Я смогу петь перед микрофоном! — ликовала Йози. — Он говорит, что я очень способная. Осенью мы поженимся, ты счастлив, Хейни? Хендрик! — исправилась она быстро и виновато. — Ты тоже счастлив? — Хефген стряхнул ее, как назойливую собачонку, и поспешил навстречу матери, из окна купе окликавшей носильщика. Йози тем временем расцеловала Барбару в обе щеки.

— Как я рада с тобой познакомиться, — трещала она. — Конечно, мы должны перейти на «ты». «Вы» было бы чересчур чопорно для невесток. Ой, я так рада, что Хендрик, наконец, женится, до сих пор только я все время обручалась! Хендрик наверняка тебе рассказывал, как плохо это кончилось последний раз. Папина нога до сих пор в гипсе. Но у Константина действительно очень хорошее положение на радио. Мы в октябре поженимся! А ты великолепно выглядишь, Барбара, и откуда у тебя это платье, наверняка парижская модель!

Хендрик подвел к Барбаре свою мать, и его лицо засияло, когда она протянула девушке обе руки.

— Милое, милое дитя, — сказала госпожа Хефген, и глаза ее увлажнились.

Хендрик улыбался нежно и гордо. Он любил свою мать — Барбара это поняла и обрадовалась. Правда, иногда он стыдился ее, она была недостаточно изысканна, он стеснялся ее вульгарных манер. Но тем не менее он любил ее: это было сразу заметно по его оживленному и веселому взгляду и по тому, как он прижал ее руку к своей.

Как они были похожи, мать и сын! От фрау Беллы Хендрик унаследовал длинный, прямой, несколько мясистый нос с подвижными ноздрями, мягкий и чувственный рот; сильный благородный подбородок с характерной ямочкой; большие серо-зеленые глаза; вздернутые светлые брови. Но только все это у простодушной дамы было непритязательней, скромней, чем у сына: в ее облике не чувствовалось ничего демонического. Глаза у нее не сверкали, губ не трогала ни стервозно-обольстительная, ни нежно-жалостная улыбка. Фрау Белла была энергичная, добродушная, великолепно сохранившаяся женщина пятидесяти с небольшим, со свежим и симпатичным открытым лицом, приятно вздымающейся грудью, светлой завивкой под соломенной шляпой с цветами, с веснушками на носу. У нее еще не было причин считать себя старухой и отрекаться от радостей жизни.

— Иногда хочется развлечься, — сказала она решительно. Потом, смутившись, она стала болтать о благотворительном празднестве, на котором было так весело. Дамы из кельнского общества выставляли для продажи в пользу сирот освежительные напитки, цветы и предметы искусства, считалось почетным принимать в этом участие, и поэтому фрау Хефген без колебаний взяла на себя роль продавщицы шампанского: за стакан шампанского она требовала пять марок — дороговато, но ведь это на благо бедным сироткам. Но потом поползли мерзкие сплетни: гнусные люди дошли до такой наглости, что утверждали, будто фрау Белла торговала шампанским не из гуманности, а выручала якобы деньги для фирмы, поставлявшей шампанское, где она, фрау Белла, служила, и — мало этого! — будто бы она дала себя поцеловать — можете себе представить! — разрешила себя поцеловать, да еще в грудь!

Мать сообщала это Хефгену с благородным негодованием. Они ехали в открытой машине по летнему городу.

От гнева ее лицо покраснелось, она утирала пот со лба и кричала:

— Ведь это гнусность! Я сдала все до последнего пфеннига, а я заработала больше других дам — даже получила благодарность от приюта. Правда, один господин хотел поцеловать мне руку, но я ему говорю: отстаньте, говорю, глупый вы человек, оставьте это! — и дала бы ему пощечину, если б он тут же не извинился. Ведь люди так злы — веди ты себя благородно, безупречно — все равно они пустят о тебе какую-нибудь гадость. Но теперь у них отпадет охота сплетничать, теперь ты заткнешь им рот, а, Хендрик, правда?

И фрау Белла бросила гордый взгляд сначала на своего сына, потом на Барбару. Хендрик страдал от наивных бестактностей матери. Он краснел, кусал губы и, наконец, с горя стал расписывать красоту улицы, по которой они ехали.

Тайный советник принял дам у калитки с той же веселой торжественностью, которую за день до этого заготовил для Хендрика. Барбара провела Беллу и Йози наверх — помыть руки и напудрить носы. Часом позднее на двух машинах поехали в бюро регистрации браков. В машине Брукнера, кроме жениха с невестой, сидели фрау Хефген и сам тайный советник. Следом за ними в такси ехали Николетта, Йози, старая экономка и друг юности Барбары по имени Себастьян, чье присутствие несколько удивило Хендрика.

Официальная церемония длилась недолго. Николетта и тайный советник были свидетелями. Все были немного взволнованы, фрау Белла и маленькая экономка прослезились, а Йози нервно смеялась. Хендрик отвечал на вопросы чиновника сдавленным голосом, глаза его несколько косили. Барбара не сводила мягко-испытующего взгляда с человека, стоявшего рядом с ней и уже считавшегося ее мужем. Последовали пожелания счастья, поцелуи. Ко всеобщему удивлению, Николетта четким голосом попросила у фрау Беллы разрешения называть ее «тетей Беллой», и когда та согласилась, с пугающей корректностью поцеловала ей руку. Роскошная девица была сегодня особенно блистательна и вся звенела веселостью. Она держалась очень прямо в белом, твердом, как броня, льняном платье с широким ярко-красным лакированным пояском.

— Я рада, моя милая, что все так удачно обернулось, — несколько бессмысленно, хотя и очень четко заметила она, обращаясь к Барбаре. Ее красивые кошачьи глаза сверкали.

Она отвела в сторону фрейлейн Йози, чтобы порекомендовать ей превосходнейшее средство от веснушек, которое — как она неожиданно соврала — ее отец изобрел и ввел в употребление на всем Дальнем Востоке.

— Вы можете им воспользоваться, — с угрозой в голосе сказала Николетта, по какому-то странному капризу пожелавшая перейти на «ты» с фрау Беллой, но не с Йози. — Ведь носик у вас совершенно испорчен веснушками. — При этом она очень строго оглядела веснушки, не только усыпавшие весь кокетливо вздернутый курносый носик, но, хоть и не особенно густо, покрывавшие часть щек и лба: точно так же спиралеобразные туманности или млечные пути космоса в окраинных областях редуют и делаются прозрачными.

— Да сама знаю, — сказала Йози пристыженно. — Летом это всегда такой ужас. Но Константину это нравится, — добавила она, утешенная, и тотчас перешла к рассказу о хорошем положении ее жениха на кельнском радио.

Бабушка Барбары, генеральша, появилась лишь к ленчу. Одним из принципов старой дамы было никогда не пользоваться автомобилем. Десять километров, отделявших ее маленькое имение от виллы Брукнера, она преодолевала в старомодной большой коляске и всегда опаздывала ко всем семейным торжествам. Красивым, очень звучным голосом, очень широкого диапазона — от густого баса до самых верхов дисканта — она сетовала, что опоздала к церемонии бракосочетания.

— Ну-ка, дайте на вас поглядеть, новый внучек, — сказала веселая бабушка, внимательно оглядывая Хендрика в лорнетку, висевшую на длинной серебряной, украшенной драгоценными камнями цепочке у нее на груди. Хендрик покраснел, не зная куда деваться. Осмотр продолжался долго. Впрочем, кажется, старухе он понравился. Когда генеральша опустила, наконец, лорнет, она засмеялась серебристым, звонким смехом.

— Совсем неплохо, — констатировала она, подбоченясь и весело кивая Хендрику. На ее белом напудренном лице яркие и подвижные глаза говорили еще красноречивей, умней, сильнее и убедительней уст.

Такой удивительной старой дамы Хендрик не встречал за всю жизнь. Генеральша невероятно ему понравилась. У нее была внешность аристократки XVIII века: высокомерное,

умное, веселое и строгое лицо обрамляла седая прическа, покрывавшая уши твердыми валиками. Казалось, на затылке у нее коса. Ее отсутствие было странно и даже разочаровывало. В жемчужно-сером летнем костюме с кружевным рюшем у шеи и на манжетах она выглядела по-военному стройно. Широкое кольцо прекрасной старинной работы из матового серебра и голубых камней, в цвет камням на бряцающей цепочке лорнета, от рюша до самого подбородка скрывало шею и походило на высокий воротник мундира.

Она всегда царила — к иному она не привыкла. В конце XIX века она считалась одной из красивейших женщин немецкого света. Даже в первые два десятилетия XX века много говорили о ее красоте, и все великие художники эпохи писали ее портреты. В ее салоне принцы и генералы встречались с поэтами, композиторами и художниками. Много лет подряд в Мюнхене и Берлине об уме и оригинальности генеральши говорилось почти столько же, сколько и о ее красоте. Так как ее муж — он умер несколько лет тому назад — пользовался благосклонностью в самых высоких кругах и, между прочим, был к тому же богат, ей прощали взгляды, убеждения и манеры, которые навлекли бы на любую другую обвинения в эксцентризме и даже в непристойности. Самому кайзеру бросилась в глаза ее красота. Поэтому она уже в 1900-м смогла выступить за женское равноправие. Она знала наизусть «Заратустру» и часто декламировала из него отрывки, к неприятному удивлению аристократических гостей, почитавших это произведение социалистическим. Она знавала Франца Листа и Рихарда Вагнера. Она переписывалась с Генриком Ибсеном и Бьёрнстjerne Бьёрнсоном. По-видимому, она была против смертной казни. Ей прощали ее образ мыслей, в котором дерзновенная небрежность причудливо сочеталась с гордым достоинством.

Генеральша произела на Хендрика впечатление значительно более сильное, чем тайный советник. Только теперь он по-настоящему понял, в какое блестящее общество вступил. Его добрая мать Белла была, очевидно, права — только не следовало ей так бестактно напирать на это: перед лицом такого родства у обывателей города Кельна пройдет охота к гнусным сплетням о якобы опустившемся семействе Хефгенов. И Барбара еще поднялась в его глазах, когда он увидел, какие близкие отношения между ней и ее сиятельной бабкой. Барбара все каникулы и к тому же почти каждое воскресенье

проводила в имении генеральши — Хендрик вспомнил, что он слышал об этом и раньше. Несравненная старая дама читала своей внучке Диккенса и Толстого — страстью старухи было читать вслух, и читала она очень выразительно, — кроме того, они вместе катались верхом по имению, которое Хендрику представилось очень аристократическим — вроде английского парка — и к тому же романтичным — лес, пронизанный серебристыми речками, холмы, долины, ущелья и прелестные виды. И вновь, когда Хефген думал о прекрасном детстве Барбары, к восторгу примешивалось чувство зависти. Беззаботная юность, утонченная культура и почти абсолютная свобода... Быт отцовской виллы; праздничный отдых в имении царственной дамы, благодаря регулярности тоже ставший почти бытом. Мог ли Хендрик подавить чувство горечи при сравнении ее детства со своим?

Ибо в Кельне, у отца Кёбеса, теперь прикованного к постели из-за сломанной ноги, не было ни парка, ни зал, устланных коврами, ни библиотеки, ни картин; напротив, там были затхлые комнатухи, в которых Белла и Йози развивали бурную деятельность, когда приходили гости, но кисли и ходили распустаными, когда оставались одни. Отец Кёбес не вылезал из долгов и жаловался на людскую низость, когда на него нажимали кредиторы. Но еще мучительней его хандры были приступы благодушия на праздники, а то и вовсе без повода. Тогда готовилась жженка, и папа Кёбес требовал от своих, чтобы они пели с ним канон. Молодой Хендрик, правда, отказывался. Бледный и мрачный, сидел он в своем углу, и единственной мыслью его всегда было: «Мне нужно вырваться из этой среды, надо оставить все это далеко-далеко позади».

«Барбаре легко, — думал он теперь, беседуя с генеральшей. — Перед ней были открыты все пути. Она типичное дитя крупного капитала. Как удивили бы ее черные стороны жизни, которые познал я. Все, чего я добьюсь, и чего уже добился, — все это я сам, сам, благодаря собственным усилиям». Не без язвительности он сказал своей молодой жене, когда та подвела его к столу, заваленному поздравительными телеграммами и подарками:

— Телеграммы, конечно, все тебе. Меня никто не поздравит.

Барбара засмеялась, как ему показалось, довольно прерывительно и даже самодовольно:

— Напротив, Хендрик. Многие поздравили одного тебя — например, Мардер.

Из высокой пачки писем, открыток и телеграмм она выбрала те, что были адресованы Хендрику. Кроме Теофиля Мардера, чье поздравление к свадьбе было составлено в многозначно-корректных, явно презрительных оборотах, лежали поздравления от маленькой Ангелики Зиберт, директоров Шмица и Крое, Гедды фон Герцфельд и — он ужаснулся — от Джульетты. Откуда она узнала адрес, дату? Хендрик побледнел, смял телеграмму. Чтобы отвлечь внимание, он несколько преувеличенно восхищался подарками, которые получила Барбара: фарфор и серебро, хрусталь, книги, украшения, любовно и тщательно выбранные друзьями и родственниками.

— Что со всем этим делать? — спросила Барбара, беспомощно оглядывая разложенные по столу сокровища. Хендрик подумал о том, что элегантные вещицы очень неплохо выглядели бы в его гамбургской комнате. Но он ничего не сказал, усмехнулся и пожал плечами.

Подошел молодой человек, присутствие которого несколько беспокоило Хендрика, — Себастьян. Он говорил с Барбарой торопливо, на каком-то трудно постижимом, богатом интимными намеками жаргоне. Хендрик лишь с трудом улавливал суть. Он про себя отметил, что этот юноша, которого Барбара называет лучшим другом юности, о котором она говорит, что он пишет прекрасные стихи и умные статьи, ему крайне несимпатичен. «Он высокомерен и несносен!» — думал Хендрик, тушуясь в присутствии Себастьяна, хотя тот был с ним крайне любезен. Но именно эта ни к чему не обязывающая, чуть снисходительная любезность оскорбляла его. Пепельно-светлые волосы Себастьяна густо падали на лоб; у него были благородные, несколько усталые черты, длинный нос, а глаза серые, с поволокой. «Наверное, его папаша тоже профессор или что-нибудь в этом роде, — решил Хендрик. — Избалованный, остроумный — такие и портят души девушек, подобных Барбаре».

После еды сидели вместе в погребе: на террасе стало слишком жарко. Фрау Белла сочла своим долгом поговорить о литературе. Она рассказала, что в поезде прочитала что-то ужасно милое, буквально захватившее ее, — как, бишь, фамилия автора, «ну, вот этого русского, великого! Самого великого!» — восклицала бедняга, терзаясь.

— И как же я могла позабыть фамилию, это же мой любимый писатель!

Николетта спросила, не о Толстом ли речь.

— Совершенно верно — Толстой! — радостно подтвердила фрау Белла. — Я же говорю — величайший! Это была какая-то совсем новая его вещь...

Скоро выяснилось, что эти восторги у матери Хефгена вызвал рассказ Достоевского. Хендрик покраснел как рак. Чтобы сменить тему разговора и доказать высокомерному обществу, что в трудные минуты он не предаёт своей матери, он стал демонстративно обращаться только к ней и, весело хохоча, перебирал смешные приключения из прошлого. Как было смешно, когда мать и сын на масленицу устроили маскарад и напугали отца Кёбеса! Фрау Белла переоделась пашой, а маленький Хендрик, которого тогда звали Гейнцем (но это сейчас не упоминалось) — Баядерой. Все перевернули вверх дном. Папаша Кёбес не верил своим глазам, когда явился домой.

— Мама первая поняла, что мое призвание — театр, — сказал Хендрик, любовно глянув на мать. — Отец долго не хотел об этом слышать.

Потом он рассказал историю о том, как начиналась его театральная карьера. Это было еще во время войны — в 1917 году, — Хендрику только что исполнилось восемнадцать, когда он на газетном клочке нашел объявление, из которого явствовало, что фронтовой театр на оккупированной территории в Бельгии ищет молодых артистов.

— Но я не могу произнести, где именно нашел обрывок газеты, решившей мою судьбу... — Так как все смеялись, он сделал вид, будто ему очень стыдно и, закрыв руками лицо, выдавил из себя: — Да, да, боюсь, вы угадали...

— В уборной! — ликующе воскликнула генеральша, и смех ее заколыхался от глубоких басов до серебристой трели.

Пока нарастало общее веселье, Хендрик перешел к анекдотам из жизни бродячего театра, где ему приходилось играть роли отцов. Теперь он мог, не стесняясь, пустить в ход давно испытанный репертуар и снова блистать: ведь в этом кругу никто не знал этих сюжетов. Только Барбара частично их уже знала, и потому наблюдала за рассказчиком удивленным взглядом, выражавшим даже некоторое отвращение.

Вечером пришло несколько друзей, и Хендрик смог на-

деть неоплаченный фрак, который удивительно ему шел. Стол украсили цветами. После жаркого тайный советник постучал вилкой по бокалу шампанского и произнес речь. Он обратился со словами приветствия к присутствующим и прежде всего к матери Хендрика и его сестре — причем фрау Беллу он с шутливой учтивостью назвал «еще одной молодой фрау Хефген», — а потом перешел к теме о браке и к личности и заслугам перед искусством своего нового зятя в частности. Тайному советнику, тщательно и ловко подбиравшему слова, удалось характеризовать артиста Хефгена как некоего сказочного принца, который днем кажется незаметным, а вечерами магически преображается.

— Вот он! — воскликнул Брукнер и длинным узким пальцем показал на зардевшегося Хендрика. — Вот он, только взгляните на него! Он кажется стройным молодым человеком — конечно, он очень внушительно выглядит в своем отлично скроенном фраке, но тем не менее он относительно незаметен. Незаметен именно в сравнении с той сложной волшебной фигурой, что вечером при свете рампы движется по сцене. Тогда он сияет, тогда он неотразим.

И воодушевленный темой, ученый сравнил артиста Хефгена — хоть на сцене его ни разу не видел, а знал лишь в качестве исполнителя стихов Рильке — со светляком, который днем по скромности прячется, чтобы тем более обольстительно преображаться по ночам. Тут Николетта пронзительно захохотала, а генеральша загремела цепочкой лорнета.

В заключение тайный советник произнес здравицу в честь юной пары. Хендрик поцеловал Барбаре руку.

— Как ты прекрасна! — сказал он и задушевно ей улыбнулся.

На Барбаре было платье из тяжелого желтоватого шелка. Николетта его раскритиковала, утверждая, что оно не модно, надуманно, что сразу видна рука домашней швейки. Но никто не мог оспаривать, что платье ей удивительно к лицу. Над широким воротом из старинных кружев — один из свадебных даров генеральши — трогательно и стройно поднималась загорелая шея. Улыбка, которой она ответила Хендрику, была несколько рассеянна. И на кого направлен этот черно-голубой, мягкий, испытующий, несколько озабоченный взгляд? Во всяком случае, не на него, не на Хендрика. Внезапно сбитый с толку, он обернулся. Он увидел Себа-

стьяна — друга Барбары: нескладный, с поникшими плечами, вытянув вперед голову, он стоял всего лишь в нескольких шагах от юной четы. Его лицо было омрачено и выражало настороженную чуткость. Он странно двигал пальцами обеих рук — будто играл на рояле. Что это? Или он подает Барбаре тайные знаки, понятные только им двоим? И к чему он прислушивается, проклятый? И отчего такая грусть на его лице? Может, он любит Барбару? Конечно, он ее любит. Наверное, он хотел на ней жениться. Может быть, когда-то давно они по-детски обручились?

«А я ему все испортил, — подумал Хендрик, не зная, радоваться или ужасаться. — Как он меня ненавидит!»

Он отвернулся от Себастьяна и посмотрел на других гостей — друзей высокого дома. И нашел, что у всех мрачные лица. Хендрик не разобрал имен в момент знакомства. Но, очевидно, все это были профессора, писатели, знаменитые врачи. Несколько молодых людей, как ему показалось, мистически походили на Себастьяна. Девушки в своих вечерних туалетах казались наряженными в маскарадные платья, как если бы в обычное время они носили серые штаны из фланели, белые халаты, как в лаборатории, или зеленые фартуки садовников. Во взглядах, направленных на него, Хендрику чудилась зависть, смешанная с презрением. Неужто они все так любят Барбару? И он у всех ее отнял? Значит, с ним, вторгшимся в их жизнь подозрительным типом, сядут за один стол только ради загадочного — и, очевидно, мимолетного — каприза Барбары? Говорили о тысяче нейтральных вещей: о новой книге, о новой театральной постановке, о политическом положении, которое всех беспокоило. А Хендрик думал, что все заняты только им. Говорят только о нем, смеются только над ним...

Ему хотелось спрятаться, так тошно ему вдруг стало. Тайный советник просто решил поиздеваться над ним в своей речи. И вдруг все, что он пережил сегодня, показалось унижительным. И смешанное с иронией благожелательство тайного советника, еще недавно столь лестное ему, ведь по сути куда унижительней любой строгости и откровенного высокомерия... Лишь теперь Хендрику стало ясно, сколько презрения и в веселой бесцеремонности генеральши. Правда, она импозантна, она настоящая гранд-дама и выглядит великолепно, вот хоть бы сейчас, когда царственной походкой, беззаботно брэнча цепочкой от лорнетки, приближается

к юной чете — вся в белом, вокруг шеи в три ряда цепь из больших, мерцающих матовым блеском жемчужин. Если за обедом в своем сером костюме она напоминала маркизу XVIII века, то теперь в белом своем платье, украшенном драгоценными камнями, походила скорее на римского папу. Величавость манер и осанки контрастировала со смелой непринужденностью ее речей.

— Мне надо чокнуться со светляком и с моей маленькой Барбарой! — выкрикнула она. И помахала бокалом с шампанским.

Из другого угла к ним подошла Николетта, тоже с бокалом в руке. Она сверкала глазами, а ярко покрашенные губы тонко кривились.

— За здоровье новобрачных! — воскликнула генеральша.

— За ваше здоровье! — крикнула Николетта.

Хендрик сначала чокнулся с царственной бабушкой. Потом с Николеттой — девушкой, которую занесла в эту среду судьба, столь же необычная, как и его собственная. Эту поразительную личность, из любопытства и снисходительности терпимую тайным советником и самоуверенной генеральшей, охраняла глубокая любовь Барбары. В этот миг Хендрик очень ясно ощутил чувство близости — что-то вроде братской симпатии к Николетте. Он понял: они равные. Правда, отец ее был литератор и авантюрист, чаровавший богему конца прошлого и начала нынешнего века жизненной неспособностью и циническим умом, в то время как мешанская мелкотравчатость папаши Кёбеса не могла очаровать никого и лишь вызывала злобу кредиторов. Но среди всех этих образованных, богатых (правда, большинство из присутствующих вовсе не были богаты, но Хендрик всех считал чуть ли не миллионерами), среди уверенных, ироничных, умных людей, с которыми Барбара чувствовала себя как рыба в воде, оба они с Николеттой играли одну и ту же роль — двух белых ворон. И обоим в глубине души хотелось использовать это общество для собственного возвышения, а потом, вознесясь, отомстить всем этим господам.

— За ваше здоровье! — отвечал Хендрик. Его бокал, тихо звеня, соприкоснулся с бокалом Николетты.

Барбара, смеясь и болтая, обходила стол и подошла тем временем к своему отцу. Она молча обвила руками его шею и поцеловала его.

Прекрасную гостиницу на берегу одного верхнебаварского озера рекомендовала Николетта, сопровождавшая молодую чету в маленьком свадебном путешествии. Барбара была здесь очень счастлива: она любила эти места, здешние холмы, луга, леса и воды, такие непритязательные и все же не лишенные романтической прелести. При бурной погоде казалось, что горы совсем близко, а при свете заката их острые вершины и заснеженные склоны словно заливало кровью. Но еще прекраснее казался Барбаре вид этих гор, когда они за час до темноты величаво бледнели в ледяном покое, словно созданные из хрупкой, драгоценной субстанции — не из стекла, металла или камня, но из чего-то совершенно невиданного.

Хендрик не воспринимал очарования и величия местности. Атмосфера эlegantного отеля беспокоила и будоражила его. Он вел себя с официантами недоверчиво и раздраженно. Он утверждал, что его они обслуживают хуже, чем остальных, и упрекал Барбару, что она заставляет его жить не по средствам. С другой стороны, ему льстила избранность публики, населявшей гостиницу.

— Кроме нас, тут почти исключительно англичане! — удовлетворенно отмечал он.

Несмотря на нервозность Хендрика, они знали тут и веселые часы. По утрам все трое лежали на деревянных мостках, выдававшихся далеко в голубую воду, к которым днем причаливал маленький, белый с золотом, смешной кораблик. Николетта занималась гимнастикой и тренировалась. Она прыгала через веревку, ходила на руках, выгибалась, касаясь лбом земли, а Барбара лениво грелась на солнышке. Но зато во время купания Барбара давала сто очков вперед усердной Николетте: Барбара быстрее и дольше плавала. Что касается Хендрика, то он и вовсе не годился для спортивных соревнований. Он кричал, как только окунал ноги в холодную воду, и лишь после долгих уговоров и насмешек Барбара заставляла его проделать несколько плавательных движений. Избегая глубоких мест, мучительно морщась, Хендрик страдал в опасной стихии. Барбара весело за ним наблюдала. Как-то раз она крикнула ему:

— Ты до смешного похож на мать — особенно когда плаваешь. Боже, ведь у тебя просто ее лицо!

Хендрик от смеха не мог уже грести руками и так наглотался воды, что чуть не утонул. Зато как блестяще он про-

явил себя вечером на танцах! Все гости и даже официанты пришли в восторг, когда он повел в танго Николетту, а потом Барбару. Никто другой не умел так грациозно и величаво передвигаться.

Это был настоящий концерт. Все хлопали, когда Хендрик кончил. Он раскланялся, улыбаясь, словно на сцене. Когда он чувствовал себя частью публики — человеком среди многих, — он испытывал робость, ему бывало не по себе. Уверенность возвращалась к нему, он чувствовал себя победителем, когда имел возможность отделиться от публики, вступить в полосу яркого света и сиять. По-настоящему безопасно он чувствовал себя лишь на возвышении, один на один с толпой, которая существовала лишь для того, чтобы преклоняться перед ним, восхищаться им, рукоплескать.

Как-то раз вдруг выяснилось, что на берегу озера, красоты которого так горячо расхваливала Николетта, находится вилла Теофиля Мардера. Барбара затихла, и глаза у нее почернели от задумчивости, когда она об этом узнала. Сначала она отказалась посетить сатирика. Но в конце концов позволила Николетте себя уговорить и согласилась принять участие в экскурсии. Озеро пересекли на белом с золотом пароходике, который так часто наблюдали с мостков. Погода была прекрасная. Легкий свежий ветер играл синей, как небо, водой. Чем веселее становилась Николетта, тем тише делалась Барбара.

Теофиль Мардер поджидал гостей на берегу. Он был в спортивном костюме в крупную клетку с широкими брюками-гольф и белом тропическом шлеме, который очень странно на нем выглядел. Разговаривая, он не вынимал изо рта короткой английской трубки. Когда Николетта его спросила, с каких это пор он курит трубку, он в ответ рассеянно улыбнулся.

— Новый человек — новые привычки. У меня превращенья. Я каждое утро пугаюсь самого себя. Когда я просыпаюсь, я уже не тот, каким заснул вечером. Мой ум за ночь делается куда сильнее. Во сне мне удаются невероятные открытия. Поэтому я так много и сплю: не меньше сорок-пяти часов в сутки.

Это сообщение — вряд ли способное устранить беспокойство, возбуждаемое тропическим шлемом, — сопровождалось задушевым блеющим смехом. Но потом Теофиль снова стал вести себя прилично. С Хендриком и Николеттой

он был изысканно любезен, а Барбару, казалось, просто не замечал.

После того как они поели в большой, светлой и элегантной столовой, облицованной панелями некрашеного дерева, Теофиль обнял Хефгена за плечо и отвел в сторону.

— Ну вот, между нами, мужчинами, — сказал драматург, полаявая взглядом и чмокая синими губами. — Вы довольны вашим экспериментом?

— Каким экспериментом? — поинтересовался Хендрик.

На это последовал громкий смех. Теофиль еще сильнее зачмокал алчным ртом.

— Как это каким? Разумеется, вашей женитьбой! — прошептал он сипло. — Вы же тот еще типаж. Пуститься на такое! С этой дочкой тайного советника нелегко сладить. Я пытался, — признался он, и глаза его злобно сузились. — Она вам не принесет радости, дорогой. Она же недоделанная, поверьте уж мне, самому тонкому знатоку нынешнего времени, — она недоделанная.

Хендрика так поразило это слово, что у него из глаза выпал монокль. Тем временем Мардер весело ткнул его в живот.

— Ладно, не обижайтесь! — воскликнул он, внезапно придя в самое блестящее расположение духа. — Может, у вас что-нибудь и получится, кто знает... Вы же тот еще типаж...

После обеда он непрерывно жаловался на тотальное отсутствие дисциплины, которое так печально окрашивает эпоху. При этом он не уставал бесчисленное количество раз повторить свои испытанные утверждения и восклицания. Он беспрестанно уверял:

— Ни единой личности! Только я один. Как я ни осматриваюсь кругом! В целом мире только я один!

Он запальчиво сравнивал себя с некоторыми великими мужами прошлого, а именно с Гельдерлином и Александром Великим. Потом стал раздраженно хвалить «доброе старое время», когда он сам был юн, и в этой связи перешел к тайному советнику Брукнеру.

— Ужасно скучный старик, — говорил Теофиль. — Но все же солидная старая школа, не шарлатан. Все-таки он достоин уважения. А дальше — хуже. Наше время порождает только кретингов и уголовников.

Потом он повел троих молодых людей в свою библиоте-

ку, насчитывавшую несколько тысяч томов, и потребовал, чтобы они «сперва немного поднатаскались».

— Вы же ничего не знаете! — заорал он неожиданно. — Всеобщая неграмотность, одичание! Просто кошмар! Абсолютно опустившееся поколение. И потому всеобщая европейская катастрофа неизбежна, а с высшей точки зрения и вполне заслуженна!

Когда он принялся проверять, знает ли Хендрик спряжение неправильных греческих глаголов, Барбара решила, что пора уходить.

По дороге домой, на пароходе, Николетта объявила, что ее отец-авантюрист, должно быть, был совершенно такой же, как Теофиль Мардер.

— У меня ведь не сохранилось ни одного портрета, — сказала она и задумчиво посмотрела на воду, уже лишенную солнечных бликов, жемчужно-серую и тронутую покоем сумерек. — Ни одного портрета — только трубка для опиума. Но наверняка у него было много общего с Теофилом. Я чувствую. Поэтому я ощущаю с Мардером такое родство.

После маленькой паузы Барбара сказала:

— Я уверена, что твой отец был гораздо милее, чем этот Мардер. Мардер ведь не слишком приятен.

Николетта злобно, весело глянула на нее кошачьими глазами и тихонько усмехнулась.

Николетта теперь чуть не каждый день совершала поездку на берег, где была вилла Мардера. Она уезжала в полдень и возвращалась обычно поздно ночью. Барбара становилась все тише и задумчивей, особенно в те недолгие часы, которые проводила вместе с Николеттой.

Впрочем, неразумный и упрямый флирт Николетты с Теофилом был не единственной причиной, заставлявшей Барбару задумываться. Когда она ночью лежала одна в постели — а она лежала одна, — она прислушивалась к себе, стараясь понять, легче ли ей или хуже из-за странного, несколько даже позорного поведения Хендрика, которое ведь можно было охарактеризовать как осечку. Да, ей было легче, но и хуже.

Комнаты Барбары и Хендрика соединяла дверь. В поздний час Хендрик обыкновенно заходил к жене, картинно облачась в слегка уже потрепанный роскошный халат. Запрокинув голову, приопустив веки на мерцающий косой взгляд, он спешил к Барбаре и уверял ее певучим голосом, что он

так рад, так благодарен ей и что она навсегда смысл его жизни. Он обнимал ее, но как-то вскользь и, держа ее в объятиях, бледнел. Он страдал, он трясся, пот выступал у него на лбу. Стыд и злость наполняли его глаза слезами.

Он не был подготовлен к этому фиаско. Он думал, что любит Барбару, да он и любил ее. Может быть, его испортила дружба с принцессой Тебаб? Ах, он не мог себе представить зеленых сапожек на красивых ножках Барбары. Тщетные объятия были мучительны. В глазах Барбары, сохранивших лишь молчаливый и несколько удивленный вопрос, он читал упрек и презрение. И он болтал, болтал о том, что ни приходило в голову. Это его взбадривало, он бежал по комнате, трясаясь от нервного смеха.

— А у тебя тоже есть гадкие воспоминания, как у меня? — спрашивал он Барбару, неподвижно лежавшую в постели и наблюдавшую за ним. — Знаешь, такие, что от них бросает то в жар, то в холод!

Прислонясь к ее постели, лихорадочно, торопливо, с нездоровым румянцем на щеках, снова содрогаясь от смеха, он начинал:

— Мне было, наверное, лет одиннадцать или двенадцать, когда я стал петь в хоре мальчиков нашей гимназии. Мне это доставляло огромную радость, и я, кажется, вообразил себе, что пою лучше всех. Но вот сюда-то и вклинивается то жуткое, гадкое воспоминание — вот послушай, в пересказе это не так уж страшно. Наш детский хор должен был по случаю чьей-то свадьбы участвовать в церковном празднестве. Это было большое дело, все ужасно волновались. А меня черт дернул особенно отличиться. Когда настала очередь выступить нашему хору, мне пришла в голову отвратительная идея взять октавой выше всех. Я очень гордился своим сопрано и решил, что мой звонкий голос под сводами церкви произведет невероятный эффект. Я надулся и запел, и тогда учитель пения, который дирижировал хором, посмотрел на меня скорее с отвращением, чем с укором, и сказал: «Замолчи!» Ты понимаешь, Барбара? — воскликнул Хендрик, закрывая ладонями пылающее лицо. — Понимаешь, как это ужасно! Совершенно сухо, совершенно тихо он мне сказал: «Замолчи!» А я-то себя вообразил чуть не победным архангелом!

Хендрик умолк. И после долгой паузы сказал:

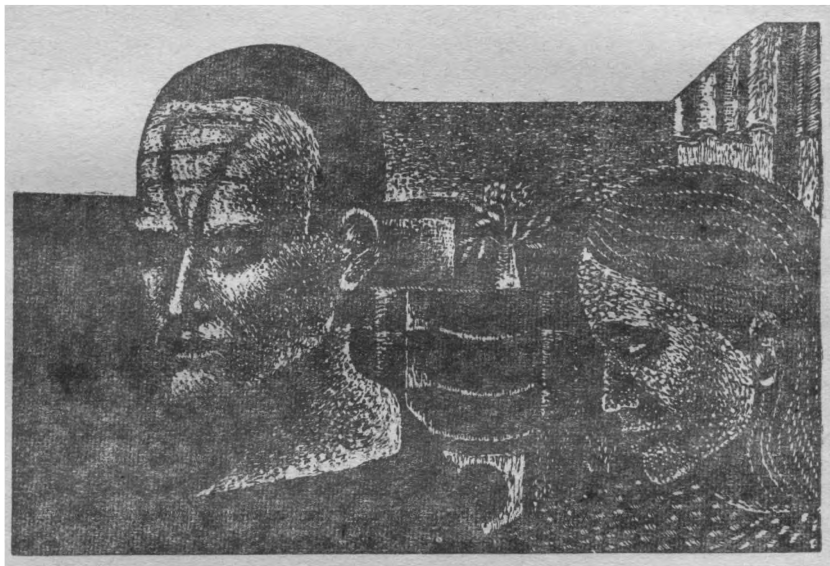
— Воспомнишь такое, и словно в ад спускаешься. —

И недоверчиво он спросил: — А у тебя нет таких воспоминаний, Барбара?

Нет, у Барбары не было таких воспоминаний. И Хендрик почувствовал раздражение, почти злобу.

— Вот именно! — воскликнул он, и в глазах его вспыхнул злой огонь. — Вот именно! Тебе в жизни не приходилось по-настоящему стыдиться. А со мною это часто случалось. То происшествие было только первым. Мне часто бывало так совестно, я так мучился, будто меня черти поджаривают на сковородке. Ты понимаешь, Барбара? Можешь ты меня понять?

В конце августа молодая чета вместе с Николеттой фон Нибур отправилась в Гамбург. В вилле вдовы консула Мёнкеберга Хендрик снял весь первый этаж, где помещались три комнаты, маленькая кухня и ванная. Чтобы обставить эти большие уютные комнаты, купили мебель, и эти солидные расходы пришлось взять на себя тайному советнику Брукнеру.



Николетта предпочла жить в гостинице.

— Не выношу мещанский дух в доме этой Мёнкеберг! — объявила она гордо и нервно.

Барбара сказала примирительно, что консульша по-своему милая и небезынтересная особа.

— Во всяком случае, у нас с ней прекрасные отношения, — добавила она. (Фрау Мёнкеберг подарила ей на новоселье двух котят — черного и белого, и вообще старалась угодить, как могла.)

— Я очень рада, дитя мое, видеть вас у себя, — уверяла пожилая дама новую жилицу. — Мы ведь люди одного круга.

Госпожа консульша, дочь университетского профессора, знала в молодости Брукнера, когда тот был еще приват-доцентом в Гейдельберге. Она приглашала Барбару пить чай к себе наверх, показывала ей семейные альбомы и представляла ее своим приятельницам.

Николетта мрачно издевалась над тем, что Барбара принимает эти приглашения. Она же, в свою очередь, принимала у себя в гостинице акробатов варьете, танцовщиков и кокоток — Хендрик дрожал от мысли, что в это оригинальное общество могла по злосчастной, но вовсе не исключаемой случайности попасть Джульетта, принцесса Тебаб. С какой бы радостью приняла у себя фрейлейн фон Нибур Черную Венеру! Ведь она немало гордилась своим снобизмом.

— Люди, которых мой отец счел бы достойными своей дружбы, подходят и мне, — говорила она, высоко подняв голову, каждому, кто соглашался выслушивать эти тирады.

Впрочем, нельзя отрицать, что в этот период Николетта была в блестящей форме. Все в ней, казалось, подобралось, натянулось, как струна. Все в ней блистало, обольщало, искрилось, словно она была заряжена электричеством. Еще победоносней, чем обычно, носила она отважную юную голову с выпуклым лбом, большим согнутым носом, яркими губами, сияющими зубами. Большинство мужчин из труппы Художественного театра уже отчаянно в нее влюбились. Моц ругалась и рыдала, потому что Петерсен опять распоясался — он не смог отказать себе в удовольствии пригласить Николетту на невероятно дорогой ужин в гостиницу «Атлантик». Причина для дурного настроения оказалась и у Моренвиц, которая привыкла служить прекрасному Бонетти заменой недоступной маленькой Ангелики, а теперь ее inferнальная прелесть вытеснилась более острым, подлинным и сильным обаянием этой Николетты. И что толку в том, что усердная Рахель мазала губы в черно-фиолетовый цвет, уже ничего не оставила от бровей и курила длинные сигары «Вирджиния», хотя ей от них становилось дурно? Николетта сверкала кошачьими глазами и гипнотически внушала всем убеждение, будто у нее прекрасные ноги — вроде тех

индийских сказочников-гипнотизеров, которым удается внушить очарованным слушателям, что они перенесены туда, где воздух синь, где высятся пальмы и скачут обезьяны.

Хотя Оскар Х. Кроге, по существу, не выносил фрейлейн фон Нибур, он — по настойчивому совету своего друга Шмица, который утверждал, что публике «такое» нравится, — предложил ей главную роль в первой осенней премьере: во французском боевике Николетта играла трагическую даму полусвета, в конце третьего акта убиваемую одним из любовников. Молодого убийцу должен был играть Бонетти, чье лицо, выражавшее высокомерие и отвращение, превосходно подходило к роли. Сутенера с внешностью видного господина, но, по существу, гнусного типа играл Хефген. А фрау фон Герцфельд, которая перевела и обработала пьесу, была режиссером.

— Вы в этой пьеске будете иметь еще больший успех, чем в «Кнорке», — пророчествовала она Николетте, которую матерински опекала с тех пор, как стала ревновать Хендрика к другой.

— Я того же мнения, — холодно отрезала Николетта. — Гамбург еще не знал такого успеха.

— Тьфу-тьфу, не взгляди. Но думаю, мы покажем эту пьесу по крайней мере тридцать раз подряд, — ухмылялся Шмиц, суеверно скреживая пальцы.

Когда занавес упал, в зале поднялась буря. Нибур все время вызывали — публика хотела тут же еще раз видеть сцену смерти. И впрямь, крики и жесты Николетты, когда Рольф Бонетти поднял на нее револьвер, были поистине потрясающи. Раздается выстрел, трагическая куртизанка падает, изворачиваясь всем телом, кричит, произносит длинную речь, осыпая ревнивого возлюбленного в частности и всех мужчин вообще самыми горькими и убедительными упреками. Она молится. Вновь кричит. И умирает.

Пресса на следующий день хором восхваляла Николетту. Все газеты соглашались на том, что это огромное, невероятное достижение.

«Николетта фон Нибур у истоков великой карьеры!» — гласил заголовок на первой странице дневной и самой популярной гамбургской газеты. Таково же было содержание рецензий, направленных в берлинские газеты. У кассы Художественного театра уже с утра выстраивались длиннейшие очереди, невиданные в Гамбурге уже в течение многих

лет. На следующие пять представлений этой эффектной драмы о проститутке все билеты были распроданы.

А Николетта в день премьеры получила следующую телеграмму от Мардера:

«Требую чтобы ты немедленно приехала тчк запрещаю тебе проституироваться на подмостках тчк мое мужское самолюбие протестует против твоего унижения тчк дисциплинированная женщина обязана безоговорочно подчиняться гениальному мужчине который намерен поднять ее до себя тчк ожидаю тебя завтра на вокзале тчк в этой решающей ситуации твое непослушание под любым предлогом будет иметь последствием разрыв со мною — мировой совестью. Теофиль».

Николетта властным жестом отпустила нескольких танцовщиц, зашедших к ней поздравить ее с успехом. Она позвонила Хефгену и скупно объяснила ему, что через час отъезжает в Южную Германию. Хендрик спросил, надо ли понимать это как шутку или она сошла с ума. Она сухо объяснила: ни то и ни другое. Просто она отказывается от ангажемента и вообще от артистической карьеры. Роль во французской пьесе о проститутке можно передать любой другой актрисе. Рахель Моренвиц наверняка уже ее разучила. Для нее же, Николетты, в мире важно лишь одно: любовь Теофиля Мардера.

Хендрик от ужаса потерял голос, пробормотал:

— Ты больна. Я сейчас приеду к тебе на такси.

Через десять минут они с Барбарой уже стояли в комнате Николетты, укладывающей чемоданы.

Благородное, нервное лицо Барбары побелело, как стена, к которой она прислонилась. Барбара молчала. Николетта молчала. Хендрик говорил. Сначала он насмеялся, потом перешел к мольбам, в конце концов стал угрожать и бесноваться.

— У тебя есть контракт! Ты будешь платить неустойку.

Николетта тихо, но все с той же четкостью отрезала:

— Вряд ли у господина Кроге будет охота вести процесс с Теофилом Мардером о правах на мою персону.

Хендрик взывал к ее разуму:

— Твоя карьера пойдет прахом. Ни один театр в мире тебя уже не пригласит.

А она на это:

— Я уже сказала, что с превеликой радостью отказыва-

ваюсь от карьеры. То, что я получаю взамен, в тысячу раз ценней, значительней и прекрасней.

Голос ее уже утратил резкость. Скорее он стал мелодичным от сдержанной радости. Хендрик не мог скрыть потрясения. Эта девушка становилась все загадочней. Неужто существуют страсти, так захватывающие человека, что он пренебрегает столь многообещающей карьерой? У Хендрика не хватало фантазии представить себе чувства, до которых не доросло его сердце. Страсти, которые он знал, всегда шли на пользу его карьере. Он ни в коем случае не позволял им ей помешать, а тем более, не приведи господь, ее разрушить.

— И все ради этого наглого пророка, — сказал он наконец.

Николетта выпрямилась во весь рост, вздернула нос и прошипела:

— Запрещаю тебе говорить подобным тоном о величайшем из всех ныне живущих на земле, о моем женихе.

Хендрик устало улыбнулся и отер пот с лица.

— Ну что ж, — сказал он, — придется обо всем сообщить бедняге Кроге.

Пока он дозванивался в Художественный театр, Барбара в первый раз заговорила, и голос ее словно пробивался сквозь вуаль траура.

— Значит, ты собираешься за него замуж? — спросила Барбара.

— Если он только меня возьмет! — со зловещей веселостью, не взглянув на свою подругу, отчеканила Николетта.

Барбара сказала:

— Он на тридцать лет тебя старше. Он тебе в отцы годится.

— Совершенно справедливо, — сказала Николетта, и в ее прекрасных глазах полыхнуло пламя безумия. — Он мне как отец. В нем я вновь обрела покойного. Это как чудо. Возобновилась прежняя связь.

Барбара заклинала:

— Он болен.

Но ответом было:

— Это высокая болезнь гения. — И Николетта гордо подняла голову.

Барбара только простонала в ответ:

— О боже, о боже мой, — и закрыла лицо руками.

Когда четверть часа спустя вошли Оскар Х. Кроге, директор Шмиц и фрау фон Герцфельд, Николетта уже упаковала многочисленные чемоданы и стояла в вестибюле гостиницы в ожидании машины, чтобы ехать на вокзал.

Шмиц, внезапно потерявший мягкость голоса, орал благим матом, угрожая полицией и арестом; Оскар Х. Кроге шипел, как старый кот, а Николетта отбивалась, как хищная птица. Фрау фон Герцфельд пыталась взывать к ее разуму, но пронзительное презрение и ледяной пафос Николетты заставили ее умолкнуть. Все говорили наперебой: Шмиц жаловался, что все билеты проданы, Кроге твердил об отсутствии чувства художественной ответственности и человеческого приличия, а Герцфельд охарактеризовала поведение Николетты как безвкусную истерику, скорее уместную в период полового созревания. Барбара незаметно покинула гостиницу. Николетта уехала, не попрощавшись с ней.

Внезапный отъезд Николетты причинил Барбаре не только боль. Ей стало и легче. Сообщение о прошедшем «без всякого шума» бракосочетании Николетты с Теофилом Мардером ее не очень взволновало. «Бедная Николетта» — вот, пожалуй, и все, что она подумала. Сердце ее уже постепенно примирилось с потерей спорной радости, которую давала эта дружба, так много лет переполнявшая, согревавшая и мучившая ее. Барбара уже не связывала себя с Николеттой в мыслях о будущем. Однако она все же любила вспоминать их общее прошлое и перебирать в памяти этапы привязанности, родившейся так необычно и развивавшейся по таким странным законам.

Вилли фон Нибур, отец, проживший очень беспокойную, хотя, возможно, и не такую авантюрную жизнь, как изображала его дочь, никогда особенно не занимался Николеттой. Когда он умер в Китае, девочке было всего тринадцать лет. К этому времени ее как раз со скандалом выгнали из интерната в Лозанне. Нибур, зная, что ему недолго осталось жить, написал из Шанхая Брукнеру, с которым дружил в студенческие годы: «Позаботься о ребенке!» Тайный советник решил взять девочку к себе в дом на несколько недель, пока не найдут другого интерната или другой возможности ее пристроить. Так Николетта появилась в доме Брукнера — величаво-серьезное, умное и упрямое юное создание с боль-

шим горбатым носом, светящимися кошачьими глазами, худым и гибким телом и гордой, победоносной посадкой головы. Тайного советника все пугало в новой гостье: обольстительный и угрожающий взгляд, чрезмерно отчетливая речь, почти пугающая холодная благовоспитанность. Наблюдать целыми днями за странной дочерью интересного друга было забавно, приятно, но и мучительно.

Его удивило и то, что Барбара так сильно привязалась к Николетте, но он этому не препятствовал. Что привлекало его любимого ребенка к чужой, резкой и странной девочке? Может быть, это закон притяжения противоположных полюсов? Тем не менее отца тревожила эта дружба, и он постоянно думал, как бы избавиться от Николетты. Ее послали в пансион на Французской Ривьере. Но и там вскоре разыгрался скандал, и Николетта вернулась на брукнеровскую виллу. Ее опять удалили, она опять вернулась. Эта игра повторялась часто. От многочисленных приключений молодой, бурной и бездумной жизни она всегда отдыхала у Барбары. Барбара всегда ждала ее и отворяла ей дверь, когда бы она ни постучалась. Тайный советник все видел, удивлялся, может быть, огорчался, но терпел. Впрочем, он имел возможность убедиться, что его прекрасная и умная дочь, принимая столь горячее участие в странной жизни подруги, вовсе не пренебрегала собственной жизнью. Она занималась — играючи или всерьез — тысячью вещей. У нее были друзья, с капризами и заботами которых она носилась. Она бывала легкомысленна и задумчива, то амазонка, то сестра милосердия, холодная и добрая, чопорная и всегда готовая к нежностям, не переходившим, однако, за определенную грань. Так жила Барбара, и ожидание Николетты, готовность в любой момент ее принять, может быть, придавали ее жизни тот загадочный тайный смысл, которого ей недоставало.

Раньше Николетта всегда возвращалась. Барбара чувствовала, что на этот раз она не вернется. На этот раз случилось нечто решительное, окончательное. Николетта в Теофиле Мардере нашла человека, равного ее отцу — или тому легендарному образу, который она себе создала вместо отца. Теперь она не нуждается в Барбаре. Вновь обретенному отцу, новому возлюбленному, она со свойственным ей драматическим блеском вверила свою жизнь. Николетта, так высоко носившая голову, но все же жаждавшая, чтобы ею помыкали, подчинилась необузданной, безграничной воле. Что же

оставалось Барбаре? Слишком гордая, чтобы навязываться, слишком высокомерная, чтобы жаловаться, она сохраняла ясное, радостное лицо. «Бедная Николетта, — думала она. — Теперь тебе придется самой выкручиваться. О, тебе не так-то легко придется, бедная Николетта».

Впрочем, Барбаре и недосуг было предаваться долгим размышлениям о подруге Николетте. Ее собственная участь, в чужом городе с чужим мужчиной, занимала все ее помыслы. Надо было привыкать к совместной жизни с Хендриком Хефгеном. Сможет ли она любить этого человека, чьим патетическим домогательствам она поддалась — поддалась из любопытства, из жалости? Но прежде, чем спрашивать себя об этом, надо ответить себе на другой вопрос — более принципиальный, а именно: любит ли ее еще Хендрик, да и любил ли он ее когда-нибудь? Барбара, скептическая благодаря природному уму и опыту в людских делах, склонна была сомневаться в подлинности чувств, которые Хендрик проявлял в первые недели знакомства. А не играл ли он роль страстно влюбленного? «Я обманута, — часто думала теперь Барбара. — Я дала себя провести комедианту. Ему показалось выгодно из карьерных соображений жениться на мне, да к тому же он нуждается в том, чтобы кто-нибудь был под боком. А меня он никогда не любил. Он вообще не умеет любить...»

Гордость и благовоспитанность мешали ей показать свое разочарование. Но Хендрик был достаточно тонок, чтобы почувствовать то, что она скрывала скорей из высокомерия, чем по доброте душевной. А она не замечала, что он страдает. Он мучительно страдал из-за невозможности доказать свои чувства к Барбаре, а также из-за своей физической неполноценности, своей позорной несостоятельности, поражения. Он стонал от муки. Ибо подъем чувств, пожар сердца были в нем искренни или по крайней мере почти искренни — в доступной ему степени. «Более сильно и чисто, чем в те весенние дни после премьеры «Кнорке», я уже никогда не смогу любить, — думал Хендрик. — Если я и на этот раз окажусь несостоятельным — я человек конченный. И значит, я всю жизнь буду принадлежать только девицам вроде Джульетты...»

Но так как самобичевание, каким бы честным и горьким оно ни было, почти у всех людей, начиная с определенной точки, переходит в самооправдание, он вскоре стал настра-

иваться против Барбары, чтоб обелить себя. Ведь если рассуждать откровенно: разве Барбара не холодна? И не об ее ли высокомерную холодность разбивается порыв его чувств? И не чересчур ли возомнила Барбара о своем благородном происхождении, о своем тонком интеллекте? И не презрение ли, не высокомерие, не самомнение в ее испытующем взгляде, так часто направленном на него? Хендрик уже боялся этих глаз, еще недавно казавшихся ему самыми прекрасными на свете. Даже в самых равнодушных и несущественных замечаниях Барбары по его адресу его оскорбленное самолюбие улавливало какой-то другой, унижительный смысл. Привычки Барбары и та невозмутимость, с какой она оставалась им верна, ставили его в тупик, оскорбляли и выводили из себя до того, что сам он в хорошие минуты понимал неразумность своих обид.

До первого завтрака Барбара совершала прогулки верхом и около девяти являясь в столовую, вносила с улицы аромат и дыхание свежего утра. Хендрик же сидел, уткнув лицо в ладони, усталый, угрюмый, в халате, делавшемся все обтрепанней, и очень бледный. В это время дня он еще не был способен ни на стервозную улыбку, ни на мерцание глаз. Хендрик зевал.

— Да ты еще не проснулся по-настоящему, — весело говорила Барбара и вылиwała в бокал жидкое яйцо. Потому что она привыкла так есть по утрам яйца: в винном стакане, с большим количеством соли и перца, с острым английским соусом, томатным соком и небольшим количеством растительного масла. Хендрик резко отвечал:

— Я вполне проснулся и даже успел поработать — например, звонил в бакалейную лавку, там беспокоятся по поводу нашего долга. Прости, что я по утрам не блистаю свежестью. Если бы я каждое утро катался верхом, как ты, я бы, очевидно, выглядел более привлекательно. Но боюсь, что даже ты не в состоянии привить мне столь элегантные привычки. Я слишком стар, чтобы исправляться. К тому же в среде, из которой я происхожу, не принято заниматься столь благородным видом спорта.

Барбара, которой не хотелось портить себе настроение, предпочитала воспринимать его речь юмористически.

— У тебя изумительно выходит этот тон, — смеялась она. — Можно подумать, что ты это всерьез.

Хендрик злобно молчал. Чтобы прибавить себе внушительности, он вставлял в глаз линзу.

Но Барбара тут же вновь его обижала, хоть явно не нарочно. С аппетитом поедая яйцо из стакана, она говорила:

— Попробуй есть яйцо так. Мне кажется, что есть яйцо без приправ просто скучно.

После паузы Хендрик спрашивал вежливо, но внутренне трясясь от раздражения:

— Можно обратить твоё внимание на одну вещь, дорогая?

Она отвечала жуя:

— Ну конечно.

И тогда Хендрик, барабаня пальцами по столу, высоко поднимал подбородок и сжимал губы, сразу делаясь похожим на гувернантку:

— Твоя наивная и претенциозная манера, — говорил он медленно, — удивляться или насмехаться, когда другой делает что-нибудь не так, как принято в доме у твоего отца или у бабушки, удивила бы, а то и оттолкнула любого, кто не настолько изучил тебя, как я.

Глаза Барбары, только что светившиеся радостью, становились задумчивыми и приобретали испытующее выражение. После паузы она тихо интересовалась:

— Почему ты вдруг об этом заговорил?

Он отвечал, все еще строго барабаня пальцами по столу:

— Повсюду принято есть яйцо из яичной скорлупы и с солью. На вилле Брукнера яйцо поедают из бокала с шестью сортами различных приправ. Наверняка это очень оригинально. Но я не вижу причин насмехаться над человеком, который непривычен к такой оригинальности.

Барбара молчала, удивленно покачивая головой, и вставала. Он смотрел ей вслед, когда она своей небрежной походкой, немного волоча ноги, медленно двигалась по комнате. Внезапно ему приходило в голову: «Странно, на ней высокие сапожки, которые мне так нравятся, но на ее ногах они на меня не действуют так, как мне нужно. На ней сапожки — это просто часть спортивного костюма. У Джульетты они означают нечто другое...»

Думая в присутствии Барбары о Джульетте, он испытывал чувство злобного удовлетворения и отмщения за все обиды.

«Катайся себе верхом, — думал он язвительно, — готовь

себе коктейли из яиц всмятку! А ты вот не знаешь, кого я сегодня встречу перед репетицией!»

И пока Барбара гордо и молча покидала комнату, он испытывал торжество супруга, обманывающего свою жену и кичащегося тем, что делает это так ловко.

Уже через неделю после возвращения Хендрик снова встретился со своей Черной Венерой. Она поджидала его вечером у театра. С каким сладострастным трепетом, с каким ужасом он вздрогнул, когда из подворотни его окликнул сиплый, столь знакомый голос:

— Гейнц!

Имя, которого он стыдился, от которого отказался... Но было сладко до ужаса услышать его из уст негритянки. Тем не менее он заставил себя грубо ее одернуть:

— Что ты себе позволяешь? Ты меня караулишь?!

В ответ она презрительно взмахнула красивой сильной рукой:

— Потихе, моя радость! Будешь себя плохо вести, я приду в театр и закачу скандал!

Ему не помогло цыканье:

— Ты вздумала меня шантажировать?

Она ухмыльнулась:

— Конечно!

И засверкали ее зубы и глаза.

Эта широкая улыбка была настолько подлой, что ему сделалось страшно, он ощутил ее неотразимость. Он втолкнул Джульетту в подъезд, дрожа при мысли, что кто-нибудь может пройти мимо и увидеть его в таком обществе. Да, принцесса Тебаб выглядела ужасно неприглядно. Фетровая шапочка, надвинутая глубоко на лоб, и обносившийся тесный жакет были того же едко-зеленого цвета, что и высокие блестящие сапожки. Вокруг шеи болталось боа из грязных лохматых белых перьев. Над этим жалким убором темнело широкое лицо с толстыми обветренными губами и плоским носом.

— Сколько тебе? — спросил он резко. — У меня у самого сейчас нет денег...

Она ответила почти лукаво:

— Деньгами ты не отделаешься, обезьянка моя сахарная. Ты должен меня посещать.

— Что это тебе взбрело? — пробормотал он дрожащими губами. — Я женат...

Но она оборвала его:

— Не болтай ерунды, осел. Госпожа супруга тебе не может дать того, в чем ты нуждаешься. Я ведь ее понаблюдала, твою Барбару.

(Откуда ей было известно ее имя? Невинное обстоятельство — что она знала ее имя, наполнило Хендрика суеверным страхом.)

— Кишка у нее тонка, — добавила принцесса Тебаб, дико вращая глазами.

У Хендрика от страха выступил на лбу холодный пот, когда он подумал, что черномазая обзовет его Барбару, дочь Брукнера, «недоделанной». Но Джульетта явно не была склонна продолжать эту теоретическую беседу. Грозным тоном, требовавшим немедленного и точного ответа, она спросила:

— Ну, когда же ты придешь?

В чердачной комнате — серой и совершенно пустой, украшенной лишь репродукцией рафаэлевской мадонны, которая только подчеркивала нищету, — снова начались страшные упражнения, раньше исполнявшиеся на фоне декораций буржуазной комнаты в квартире консульши Мёнкеберг. Молодой супруг вновь дышал чуждым, но и родным запахом, настоящим на самых дешевых духах, смешанных с дыханием джунглей. Он вновь подчинялся грубому лающему голосу, хлопкам, ритмичному топанию учительницы. Здесь он вновь декламировал французские стихи, когда, стоная в изнеможении, он валился на твердые нары, служившие ложем дочери вождя. Но теперь эти мрачные празднества, которым Хефген, как и раньше, предавался два раза в неделю, приводили к новой, отвратительной кульминации. Когда все кончалось и фрейлейн Джульетта оставляла своего удовлетворенного и измученного ученика в покое, Хендрик в этой камерке, перед этой женщиной заводил разговор о своей жене Барбаре.

То, что он скрывал от скромно-испытующего и ревниво-напряженного любопытства своей приятельницы Гедды фон Герцфельд, то, что он скрывал от дружеского любопытства своего единомышленника Отто Ульрихса, в том признавался он Черной Венере, которая одна могла называть его Гейнцем: ей он исповедовался в том, как страдал из-за Барбары. С ней, и только с ней, он заставлял себя быть искренним.

Он ничего не скрывал от нее, даже своего позора. Когда фрейлейн Мартенс узнала о его фиаско в постели, о его супружеском позоре, она смеялась долго, грубо, от всей души. Хендрик корчился от этого смеха, он был ему страшнее самых страшных побоев. А дочь вождя ухмылялась:

— Ну, если это так, моя радость, если все и вправду так, не жди от своей красавицы особенного уважения.

Он рассказал ей об утренних прогулках Барбары, казавшихся ему вызовом; он сетовал на ее гордые экстравагантности:

— Из яиц делает себе коктейли с десятью острыми соусами и смотрит на меня презрительно только потому, что я ем яйца как простой смертный. Все в моей квартире должно быть точно такое, как в доме у ее отца и у бабушки. Она даже запретила мне взять слугой маленького Бёка. Такой славный и так мне верен, с ним бы она не могла бы стакнуться против меня. Но нет — разве она потерпит в доме такого человека? Вот она и придумывает разные предлоги и уверяет, будто маленький Бёк не сможет содержать квартиру в порядке, а ведь сама его в глаза не видела! Он столько лет мой костюмер, и я могу поклясться: он идеально соблюдает порядок. И вот мы взяли какую-то противную старуху, которая двадцать лет служила у генеральши, только чтоб ничего не менять в укладе дочери тайного советника.

Все это Черная Венера выслушивала с большим терпением. Она приняла к сведению, что Барбара вращается в хороших гамбургских домах — «У тайных советников и директоров банков», — с ненавистью сказал Хендрик, — куда его, актера Хефгена, не приглашали или приглашали Барбару «с супругом». От такого унижения он отказывался. Барбара посещала места, которые были ему чужды или враждебны, — университеты, салоны. Ее обширная, разветвленная переписка тоже досаждала ему. Она без конца писала и получала письма, а Хендрик даже не знал, с кем это она в таких тесных сношениях. На все это он горько жаловался своей Черной Венере. Он спрашивал Джульетту, как она думает, нет ли в тех письмах, которые Барбара отсылает отцу, генеральше или подозрительному другу юности Себастьяну, чего-нибудь унижительного для него, Хендрика. Принцесса Тебаб не могла его успокоить на этот счет.

— Наверняка она издевается надо мной! — воскликнул Хендрик. — Если б совесть у нее была чиста, она показала

бы мне хоть одно из своих писем. А она мне никогда ничего не показывает.

Это обстоятельство особенно мучило Хендрика и особенно его унижало — ведь он-то много раз показывал Барбаре письма, которые получал от своей матери, фрау Беллы.

— Но хватит, больше она не увидит ни одного письма, — объявил он темной дочери вождя. — Зачем мне открывать ей всю душу, когда у нее от меня сплошные тайны? Вдобавок у нее хватает дерзости смеяться над письмами моей матери.

И действительно, Барбара смеялась от души, когда Хендрик показал ей письмо, где госпожа Хефген сообщала о том, как закончилась последняя помолвка Йози. «Конечно, мы все очень рады, что дело вновь закончилось так удачно», — писала бедная мать. И тут Барбара долго смеялась. Впрочем, Хендрик и сам разделял ее веселость: тогда он и сам находил это место в письме матери очень смешным. Обида возникла задним числом, когда он все припомнил, исповедуясь Черной Венере.

— В ее семье все свято! — восклицал он. — О фрау генеральше и о ее лорнетке слова нельзя сказать. А над моей матерью можно насмеяться сколько угодно.

Такими рассказами и жалобами оканчивались визиты в мрачную каморку Джульетты. Прежде чем положить на ночной столик пять марок и уйти, он говорил своей принцессе, что любит ее гораздо, гораздо больше, чем Барбару.

— Но ведь это сущее вранье, — отвечала Джульетта спокойным и глубоким голосом. — Опять заврался.

На это Хендрик улыбался многозначительной, болезненной, презрительной, рассеянной улыбкой.

— Вру? — спрашивал он тихо. И потом — внезапно просветленным голосом, выставив подбородок: — Ну, мне пора в театр...

Репетиции новой постановки «Сон в летнюю ночь», в которой Хендрик играл царя эльфов Оберона, и подготовка к большому ревию были ему важней и волновали его куда больше, чем сложный, но праздный вопрос, кого он любит больше — Барбару или Джульетту.

— Наш брат не имеет права отвлекаться ради частных дел от работы, — объяснял он своей приятельнице Гедде. — Ведь в конце концов мы прежде всего художники, — заклю-

чал он, и лицо его принимало сложное гордо-победоносное, страдальческое выражение.

Барбара, проводившая дни за спортом, чтением, рисованием и письмами, либо на выставках или в университете, иногда по вечерам после репетиций заходила в театр за Хендриком. Бывало, они проводили часок в его уборной или в «Г. Х.» — правда, Хендрик не очень это любил. Подозревая, что жена будет настраивать против него коллег, он всячески избегал контакта между ней и труппой. Тщетно пыталась Барбара набросать эскизы декораций для одной из премьер, которая должна была состояться зимой. Хендрик много раз обещал ей поговорить с театральной дирекцией, добиться заказа, и каждый раз он приходил с ответом, что директора Шмиц и Кроге вовсе не против такой идеи, но что все рухнет из-за сопротивления фрау фон Герцфельд.

Утверждение это было не совсем высосано из пальца. Гедда и в самом деле делалась нетерпима и мрачнела, как только речь заходила о Барбаре. Страстная ревность делала умную женщину злой и несправедливой. Она не могла простить этой Барбаре, что Хендрик на ней женился. Вряд ли, конечно, фрау фон Герцфельд была столь дерзка, чтобы всерьез питать надежды на Хефгена. Она знала о странностях вкуса любимого человека, она была посвящена в мрачную, неловкую тайну его отношений с принцессой Тебаб. Роль, которой она должна была довольствоваться — и много лет довольствовалась, — была роль сестры и наперсницы. И вдруг именно эту роль у нее оспаривает Барбара. Гедда тешилась тем, что соперница неудовлетворительно исполняет роль... Хендрик не говорил об этом прямо, но обостренный инстинкт ревнивицы все угадывал: фрау фон Герцфельд знала, в чем дело: дочь тайного советника слишком взыскательна. Надо забыть о себе, отказаться от себя, чтоб ужиться с Хендриком Хефгеном. Ибо такой человек, как он, прежде всего думает о себе. Барбара же требовала от него многого. Она притязала на счастье. Над этим фрау фон Герцфельд только презрительно смеялась. Что же, надменная Барбара не понимает? Единственное счастье, которое может дать мужчина типа Хендрика Хефгена, — облагодетельствовать женщину своей волнующей, обворожительной близостью...

Подобные чувства испытывала и маленькая Зиберт. Но прелестное и нежное создание в отличие от стареющей Герцфельд сумело целиком покориться судьбе. Маленькая

Зиберт страдала, но не ненавидела. Супругу Хефгена Барбару она встретила робким почтением. Если та, которой она завидовала, роняла носовой платок, Ангелика поспешно наклонялась его поднять. Барбара не без удивления благодарила, а маленькая Зиберт краснела, беспомощно улыбалась и боязливо щурила близорукие глаза.

Отношения Барбары с безнадежно влюбленными в ее мужа фрау фон Герцфельд и Ангеликой были запутанны и тяжелы, но тем сердечней были ее отношения с другими дамами ансамбля. С Моц она имела обыкновение подробно обсуждать цены на продукты, портних и недостатки мужчин вообще и характерного артиста Петерсена в частности. Барбара умела так изумительно выслушивать излияния простодушной, темпераментной женщины, что Моц пришла к убеждению, которое она охотно высказывала, что молодая фрау Хефген «отличная баба». Эту точку зрения разделяла и Моренвиц: Барбара даже не мазалась и вообще ни в коей мере не претендовала на «инфернальность», а тем самым никак не могла быть конкуренткой отвергнутой Рахели.

И Петерсен и Рольф Бонетти называли молодую супругу Хефгена «славным парнем»; отец Ганземанн ворчливо ей благожелательствовал, так как она исправно платила за еду; швейцар Кнуэрр приветствовал ее по-военному, ибо он знал, что она дочь тайного советника; директора Шмиц и Кроге часто с ней беседовали. Шмиц сначала ограничивался покровительственно-кокетливыми шутками, но вскоре понял ее умный и деятельный интерес к финансовым заботам театра и уже втягивал ее в длинные разговоры на эту всегда актуальную, вечно тревожную тему. Оскар Х. Кроге, со своей стороны, открыл ей свою печаль о сомнительном репертуаре Художественного театра. Старый поборник духовного театра, он был грустным свидетелем того, как в его заведении скетчи и оперетты стали вытеснять серьезные вещи. Вина тут ложилась не только на Шмица, который обо всем должен был судить с точки зрения сбора. За снижение литературного уровня был ответствен также и Хефген, как ни парадоксально это могло показаться. Он говорил о Революционном театре — а сам ставил глупые, развлекательные пьесы. Революционный театр — так и не открытый — оправдал бы постановку боевиков. Кроге, несмотря на свое принципиальное неприятие коммунизма, зашел так далеко, что уже активно выступал за скорейшее открытие запланированной сту-

дии, которая бы вместе с революционным духом привнесла в театр и свежую струю подлинного искусства. Хендрик же, блистая красноречием, утверждал, что абсолютно необходимо сперва завоевать любовь публики и прессы постановкой вещей легких и доступных, а уж потом решаться на создание Революционного театра. Возможно, что Отто Ульрихс, столь же терпеливый, сколь полный энтузиазма, и верил этим доводам своего доброго друга. Но Барбара была куда скептической.

Она любила беседовать с Ульрихсом. Ей нравились безусловность и простота его образа мыслей. Сама она была склонна к сомнениям. Впрочем, она уверяла, что ничего не понимает в политике, и тут Хендрик ее поддерживал.

— Ты понятия не имеешь о том, как все это серьезно, — говорил он ей и строил знаменитую тираническую мину старой гувернантки. — Ты ко всему подходишь играючи, с холодным любопытством. Вера в революцию для тебя лишь забавный психологический феномен. Для нас же это святая святых.

Так говорил Хендрик. Отто Ульрихс, добрую половину своей жизни и доходов отдававший политической работе, казался гораздо менее строгим. Он отцовски поучал Барбару, но всегда вполне дружелюбно.

— Вы придете к нам, Барбара, я знаю, — говорил он уверенно. — Вы ведь уже сейчас знаете, что с нами правда и будущее. Вы только немножечко боитесь в этом себе признаться и сделать соответствующие выводы.

— Может быть, я правда просто немного боюсь, — улыбалась Барбара.

Тем временем она не могла вдоволь наудивляться тому добродушному терпению, с каким он относился к Хефгену, так тянувшему с Революционным театром. Она торопила Хефгена, настаивала на скорейшем открытии театра — впрочем, у нее были на то свои личные, эгоистические причины: ей хотелось сделать эскизы декораций для первой пьесы из революционного цикла.

— Конечно, это не мое дело, — чуть ли не каждый день твердила она Хендрику, — для меня вера в мировую революцию не святая святых, но мне стыдно за тебя, Хендрик. Если ты не займешься всерьез этим делом, ты просто поставишь себя в смешное положение.

После подобных замечаний лицо Хендрика бледнело, де-

лалось непроницаемым. И глаза его начинали косить уже не из кокетства, а от раздраженья.

С высокомерием он отвечал:

— Дилетантская болтовня. Твое невежество в вопросах революционной тактики не имеет границ.

Его революционная тактика состояла в том, что он ежедневно придумывал все новые лазейки, лишь бы оттянуть репетиции для Революционного театра. Но чтобы хоть что-нибудь сделать в интересах мировой революции, он внезапно решил выступить с докладом на тему «О современном театре и его моральной ответственности». Кроме, все больше воодушевляющийся этой темой, предоставил в распоряжение Хефгена помещение Художественного театра на воскресное утро. Доклад Хефгена был составлен частью со слов полного энтузиазма директора, частью со слов Отто Ульрикса и произвел довольно сильное впечатление: это была патетическая и ни к чему не обязывающая речь, в которой сидевшие в партере как либерально, так и марксистски настроенные молодые люди нашли много полюбившихся им выражений. В конце все зааплодировали, и почти все были убеждены в честности художественно-политических устремлений Хендрика. На следующий день об этом подробно писали в газетных отчетах. Таких откликов и ждал Хендрик Хефген.

— Теперь ситуация созрела, пора действовать, — объявил он, обменявшись заговорщицким взглядом с Ульрихом.

Выбрали пьесу для премьеры в Революционном театре. Правда, это была не та радикальная пьеса, которую выбрали и собирались репетировать в прошлом году. В последний момент Хендрик из тактических соображений остановился на пьесе из эпохи войны в трех актах — об ужасах зимы 1917 года в одном крупном немецком городе. Пьеса носила расплывчато-пацифистский характер, в ней не было явно социалистических идей. Барбара сделала эскизы к декорациям: убогая комната, серая улица, где выстраивается очередь за хлебом. Отто Ульрихсу и Гедде фон Герцфельд дали главные роли.

Хефген-режиссер работал во время первой репетиции с неистовым вдохновеньем. Когда он со сдержанным пафосом декламировал длинную обвинительную речь, которую должна была произнести в конце третьего акта фрау фон Герцфельд в роли трагической матери, Отто Ульрихс украдкой вытирал слезы и даже Барбару проняло. Но ко второй

репетиции Хендрик охрип на нервной почве. На третью он пришел хромя. У него вдруг затекло правое колено, он жаловался, что не может его разогнуть. И наконец, на четвертую репетицию он пришел с таким бледным и злым лицом, что всех вогнал в страх и, как выяснилось, небезосновательно, ибо он находился в отвратительнейшем расположении духа, обозвал фрау фон Герцфельд дурой, а суфлерше Эфой пригрозил немедленным увольнением.

— Вы саботируете, — кричал он на нее. — Думаете, я не знаю, почему? Возможно, партийные друзья господина Микласа дали вам такое задание! Но мы положим этому конец, найдем на вас управу — на вас, на вашего господина Микласа, на вашего господина Кнурра и на всю вашу проклятую банду — помяните мое слово!

И Эфой не помогли ни горькие слезы, ни упрямые уверения, что она ни в чем таком не повинна.

После этой репетиции, у всех участников оставившей самые неприятные воспоминания, Хефгена уложили в постель с желтухой. Две недели он не появлялся в театре. Ульрихс, Бонетти и Ганс Миклас поделили между собой его роли. После выздоровления он появился, слабый, изнуренный, и его бриллиантовые глаза потускнели и пожелтели. Открытие Революционного театра отложили на неопределенный срок: врач категорически запретил Хендрику Хефгену брать на себя какую бы то ни было нагрузку, кроме неминуемой и текущей.

По крайней мере для одного члена труппы Художественного театра такое развитие вещей было большой радостью: Ганс Миклас сиял, он торжествовал. Он ведь знал с самого начала, что вся эта история с так называемым Революционным театром чистая ложь — об этом он громко заявлял в «Г. Х.», и укоризненные взоры фрау фон Герцфельд не могли удержать его от многократного повторения этих слов. Его упрямое лицо, казалось, просветлело от того удовольствия, которое ему доставило фиаско Революционного театра. Целый день он был в прекрасном настроении, свистал и пел, черные впадины на щеках пропали, он перестал кашлять и даже угощал Эфой водкой. Такого еще ни разу не случалось, и добрая женщина сказала:

— Господи, да ты совсем голову потерял.

Конечно, приятный инцидент мог улучшить настроение юного Микласа лишь временно и очень ненадолго. Уже на

следующий день лицо его вновь сделалось злым и замкнутым, вновь появились черные впадины у скул, и кашель вновь вызывал тревогу.

«Как он нас всех ненавидит», — думала Барбара, наблюдая за ним. Ее не оставляло равнодушной мрачное обаяние невоспитанного юнца. Густые, непослушные вихри над светлым лбом, темные круги вокруг упрямых глаз и упорный, болезненно-яркий рот были ей куда милей утомленного суетой лица прекрасного Бонетти. В узкой, стройной фигуре молодого Микласа — в этом натренированном, гибком и честолюбивом теле — было что-то такое, что трогало Барбару. Поэтому она иногда пыталась втянуть его в разговор. Сначала он отвечал супруге ненавистного начальника озлобленным недоверием. Но постепенно Барбаре удалось завоевать его расположение. Иногда она приглашала его на кружку пива и бутерброд в «Г. Х.» — знак внимания из тех, какие очень умел ценить Ганс Миклас. И когда Барбара сердилась на Хендрика, ей доставляло особенное удовольствие развлекать разговором злого мальчишку.

— Не хотите ли провести со мной «вечер злых речей»? — предлагала она ему тогда.

И он тотчас соглашался. Он всегда соглашался на «вечер злых речей», особенно, если его угощали пивом и мясом.

С интересом, к которому примешивалась немалая доля отвращения, слушала Барбара Микласа, рассказывавшего о том, что он любил и что ненавидел. Никогда еще она не сидела за одним столом с человеком, который бы придерживался образа мыслей и взглядов, с таким фанатизмом отстаиваемых этим мальчиком. Ей было ясно, что он презирал и ненавидел все то, что ей самой, ее отцу и ее друзьям было дорого, без чего все они не могли жить. Что он имеет в виду, когда так яростно бичевал «проклятый либерализм» или издевался над «известными еврейскими и ожидавшими кругами», которые, по его мнению, разложили немецкую культуру? «Да, он имеет в виду все то, что я всегда любила, во что я всегда верила, — думала Барбара. — Он имеет в виду свободу, когда говорит о «еврейской сволочи». И она испугалась до глубины души. Тем не менее любопытство заставило ее продолжать разговор, но ее понятиям совершенно ни с чем не сообразный. Ей казалось, что из цивилизованного мира, где она привыкла жить, она попадает в совсем другой, совершенно чуждый и дикий. Чем вдохновля-

лось такое загадочное существо, как Ганс Миклас? Что за идеи и идеалы разжигали его разрушительный пыл? Он мечтал о «свободной от евреев немецкой культуре», и Барбара удивленно качала головой. Когда же ее странный собеседник стал объяснять ей, что «позорный Версальский договор должен быть разорван», а немецкая нация должна стать снова «оборонеспособной», глаза его светились и лоб его, казалось, тоже излучал сияние.

— Наш фюрер вернет народу честь! — восклицал он. И голос его звучал хрипло. Он победоносно встряхивал вихрами. — Мы не можем дольше сносить позор республики, которую презирает весь мир. Мы хотим вернуть нашу честь — этого требует каждый порядочный немец, а порядочные немцы есть повсюду, даже здесь, даже в этом большевистском театре. Вы бы послушали, как говорит господин Кнурр, когда может не опасаться, что его подслушивают. Он троих сыновей потерял на войне, но он говорит, что это не так страшно, гораздо хуже, что Германия утратила свою честь, — и ее вернет нам наш фюрер — только фюрер!

Барбара думала: почему его так волнует немецкая честь? И что он разумеет под этим туманным понятием? Неужто ему действительно так необходимо, чтобы Германия опять заимела танки и подводные лодки? Лучше бы позаботился о том, как избавиться от этого страшного кашля, как завоевать успех в приличной роли и зарабатывать чуть побольше денег, чтобы каждый день наедаться досыта. Он явно слишком мало ест и слишком много тренируется — он совершенно истощен. Она спросила его, хочет ли он еще хлеба с ветчиной. А он продолжал увлеченно:

— Настанет день! Наше движение победит!

Подобные выражения упоенной веры Барбара совсем недавно слышала от другого — от Отто Ульрихса. Возражать ему она не решалась — на ее ум и чувства сильно подействовало его горячее преклонение перед человеческим разумом. Но Гансу Микласу она сказала:

— Если Германия в самом деле когда-нибудь станет такой, о какой мечтаете вы и ваши друзья, мне такая Германия не нужна. Я уеду, — объявила Барбара и улыбнулась Микласу задумчиво, но не враждебно.

Он просиял:

— В это я верю! Очень многие господа уедут — в том случае, если мы их выпустим, а не засадим в тюрьмы! Тогда

мы будем хозяевами! Тогда, наконец, в Германии вновь возьмут слово немцы!

Всклопоченными вихрами и горящими глазами он походил на восторженного шестнадцатилетнего мальчишку — Барбара не могла не признаться себе, что он ей нравится, хотя каждое сказанное им слово было ей чуждо и противно. Красноречиво, путаясь, но с неослабным напором он твердил ей, что идеал, за который он борется, в глубочайшем смысле слова революционный идеал.

— Когда наступит день и наш фюрер возьмет власть в свои руки, тогда-то наступит конец капитализму и господству бюрократов, с ростовщичеством будет покончено, лопнут банки и биржи, сосущие кровь из народа, — и никто по ним не заплачет!

Барбара поинтересовалась, почему Миклас не хочет идти вместе с коммунистами, если он, как и они, против капитализма. Миклас принялся ей втолковывать, как школьник, выучивший наизусть урок:

— Потому что коммунисты не знают, что такое любовь к родине, а интернационалисты они оттого, что опутаны русскими евреями. Они понятия не имеют об идеалах, ведь все марксисты думают, что главное — это деньги. Мы стремимся к своей собственной революции — нашей, немецкой, возвышенной, а не той, которой руководят масоны или сионские мудрецы!

Тут Барбара обратила внимание расходившегося юнца на то, что его «фюрер», который собирается отменить капитализм, получает очень много денег от тяжелой промышленности и от крупных землевладельцев, но Миклас зло и резко отверг эти обвинения, как «типично еврейское подстрекательство». В таком духе они дискутировали до глубокой ночи. Барбара — иронически, терпимо, с любопытством — выслушивала упряма и пыталась его вразумить. Он же с упорством ребенка отстаивал кровожадную веру в чистоту расы, твердил о ликвидации ростовщичества и о благородной революции. Суфлерша Эфой, ревниво наблюдавшая из угла за увлеченной парой, шепнула швейцару Кнурру:

— Фрау Хефген что-то уж очень зарится на моего парня — этого еще не хватало. Фрау Хефген хочет его отбить...

И в ту же ночь Эфой устроила скандал Гансу Микласу. А у Барбары была неприятная сцена с Хендриком. Хефген бушевал. Но не из-за «мелкобуржуазной супружеской рев-

ности» — он это подчеркнул. Напротив, по чисто политическим причинам.

— Как ты только могла весь вечер сидеть за одним столом с площадным мерзавцем — национал-социалистом! — орал он, дрожа от злости.

Барбара отвечала, что, по ее мнению, юный Миклас не мерзавец. Хендрик решительно отрезал:

— Все нацисты мерзавцы. И беседовать с таким типом — все равно что вывалиться в грязи. Жаль, что ты не хочешь этого понять. Тебя испортили либеральные замашки твоего семейства. У тебя нет убеждений, одна избалованность и детское любопытство!

Барбара тихо сказала:

— Да, я признаюсь, мне немножко жалко этого парня и он меня немножко интересуется. Он большой, честлюбивый, он недоедает. Вы плохо с ним обращаетесь — ты, твоя приятельница Герцфельд и все прочие. Он ищет, за что бы зацепиться, как бы подняться. Вот он и пришел к этому безумию, которое он теперь гордо именуется мировоззрением...

Хендрик презрительно хмыкнул.

— Как ты носишься с этой вшивой дрянью! Мы, видите ли, плохо с ним обращаемся! Просто великолепно! Ну и ну! А ты не подумала о том, как он и его дружки будут обращаться с нами, если этот сброд придет к власти?!

Нагнувшись вперед и подбоченясь, он швырнул ей в лицо этот вопрос.

Барбара отвечала с расстановкой, не глядя на него:

— Сохрани бог, чтобы эти безумцы пришли к власти. Я бы тогда не смогла жить в этой стране.

Она содрогнулась, словно ощутив мерзкое дуновение жестокости и лжи, которое воцарится в Германии, если к власти придут нацисты.

— Это подонки, — сказала она. — Подонки рвутся к власти.

— А сама садись с таким подонком за один стол и чешь с ним языком!

Хендрик большими шагами зашагал по комнате, у него был победоносный вид.

— Вот вам благородная буржуазная терпимость! Обязательно надо благородно сочувствовать смертельному врагу — верней, тому, кого сегодня еще называют смертельным врагом. Я надеюсь, моя дорогая, что ты с еще большим сочув-

ствием отнесешься к подонкам, когда они придут к власти! Ты и в фашистском терроре сумеешь найти интересные стороны. Ваш либерализм научит вас мириться и с националистической диктатурой. И только мы, воинствующие революционеры, их враги не на жизнь, а на смерть, только мы помешаем им прийти к власти.

Гордо, как петух, он вышагивал по комнате, кося глазом и задрав подбородок. Барбара стояла неподвижно. Если бы Хендрик взглянул на нее в этот миг, он испугался бы ее побелевшего лица.

— Значит, ты считаешь, что я примирилась бы, — сказала она почти беззвучно. — Ты считаешь, что я примирилась бы — примирилась бы со смертельным врагом...

Через несколько дней между Хендриком и Микласом произошло столкновение, кончившееся тем, что Хефген добился от дирекции Гамбургского Художественного театра немедленного увольнения молодого актера. Повод к ссоре, которая закончилась триумфом для Хефгена, а для Ганса Микласа стала роковой, на первый взгляд был пустяковый.

Хендрик был в этот вечер в великолепнейшем настроении, проказничал, буквально кипел рейнской веселостью и удивлял восторженных коллег бесконечными выходками и шутками. Например, он выдумал веселую, блистательную игру. Поскольку в газетах он читал лишь театральную хронику и живо интересовался лишь тем, что касалось театра, он знал состав всех трупп немецких драматических, оперных театров и оперетт. Хорошо тренированная память фиксировала имя второй альтистки в Кенингсберге и временной исполнительницы салонных ролей в Галле. Было много хохота, когда Хендрик дал себя проэкзаменовывать в этом своеобразном предмете. Он отвечал без запинки, когда его спрашивали:

— Кто молодой любовник в Хальберштадте?

Или:

— Где в настоящее время играет фрау Геверниц?

— В Гейдельберге, играет комических старух, — бросал Хефген как нечто само собой разумеющееся.

Скандал с Микласом начался с того, что кто-то спросил:

— А ну-ка, кто первая инженерю в городском театре в Йене?

Хендрик ответил:

— Одна дура. Ее зовут Лотта Линденталь.

Тут в разговор вмешался Миклас, который до этого стоял в стороне, не принимая участия в общем веселье:

— Почему это Лотта Линденталь дура?

Хефген холодно отрезал:

— Не знаю почему. Такая уж родилась.

И Миклас — хрипло и тихо:

— Тогда я объясню вам, господин Хефген, почему вам хочется оскорбить именно эту даму: потому что вам точно известно, что она подруга одного из наших национал-социалистских вождей, а именно нашего героя-летчика.

Тут Хефген, барабаня пальцами по столу, с лицом, окаменевшим от высокомерия, оборвал его:

— Меня мало интересуют имена и титулы любовников фрейлейн Линденталь, — сказал он, не удостоивая Микласа взглядом. — Впрочем, тут можно бы составить длинный список. Фрейлейн Линденталь развлекается не только с военным летчиком.

Миклас сжал кулаки и опустил голову в боевой позиции уличного мальчишки, готового броситься на противника с кулаками. Светлые глаза под свирепо насупленным лбом, казалось, ослепли от бешенства.

— Поостерегитесь, — прошипел он, задыхаясь, и все испугались его дерзости. — Я не потерплю, чтобы открыто оскорбляли даму только за то, что она состоит в национал-социалистской немецкой рабочей партии и является подругой немецкого героя! Я не потерплю!

— Ах так! Вы не потерпите! — повторил Хендрик и улыбнулся дьявольской усмешкой. — Ай-ай, — добавил он язвительно, тут Миклас и впрямь набросился бы на Хефгена, но Отто Ульрихс изо всех сил ухватил его за плечи.

— Да ты пьян! — закричал Ульрихс и стал трясти Микласа.

Тот выдавил:

— Я не пьян! Просто я единственный в этом помещении, у кого еще осталось чувство чести. В этой ожидавшей среде никто ничего плохого не находит в том, что оскорбляют даму!

— Довольно! — этот металлический окрик принадлежал Хефгену. Он стоял выпрямившись во весь рост. Все смотрели на него. Он говорил с устрашающей неторопливостью: — Верю, мой милый, что вы не пьяны. И вы не сможете со-

слаться на смягчающее обстоятельство. Вам больше не придется страдать в этой ожидавшейся среде — уж положитесь на меня.

И Хефген вышел твердым чеканным шагом.

— Ой, просто мороз по коже, — прошептала Моц в благоговейной тишине.

Но что это? Из какого угла послышался тихий плач? Суфлерша Эфой упала всем своим тяжелым корпусом на стол, и слезы закапали прямо на скатерть.

Кроге, которого не было при скандальной сцене в «Г. Х.», с сомнением встретил требование Хефгена о немедленном увольнении молодого актера. Фрау фон Герцфельд и Хендрик объединили свои усилия в красноречии, чтобы разбить его ссылки на юридическую, политическую и человеческую стороны дела. Директор озабоченно качал кошачьим лицом, собирал лоб в складки, нервно ходил взад и вперед по комнате и бормотал:

— Конечно, вы правы, я признаю... Поведение этого парня несомненно... Но все-таки как же это? Большого человека, без всяких средств, так разом взять и выставить на улицу...

Хендрик и Гедда горячились, доказывали, что эта нерешительность, эта склонность к компромиссам смахивают на малодушие и трусость правительственных партий Веймарской республики по отношению к бессовестному нацистскому террору.

— Мы должны показать банде этих убийц, что им не все позволено.

Хендрик стукнул кулаком по столу.

Казалось, Кроге уже поддался доводам своих сотрудников, но Миклас, к общему удивлению, обрел неожиданного ходатая, то был Отто Ульрихс, который вдруг доложил о себе и просил разрешения принять участие в разговоре.

— Заклинаю вас, не делайте этого! — кричал он. — Вполне достаточное наказание для парня, если мы его не ангажируем на следующий сезон. Ведь вчера вечером он многое сболтнул просто сдуру. Ну, нервы сдали. Со всяким может случиться.

— Удивляюсь, — сказал Хендрик и бросил сквозь монокль карающий взор на своего друга Отто. — Удивляюсь, что ты, что именно ты городишь такое.

Ульрих сердито отмахнулся.

— Ладно, — сказал он, — оставим в стороне соображения гуманности. Ясно, мне жалко беднягу — такой кашель, такие впалые щеки. Но только из чисто личных соображений я бы за него не заступался — ты меня достаточно знаешь, Хендрик. Нет, в первую очередь у меня соображения политические. Не надо создавать мучеников. Именно сейчас, при нынешней политической ситуации, совершенно неправильно...

Тут Хендрик поднялся.

— Прости, что перебиваю, — сказал он с уничтожающей вежливостью. — Но мне представляется бессмысленной эта увлекательнейшая теоретическая дискуссия. Случай очень простой: вам надо выбрать между мной и господином Гансом Микласом. Если он остается в театре, я уйду.

Эти слова он произнес с той горделивой, подчеркнутой простотой, которая не давала возможности усомниться в его непреклонной решимости. Он стоял у стола, подавшись вперед и опираясь на руки. Глаза он опустил, словно из скромности не хотел испытывать на присутствующих неотразимой силы своего взгляда.

От страшных слов Хендрика все вздрогнули. Кроге закусил губы. Фрау фон Герцфельд не могла удержаться и приложила руку к судорожно колотившемуся сердцу. Директор Шмиц побелел: он почувствовал тошноту от одной только мысли, что Художественный театр может лишиться незаменимого Хефгена, да еще сразу после того, как потерял великолепную Николетту фон Нибур.

— Что за вздор, — прошептал толстяк и вытер пот со лба. И прибавил неожиданно мягким, приятным голосом: — Можете успокоиться. Мы его выгоним.

Миклас вылетел — Кроге лишь с большим трудом и благодаря усердной поддержке Ульрихса добился того, что уволенный молодой актер получил жалованье за два месяца вперед. Никто не знал, куда уехал Миклас, даже бедная Эфой его больше не видела. После того неприятного инцидента он ушел, хлопнув дверью, и не появлялся больше в Художественном театре. И вот он совсем исчез.

Миклас, жертва собственной детской запальчивости, столь же пылких, сколь и чудовищных убеждений, исчез. Хендрик Хефген уничтожил упряма, убрал с дороги строптивца: это

был триумф, им восхищались все члены Художественного театра, от Моц до Бёка. Коммунисты — рабочие сцены — в своей столовой хвалили его энергию и принципиальность. Швейцар Кнуэрр ходил с мрачной физиономией, но не решался сказать ни слова и тщательней, чем прежде, прятал фашистский знак под отворотом пиджака. Правда, когда Хефген приходил в театр, на него из полутьмы швейцарской смотрели страшные глаза, в которых можно было прочесть: «Погоди, проклятый большевик, мы тебе еще покажем! Наш фюрер и спаситель своего добьется! И этот великий день не за горами!» Хендрик ужасался, делал каменное, непроницаемое лицо и проходил мимо, не здороваясь.

Никто не мог усомниться в том, что он делает погоду: он царил в «Г. Х.», в бюро, на сцене. Его жалованье повысилось до тысячи пятисот марок. Хендрику уже не пришлось утруждать себя, врываясь подобно вихрю в кабинет директора Шмица и изображая шаловливое дитя. Он вытребовал повышение, сдержанно, немногословно. С Крое и Герцфельд он обходился почти как с подчиненными, маленькую Зиберт, казалось, вовсе не замечал, а к товарищескому тону, оставленному им для Отто Ульрихса, примешалась покровительственная, чуть пренебрежительная нотка.

Лишь одного человека ему еще не удалось убедить, расположить и обольстить. Недоверие, с каким смотрела на Хендрика Барбара, после истории с Микласом только углубилось и обострилось. Но он не выносил, чтобы рядом с ним долго находился человек, который бы им не восхищался, в него бы не верил. Они с Барбарой в течение зимы совсем отдалились друг от друга. И Хендрик со свежими силами взял разбег, чтобы полностью преодолеть это отчуждение. Честолюбие ли заставляло его так рьяно отвоевывать Барбару? Или к нему примешивалось иное чувство? Почему он вновь призвал на помощь весь свой дар обольщения, чтоб ее покорить? Он называл ее своим «добрым ангелом». Но этот добрый ангел стал укором нечистой совести. Тихое недовольство Барбары омрачало все его победы. Чтобы спокойно наслаждаться победами, надо было стереть эту тень, и Хендрик завоевывал Барбару почти с таким же усердием, как в первые недели их отношений. Он уже не позволял себе распускаться в ее присутствии. Нет, теперь у него были всегда наготове для нее и шутки, и остроты, и серьезные речи.

Чтобы она чаще видела его в минуты самых ярких прояв-

лений его могущества, он то и дело приглашал ее на репетиции.

— Ты же даешь такие ценные советы, — говорил он жалобным, смиренным голосом и опускал веки над мерцающим взглядом.

Как-то раз, когда Хендрик руководил примеркой костюмов для своей новой обработки одной оффенбаховской оперетты, Барбара тихо вошла в зрительный зал и села в последнем ряду темного партера. На сцене стояли девицы-танцовщицы, выбрасывали ноги и выкрикивали припев какой-то шансонетки. Перед их безупречно вытянутым фронтом прыгала маленькая Зиберт, изображая Амура: со смешными крылышками на голых плечах, со стрелой и луком на шее и красным носом на бледном, испуганном и красивом личике.

«Какую невыигрышную роль придумал ей Хендрик, — вздохнула про себя Барбара. — Меланхолический Амур». И она почувствовала что-то вроде жалости и сочувствия к бедной Ангелике, дрыгавшей ножками и скакавшей по сцене. Может быть, Барбара в этот момент поняла, что этим жалобным и испуганным выраженьем лица Ангелика обязана Хендрику.

Хефген стоял в позе тирана, раскинув руки, в правом углу сцены и управлял всеми. Он топал ногами в соответствии с ритмом оркестра, его бледное лицо покоряло решительностью.

— Стоп, стоп, стоп! — бушевал он, и, когда оркестр внезапно смолк, Барбара испугалась почти так же, как потерянно застывшие девушки из кордебалета, как маленькая Ангелика, боровшаяся со слезами.

А режиссер выскочил на середину сцены.

— У вас в ногах свинец! — заорал он на девушек, и те печально склонили головки, как цветы под порывом ледяного ветра.

— Вам бы не Оффенбаха танцевать, а траурный марш!

Он повелительно кивнул дирижеру и, когда тот вновь взмахнул палочкой, стал танцевать сам. Нет, это был уже не лысый господин в сером, несколько поношенном будничном костюме! Какое бесстыдное, волнующее превращение! И среди бела дня! Не Дионис ли это, бог вина, в экстазе выбрасывает руки и ноги. Барбара смотрела на него потрясенная. Ведь только что еще Хендрик Хефген был полководцем — раздраженный, высокомерный, неумолимый, стоял он перед

своим войском—перед девушками из кордебалета. И вдруг— без всякого перехода — предался вакхическому неистовству. Конвульсии пробежали по бледному лицу, бриллиантовые глаза закатились, из приоткрытых губ летели сладострастные хриплые стоны. Танцевал он блестяще, девицы с восхищением смотрели на безупречную технику качающегося режиссера, сама принцесса Тебаб не нарадовалась бы, глядя на него.

«Откуда это у него? — думала Барбара. — И что он сейчас чувствует? Чувствует ли что-нибудь вообще? Или просто демонстрирует девицам, как надо выбрасывать ноги?»

Тут неистовые упражнения Хендрика были прерваны. Молодой человек из конторы осторожно прошел по партеру и поднялся на сцену. Он мягко дотронулся до плеча упоенного режиссера и прошептал, что господин Хефген должен извинить за беспокойство, но директор Шмиц просит господина Хефгена посмотреть эскиз афиши к премьере оперетты, его надо немедленно отправить в типографию. Хендрик сделал знак музыке остановиться, он уже стоял в небрежной позе, вставил в глаз монокль: никто бы не поверил, что этот господин, критическим взором оглядывавший какую-то бумагу, две минуты назад трясся в дионисийском трансе. Но вдруг он смял бумагу и крикнул недовольным, скрипучим голосом:

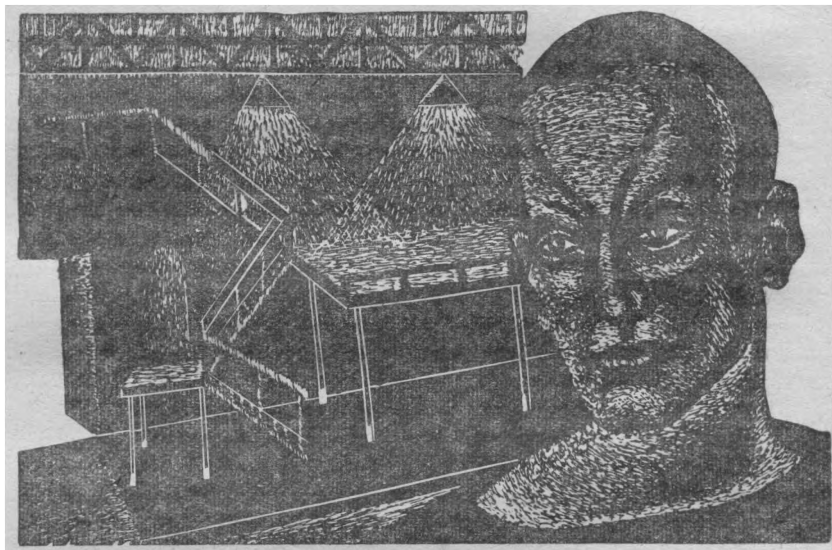
— Все это надо снова набирать! Безобразие! Опять переврали мое имя! Неужто нельзя добиться, чтобы меня называли правильно? Я вам не Хенрик!

И он в ярости швырнул бумагу на пол.

— Меня зовут Хендрик — запомните, наконец: Хендрик Хефген!

Молодой человек из конторы нагнул голову и пробормотал что-то насчет нового наборщика, по чьей неосведомленности произошла непростительная ошибка. Девицы тихонько захихикали, будто нежно зазвенели колокольчики. Хендрик вытянулся во весь рост, и серебристый перезвон тотчас смолк под его грозным взглядом.

Хендрик Хефген страдал, читая в «Г. Х.» берлинские газеты. Сердце у него сжималось от зависти и ревности. Триумфальный успех Мартин! Новая постановка «Гамлета» в Государственном театре, сенсационная премьера в театре на Шиффбауэрдамм... А он сидит в провинции! Столица обходится без него! Киностудии, большие театры в нем не нуждаются. Его не зовут. Его имени не знают в Берлине. А если



уж его упоминает гамбургский корреспондент берлинской газеты, то всегда проверяет имя. «В роли коварного злодея запомнился некто Хенрик Хопфген...» Некто Хенрик Хопфген! У него опускались руки. Жажда славы — большой, подлинной славы, столичной славы — терзала его, как физическая боль. Хендрик держался за щеку так, словно у него болели зубы.

— Быть первым в Гамбурге — подумаешь дело большое! — изливался он фрау фон Герцфельд, участливо рас-

спрашивавшей, почему он так плохо выглядит, и пытавшейся успокоить его посредством умной лести.

— Кумир провинциальной публики — покорно благодарю! Лучше все начать заново в Берлине, чем вариться тут в собственном соку...

Фрау фон Герцфельд испугалась.

— Вы это серьезно? Но вы же не уедете, Хендрик?

И она с укором распахнула золотисто-карие, мягкие глаза, и по большому, нежному, пушисто напудренному лицу пробежала дрожь.

— Ничего еще не решено, — Хендрик строго посмотрел мимо фрау фон Герцфельд и нервно передернул плечами.

— Сначала я поеду на гастроли в Вену.

Он кинул это небрежно, будто упоминал о факте, который давным-давно известен Гедде. А между тем она, так же как и Кроге, Ульрихс да и Барбара, понятия не имела о том, что Хендрик собирается на гастроли в Вену.

— Меня пригласил Профессор, — сказал он и принялся протирать монокль шелковым носовым платком. — Очень милая роль. Собственно, я хотел отказаться из-за неудачного сезона: кто теперь будет в Вене, в июне-то месяце? Но в конце концов я все же решил согласиться. Ведь не предскажешь, к чему приведут гастроли у Профессора... Кстати, Мартин будет моей партнершей, — заметил он вскользь, снова вставляя в глаз монокль.

Профессор был режиссер и театральный руководитель, овеванный легендарной славой, пользующийся невероятным авторитетом во всем мире, руководивший многими театрами в Берлине и Вене. В самом деле, его секретариат предложил актеру Хефгену среднюю роль в старом австрийском фарсе, который Профессор надумал поставить летом в одном из своих венских театров с участием Доры Мартин. Но приглашение не пришло ненароком, неожиданно. Нет, Хефген нашел покровителя в лице драматурга Теофиля Мардера. Последний был, правда, в страшной ссоре с Профессором, как и со всем остальным человечеством. Но знаменитый режиссер сохранил к сатирику, чьи пьесы он прежде с таким успехом ставил, благосклонность и почтение, смешанное с иронией. Случалось, что Мардер раздраженным и угрожающим тоном расхваливал театральным дирекциям молодую даму, которой интересовался. Но почти никогда не случалось, чтобы он ходатайствовал за мужчину. Поэтому похвальные слова, найденные им

для Хефгена, не могли не произвести впечатления на Профессора, хотя и были сдобрены оскорблениями по адресу последнего. «В театре вы почти так же мало смыслите, как в литературе, — писал Теофиль всемогущему. — Предрекаю вам, что вы кончите директором блошиного цирка где-нибудь в Аргентине — помяните мое слово. Но сказочное счастье, которого я жду от жизни с молодой, преданной мне до мозга костей женой, настраивает меня на снисходительный лад, и я готов мягко отнестись даже к вам, хоть вы уже в течение многих лет по глупости или из низменных соображений бойкотируете мои гениальные пьесы. Вы знаете, что в наше презренное время только у меня одного сохранилось безошибочное ощущение подлинной художественности. Мое великодушие идет так далеко, что я готов обогатить жалкий ансамбль вашего разорительного, как я и предвидел, балагана, новой фигурой, которой нельзя отказать в некоторых оригинальных чертах. Артист Хендрик Хефген заслужил признание в моей классической комедии «Кнорке». Без сомнения, Хендрик Хефген стоит больше всех ваших прочих комедиантов — правда, для этого не много нужно».

Профессор смеялся. Но потом на несколько минут призадумался. Пощелкал языком. Наконец позвонил своей секретарше и велел ей связаться с Хефгеном.

— Что ж, можно попытаться, — сказал Профессор скрипучим голосом, растягивая слова.

Никому, даже Барбаре, Хендрик не признался, что лестным приглашением Профессора он обязан Теофилю. Никто не знал, что у него сохранилась связь с мужем Николетты. Хендрик готовился к столь хитро добытым венским гастролям с высокомерной небрежностью.

— Надо бы съездить в Вену, на гастроли к Профессору, — сказал он как бы между прочим.

Он улыбнулся своей стержозной улыбкой и заказал у лучшего портного летний костюм. Долгов было так много — консульше Мёнкеберг, папаше Ганземанну, в бакалейную и винную лавку, — что четыреста марок портному уже не меняли дела.

Внезапный отъезд Хендрика ошеломил добрый город Гамбург, где его шарм завоевал так много сердец. Но, возможно, еще более, чем дамы Зиберт и Герцфельд, ошеломлен был директор Шмиц, ибо Хефген с помощью множества кокетливых уверток отказался продлить контракт с Художественным

театром на следующий сезон. Розовое лицо Шмица пожелтело и выявило вдруг толстые мешки под глазами, когда Хендрик с жестокостью, равной только его же кокетству, упрямо повторял:

— Меня тошнит, когда я чувствую себя связанным по рукам и по ногам. Ненавижу обязательства, просто нервы не выдерживают... Может быть, я вернусь, а может быть, и нет... Я ведь сам не знаю. Папаша Шмиц... Я должен быть свободен, поймите же! Ну пожалуйста.

Хендрик поехал в Вену; Барбара тем временем поехала к отцу и в имение к генеральше. Хефген сумел из прощания с молодой женой сделать прекрасную, впечатляющую сцену.

— Мы увидимся осенью, дорогая, — сказал он, стоя перед Барбарой с опущенной головой, в позе, выражающей гордость и смирение. — Мы увидимся, и я буду, наверное, уже другим человеком. Я должен ехать, должен... И ты же знаешь, дорогая, ради кого я так честолюбив. Ты же знаешь, ради кого мне надо показать себя на деле...

Его голос, звеневший победной медью с жалостными призывками, умолк. Хендрик склонил умиленное белое лицо над смуглой рукой Барбары.

Комедианство ли все это? Или тут есть и подлинные чувства? Барбара размышляла над этим на верховых прогулках по утрам и после обеда в саду, устало опустив на колени тяжелую книгу. Где у этого человека начинается фальшь и где она кончается? Так размышляла Барбара. И она говорила на эту тему с отцом, и с генеральшей, и со своим умным, преданным другом Себастьяном.

— Мне кажется, что я его понимаю, — сказал Себастьян. — Он лжет всегда, и он никогда не лжет. Его фальшь — это его подлинность, это звучит сложно, но это абсолютно просто. Он верит во все, и он ни во что не верит. Он артист. Ты еще его до конца не раскусила. Он тебя еще занимает. Он до сих пор вызывает твое любопытство. Ты пока не можешь уйти от него, Барбара.

Венская публика пришла в восторг от Доры Мартин, которая появлялась в знаменитом фарсе то в роли нежной девушки, то в роли сапожного подмастерья. Она обольщала загадочными, широко раскрытыми детскими глазами, воркующими, хриплыми тонами голоса. Она своевольно растягивала гласные, втягивала голову в плечи и двигалась по сце-

не пленительно невесомо, робко, — то как угловатый тринадцатилетний мальчик, то как прелестный, пугливый эльф. Она прыгала и порхала, парила и небрежно плыла. Успех ее был столь велик, что никто другой не мог с ней тягаться. В газетных отчетах — длинных гимнах в честь ее гениальности — лишь бегло упоминались ее партнеры. Хендрика же, который играл фатоватого, гротескного кавалера, даже и ругали — упрекали в утрировке и манерности.

— Это провал, мой дорогой! — ворковала Мартин, коварно помахивая газетными вырезками. — Самый настоящий провал. Но хуже всего то, что вас все называют Хенриком — ведь это вас особенно злит. Ах как жаль... — и она пыталась сделать огорченное лицо. Но ее прекрасные глаза улыбались из-под высокого лба, собранного в почти скорбные складки.

— Правда, как жаль. Но вы и в самом деле ужасны в этой роли, — сказала она почти нежно. — Вы дергаетесь на сцене, как арлекин, — мне ужасно жаль. Но, конечно, я вижу, что у вас колоссальный талант. Я скажу Профессору, чтобы взял вас в Берлин.

На следующий же день Хефгена вызвали к Профессору. Великий человек посмотрел на него очень близко посаженными, задумчивыми, очень зоркими глазами. Пощелкал языком. И, заложив руки за спину, принялся большими шагами мерить комнату. Затем он издал несколько скрипучих звуков, нечто вроде:

— Н-да, ага, вот, значит, каков этот Хефген... — и, склонив голову, стоя в наполеоновской позе подле письменного стола, заключил: — У вас есть друзья, господин Хефген. Несколько человек, кое-что смыслящих в театре, обратили на вас мое внимание. Мардер, например... — Тут он коротко, скрипуче засмеялся. — Да, Мардер, — повторил он, снова посерьезнев. И тотчас, уважительно подняв брови, добавил: — Ваш тесть, тайный советник, тоже говорил мне о вас, когда я недавно встретил его у министра культуры. И еще Дора Мартин...

И Профессор на несколько минут погрузился в молчанье, лишь изредка нарушая его странными скрипучими звуками. Хефген то бледнел, то краснел. Улыбка кривила губы. Задумчивый, холодный, и невидящий, и пронизательный взгляд мясистого коренастого господина трудно было

сносить. Хендрик вдруг, понял, почему Профессора прозвали «магом»: именно за этот сильный, разящий взгляд.

В конце концов Хефген прервал мучительный бессловесный экзамен, певуче, льстиво заметив:

— В жизни я неказист, господин Профессор. Зато на сцене...

Он выпрямился во весь рост, неожиданно раскинул руки, в голосе зазвучал металл:

— На сцене я могу быть забавным. — Он сопровождал эти слова стервозной улыбкой. И не без торжества добавил: — Эту мою способность к перевоплощению однажды очень мило охарактеризовал мой тесть.

При упоминании старого Брукнера брови Профессора почтительно поднялись. Но голос звучал холодно, когда, выдержав несколько секунд значительного молчания, он произнес:

— Ну что ж, можно ведь разок и попробовать.

Хефген радостно вскочил. Профессор сделал отрезвляющий знак рукой.

— Не ожидайте слишком многого, — сказал он серьезно и глянул на него испытующе и все так же холодно. — Я вам предложу не бог весть что. В роли, которую вы здесь сыграли, вы не показались мне забавным. Скорей довольно-таки никудышным.

Хендрик вздрогнул. Профессор любезно ему улыбнулся.

— Довольно-таки никудышным, — повторил он беспощадно. — Но это ничего. Можно еще попробовать. Что же до жалованья...

Тут улыбка Профессора стала почти плутовской, и он снова защелкал языком.

— Наверное, в Гамбурге вы привыкли к относительно приличному доходу. У нас на первых порах вам придется довольствоваться меньшим. Вы очень избалованы?

Профессор спросил об этом так, будто им руководил лишь теоретический интерес. Хендрик поторопился заверить:

— Деньги меня совершенно не интересуют. Правда, несколько не интересуют, — повторил он очень правдоподобным тоном, ибо заметил, что Профессор скорчил скептическую гримасу. — Я вовсе не избалован. Мне нужно немного — свежая рубашка да флакон одеколona на ночном столике.

Профессор еще раз засмеялся лающим смешком.

— Детали обсудите с Кацем. Я ему все скажу, — и аудиенция закончилась, Хендрика отпустили мановением руки.

— Пожалуйста, кланяйтесь от меня вашему тестю, — сказал Профессор, снова заложил руки за спину — приземистый, плотный — и наполеоновской поступью зашагал по толстому ковру кабинета.

Господин Кац был генеральным секретарем Профессора. Он управлял делами и финансами маэстро, усвоил тот же скрипучий голос, так же прищелкивал языком. Переговоры между ним и актером Хефгеном состоялись в тот же день. Хендрик безоговорочно принял условия договора, о которых директор Шмиц не посмел бы и заикнуться. Условия были самые ужасные: семьсот марок месячного жалованья да еще минус налог. Причем никаких ролей не гарантировалось. И он это снес? Да, так надо, раз он хочет в Берлин, и в Берлине он никому не известен. Снова все сначала! Это нелегко, но надо потерпеть. Идешь на жертвы, если хочешь прославиться.

Хендрик послал Доре Мартин огромный букет чайных роз. К прелестным цветам он приложил бумажку, крупным, трогательно корявым почерком выведя на ней одно только слово: «Спасибо». Директорам же Шмицу и Кроге он послал письмо. Коротко и сухо извещал он обоих директоров, которым столь многим был обязан, что, к своему сожалению, не может возобновить контракта с Художественным театром, поскольку Профессор пригласил его на блестящих условиях. Пряча письмо в конверт, он на несколько секунд представил себе ошеломленные мины в гамбургском театре. При мысли о залитом слезами взгляде фрау фон Герцфельд он захихикал. И, очень оживленный, он поехал в театр.

Он доложил о себе в уборной Доры Мартин, но горничная дала ему понять, что госпожа принимает Профессора.

— Н-да, я оказал вам эту странную услугу, — сказал Профессор, задумчиво глядя на худые плечи Доры Мартин, скрытые под платком. — Я принял этого парня. Как бишь его зовут?

— Хефген, — засмеялась Мартин. — Хендрик Хефген. Вы еще выучите это имя, дорогой.

Профессор высокомерно пожал плечами, пощелкал языком и выдавил несколько скрипучих звуков.

— Он мне не нравится, — сказал он в заключение. — Ко-медиант.

— А вы против комедиантов? — Мартин обнажила в улыбке зубы.

— Я против плохих комедиантов. — Профессор, казалось, сердился. — Против провинциальных комедиантов, — сказал он злобно.

Мартин вдруг посерьезнела, взгляд ее потемнел.

— Он мне интересен, — сказала она тихо. — Такой бесовестный. — Она нежно улыбнулась. — Он совершенно негодный человек. — Она потянулась почти сладострастно и откинула назад детскую умную головку. — Он еще преподнесет нам не один сюрприз, — сказала она, мечтательно уставясь в потолок.

Через несколько секунд она резко встала и замахала на Профессора руками, прогоняя его за дверь.

— Хватит! — сказала она, смеясь. — Вон! Убирайтесь вон! Мне пора надевать парик!

Профессор, уже в дверях, успел спросить:

— А почему нельзя посмотреть, как вы надеваете парик? — И глаза у него загорелись.

— Нет, нет, ни за что! — Мартин затряслась от ярости. — Об этом не может быть и речи. Вдруг платок сползет с плеч! — И она плотнее закуталась в пестрый платок.

Голос Профессора звучал сдавленно:

— Жалко! — выдохнул он.

Когда знаменитый чародей, которому почти все женщины его окружения наскучили слишком большой уступчивостью, покидал уборную, у него было чувство, что, как только он оставит Дору Мартин, она за его спиной превратится в русалку, или в гнома, или в какое-нибудь еще существо, уже столь необычайное, что никто даже не знает его имени.

Изошренное и странное целомудрие великой актрисы настроило Профессора на задумчивый лад, и он не сразу узнал наряженного малого, который, улыбаясь, снял перед ним пеструю шляпу с пером. Лишь потом он понял, что это Хефген приветствовал его с такой подобострастной кокетливостью.

Обстоятельства резко меняются, Хендрик Хефген молодеет. Провинциальная слава, обеспечившая сносную жизнь, позади. Он снова новичок, надо снова заявить о себе. Чтобы

достигнуть верхов — на этот раз самых верхов, — надо на-прячь все силы. Хендрик с удовлетворением замечает, что его силы не иссякли, они в полной боевой готовности. Он подобрался, скинул почти весь лишний жир. Его движения — движения воина и танцора. Кто умеет так улыбаться, кто умеет так сверкать глазами, непременно добьется успеха. В голосе его уже звучит радость одержанных побед. Их пока еще нет, но они не заставят себя ждать.

С вдумчивым интересом, в котором подлинное участие смешано с холодным, отчужденным любопытством, Барбара наблюдает за новым разбегом своего супруга. Полупрезрительно-полувосхищенно она следит за Хендриком: он все время в пути, все время в действии, вблизи великих свершений, так и развеваются полы кожаного пальто, так и мелькают сандалии. Барбара вернулась к Хендрику, как это предрекал ее друг Себастьян. И она не раскаивается. Преображенный, весь натянутый, как струна, Хендрик, ютящийся вместе с ней в тесных мебелишках, нравится ей куда больше провинциального кумира, уже оплывшего жирком, устраивавшего приемы в «Г. Х.» и пытавшегося изображать буржуазного супруга в уютной квартире консульши Мёнкеберг. Барбара не так уж плохо себя чувствует в двух темных комнатах, которые она делит теперь со своим Хендриком. Ей нравится встречаться с ним по вечерам, после спектакля, в каком-нибудь мрачном маленьком кафе, где электрический рояль жалуется в полутьме, где пирожные будто замешаны из глины и картона и где нет знакомых.

Барбара с захватывающим интересом слушает, как Хендрик с дрожью в голосе суетливо говорит о дальнейшем ходе своей карьеры. В такие минуты она знает точно: он не притворяется. Его бледное лицо в полутьме убогой кондитерской, наполненной сомнительными запахами, словно фосфоресцирует, как гнилое дерево в ночи. Жадный рот с чувственными, красиво изогнутыми губами улыбается. Сильный подбородок с примечательной ямочкой посередине властолюбиво выдвинут вперед. Блестит монокль. Широкие, покрытые рыжими волосками руки, которые с помощью таинственных сил кажутся красивыми, взволнованно играют скатертью, спичками, чем попало.

Хендрик лихорадочно рассказывает о своих надеждах, планах, выкладках. То, что Барбара не отстраняется с высокомерием, а, напротив, во всем принимает участие, придает ему

энергии, подстегивает честолюбие. О да, Барбара принимает участие в его карьере самым активным образом. Неспроста у нее это хитрое лицо мадонны. Она хитра. Она надевает черное шелковое платье и наносит визиты Профессору, передает ему приветы от своего отца, тайного советника. Великий властелин всех театров Курфюрстендамм милостиво принимает супругу молодого актера, потому что она — дочь тайного советника, а его имя так часто встречается в газетах, и недавно Профессор встретил его у министра. Дворец Профессора мог бы служить дворцом правящему государю. И владелец всей этой барочной мебели, гобеленов и картин старинных мастеров благосклонно смотрит на смуглые руки и лукаво-меланхолическое лицо юной посетительницы.

— Так, значит, вы замужем за этим Хефгеном, — говорит он скрипучим голосом, закрывая долгий осмотр. — Н-да, наверное, что-то в нем есть...

Все это служит, конечно, на пользу Хендрику; с другими властителями театров на Курфюрстендамм, с господином Кацем и фрейлейн Бернгард у него и без того отличные отношения. С господином Кацем, ведающим всеми административными делами, который вовсе не всегда такой Наполеон, каким иногда хочет казаться, артист Хефген играет в карты с фрейлейн Бернгард — влиятельной и энергичной секретаршей — плотной маленькой брюнеткой в пенсне и с губами негритянки он держится так же кокетливо, как когда-то с директором Шмицем. Кто знает? Может быть, если вдруг распахнуть дверь бюро, рискуешь застать его у нее на коленях? Во всяком случае, кое-кто слышал, как Хендрик Хефген, который всего лишь две недели как в этом театре, называет строгую фрейлейн Бернгард Розой. И ему это позволяют. Далеко пошел! Многие ли из самых блистательных артистов вообще удостоились чести узнать, что ее зовут Розой?

Неплохое начало берлинской карьеры — перешептываются коллеги. Его красивая жена посещает Профессора, с Кацем он играет в карты, и самой фрейлейн Бернгард он щекочет подбородок. О, из него выйдет толк! И скоро, очень скоро.

Сначала его замечают в маленькой роли. Но его замечают, газеты уже упомянули «способного господина Хендрика Хефгена», а он ведь и сыграл-то всего-навсего пьяного молодого крестьянина в русской пьесе, который выходит, шатаясь, и бормочет несурязицу, но зато как он танцует! Берлинская

публика в восторге от способного ученика принцессы Тебаб: когда он кончает танец, гремят аплодисменты. С какой одержимостью этот малый выбрасывает ноги и руки! Всех восхищает экстатическое выражение, замеченное на его лице во время танца, Роза Бернгард, которую обступают в буфете представители прессы и дамы из общества, восклицает:

— В этом человеке есть что-то от Вахха!

Публика, отвлекшись тысячью забот и удовольствий, скоро забывает имя одержимого танцора. Но посвященные — те, кто задает тон, — заметили первый берлинский успех Хендрика. О втором его успехе уже говорит столица.

В сенсационной пьесе, в сенсационной постановке актеру Хефгену удастся сосредоточить на себе интерес публики и прессы. О нем говорят еще больше, чем об авторе взволновавшей всех драмы «Вина», — о таинственном неизвестном, чья загадочная личность служит излюбленной темой дискуссий в кафе и театральных канцеляриях, в салонах и редакциях газет. Кто прячется под псевдонимом Рихард Лозер и в своей трагедии изображает такую бездну греха, бедствий и заблуждений? Где найти этого мага, водящего нас по путаным лабиринтам мрака и грязи, разоблачающего порчу времени, большие страсти, страдания и муки? Одно несомненно: автор мрачно-увлекательной драмы, так смело и эффективно сочетавший столь разнородные течения, как символизм и натурализм, явно не профессионал, но одиночка, чуждый суете литературного рынка. Литераторы, всегда подозрительные к собственной профессии, клянутся: этот не литератор. Он не знаком с испытанными, привычными ходами и клише, все в нем — гениальная непосредственность. До этого дня он не писал ни строчки. Он молодой невропатолог — уверяют иные, особенно желающие прослыть всезнайками, — и живет он в Испании. На письма он не отвечает, все переговоры с ним ведутся через многочисленных посредников. Все это безумно интересно, обо всем без конца говорят высоко залетевшие снобы.

Молодой невропатолог, и живет он в Испании: что ж, эта версия вполне правдоподобна, ей верят, она имеет успех. Ведь только невропатолог может так тонко разбираться в извращениях человеческой души, приводящих к чудовищным преступлениям. Как он все понимает! В его драме представлены все мыслимые грехи! На сцене — общество проклятых,

они действуют и страдают. Каждый персонаж пьесы словно означен мрачным клеймом на лбу, и дамы Груневальда и Курфюрстендамм приходят в восторг.

Но самый разложившийся из всех разложившихся на сцене — Хендрик Хефген, за что его и награждают самой бурной овацией. По бледной inferнальной физиономии, по глухому, утомленному голосу ясно, что ему близки все пороки и что он умеет из них извлекать финансовые выгоды. Очевидно, он вымогатель крупного масштаба; стервозно улыбаясь, он бессовестно губит молодых людей. Один из них кончает самоубийством прямо на сцене, а Хендрик — руки в брюки, сигарета в зубах, монокль в глазу — небрежной походкой проходит мимо трупа. Публика в ужасе осознает: вот оно — воплощение зла. Он так законченно, так абсолютно воплощает зло! Это редкостный феномен. Минутами кажется, что он сам в ужасе от своей абсолютной низости. Тогда лицо его делается неподвижно, бело, рыбы, бриллиантовые глаза безнадежно косят, а впалые виски выглядят особенно страдальчески.

Хефген изображает перед богатой публикой аристократического берлинского Запада предельную извращенность, и он производит сенсацию. Подлость в качестве деликатеса для богачей — вот средство Хефгена, его путь к карьере. Но как он это делает! Расслабленная, но и напряженная мимика вызывает восхищение, особенное восхищение вызывают его небрежно-мягкие, грациозно-коварные жесты.

— Ах, у него прямо-таки кошачьи ухватки, — восторгается фрейлейн Бернгард, позволяющая ему именовать ее Розой. — Злая кошка! О, как божественно он зол!

Его манера говорить — хриплый шепот, временами переходящий в обворожительное пение. Эту манеру уже копируют в менее значительных театрах.

— Ну, что я говорила? Он свое дело знает, — говорит Дора Мартин Профессору, и тот уже не спорит с ней.

— Ну да, — произносит он скрипучим голосом, щелкает языком и смотрит мечтательно. В глубине души он «этого Хефгена» все еще не принимает всерьез, как в свое время Оскар Х. Кроге. «Комедиант», — думает Профессор. Так думал и Кроге.

Ослепительный комедиант — это находят критики, это находят дамы, это находит фрейлейн Бернгард, этого уже не могут отрицать коллеги. Пьеса «Вина» своим необычным

успехом обязана главным образом Хефгену. Спектакль ставится сто раз подряд, Профессор наживает огромные деньги; свершилось невероятное: Хендрику повышают жалованье еще во время сезона, в договоре такое не предусмотрено — фрейлейн Бернгард и Кац выхлопатали это у своего знаменитого шефа.

Эту вещь можно бы ставить и сто пятьдесят и двести раз. Но просачиваются слухи об авторе, и они действуют отрезвляюще. Вдруг все о нем становится известно. Вовсе он не какой-то там невероятный невропатолог из Испании, не посторонний, знающий лишь бездны человеческой души и не ведающий банальных мистерий театрального обихода. Он вовсе не благородный незнакомец. Он просто господин Кац, многим наскучивший и насоливший. Разочарование всеобщее. Господин Кац, ловкий делец, написал драму «Вина»! И вдруг все разом находят, что вся пьеса — скопление вульгарных мерзостей и в той же степени безвкусна, как и незначительна. Все чувствуют себя попавшими впросак, все придерживаются того взгляда, что господин Кац — дикий наглец. Тоже еще Достоевский! С каких это пор? — раздражаются в задающих тон кругах. Господин Кац — администратор и консультант Профессора. Должность вполне завидная. И никто не дал ему права выдавать себя за испанского невропатолога и погружаться в бездны человеческой души. Драму «Вина» надо снять с репертуара!

Капризное общественное мнение отвернулось от Каца. Но дело сделано, Хефген пробился и своей удивительной злобой окончательно завоевал все сердца. Он может быть доволен первым берлинским сезоном, у него все основания для отличного настроения: все считают его восходящей звездой.

Его договор на следующий сезон, 1929/30, выглядит уже совсем по-иному: жалованье увеличено почти втрое, Профессору пришлось на это пойти, Хефген — нарасхват.

— Ну что ж, теперь вы сможете себя обеспечить свежими сорочками и лавандой, — визгливо-скрипучим голосом говорит Профессор новой звезде.

И Хефген с неотразимой улыбкой парирует:

— Одеколон, господин Профессор! Я пользуюсь только одеколоном!

Вот и лето. Хендрик съезжает из двух мрачных комнат, снимает светлую квартиру на Новом Западе, покупает жел-

тые туфли и костюмы мягких тонов, учится водить машину, ведет переговоры с несколькими фирмами о покупке элегантного лимузина с откидным верхом: он хочет купить его по рекламной цене. Барбара едет к генеральше в имение. Удачливый супруг интересуется ее меньше, чем дерзающий, дрожащий от неудовлетворенного честолюбия. Фрау фон Герцфельд приезжает в гости, чтобы помочь Хендрику обставить новую квартиру. Она выбирает модную стальную мебель, в качестве украшений на стены — репродукции Ван-Гога и Пикассо. Все голо, элегантно, все претендует на изысканность. Хендрик упивается восхищением фрау фон Герцфельд, как заслуженную дань, принимает ее любовь, кажется, еще разросшуюся. Гедда отказалась от всякой иронии. С жадной грустью, со смиренной страстью следят за возлюбленным ее нежные, золотисто-карие глаза.

— Бедная маленькая Зиберт совсем побледнела от тоски по вас, — сообщает она, утаив при этом, что сама дошла до того, что однажды плакала вместе с Ангеликой — горько и долго — о том, что утратила, никогда не имел.

Фрау фон Герцфельд позволено провожать Хефгена на киностудию. Этим летом он впервые снимается в кино. В детективе «Держите вора» он играет главную роль великого Неизвестного — таинственного преступника, который большей частью появляется в черной маске. Все на нем черное — даже рубашка; по цвету одежды можно судить о мраке его души. Его называют Черным Сатаной, он главарь банды фальшивомонетчиков, торгует наркотиками, грабит банки, и у него на совести уже несколько убийств. Черным Сатаной руководит не только корыстолюбие и жажда приключений, но и соображения принципиального характера. Когда-то ему очень не повезло с молоденькой девушкой, и он превратился во врага рода человеческого. Для него стало сердечной потребностью творить зло и беды, он преступник по убеждению; в этом он признается незадолго до своего ареста в кругу сотоварищей, которые удивляются ему и боятся его, ибо они воруют из менее сложных побуждений. Они что-то благоговейно и смущенно бормочут, узнавши, как необычно обстоит дело с их шефом Черным Сатаной, что он, оказывается, не всегда был преступником, а совсем наоборот — был гусарским офицером. В течение этой драматической сцены злодей снимает маску; его лицо — под котелком, над закрытой темной рубашкой — ужасает своей бледностью, но все еще произво-

дит впечатление аристократизма и трагичности, несмотря на свою порочность.

Авторитетных деятелей кино очень впечатляет эта жесткая, страдальческая мина. Хефген полон неожиданностей, он своеобразен, он даст хороший сбор как в столице, так и в провинции. Так говорят авторитетные господа, и предложения, которые получает от них Хефген, превосходят все его надежды. Кое от чего приходится даже отказаться; его связывает контракт с Профессором. Но могущественные деятели кино тем ревностней за ним охотятся. Они вступают в связь с господином Кацем и фрейлейн Бернгард, предлагают значительные отступные, если им на несколько недель в сезоне предоставят артиста Хефгена. Сколько телефонных переговоров, сколько переписки, сколько встреч! Бернгард и Кац неуступчивы, даже за огромные деньги они не согласны отказаться от своего любимца. Хефгена домогаются. Всем он нужен. А он сидит в своей голой изысканной квартире со стальной мебелью, стервозно улыбается, иронически комментирует борьбу между театром и кино за его драгоценную особу.

Вот она, карьера! Великая мечта воплощается в действительность. Надо только уметь мечтать, думает Хендрик, из смелой мечты всегда родится реальность. Ах, она еще прекрасней, чем он мечтал! В каждой газете, которую он раскрывает, он ищет только свое имя — опытная Бернгард заботится о таких публикациях, и теперь его имя всегда пишут правильно и почти таким же жирным шрифтом, как имена тех давно испытанных звезд, за славой которых когда-то в ресторане провинциального театра он с такой завистью следил. На титульном листе солидный иллюстрированный журнал помещает фотографию Хендрика. Ну и физиономию скроит Кроге, когда ее увидит! А консульша Мёнкеберг? А тайный советник Брукнер? Все, кто относился к Хефгену скептически и несколько высокомерно, теперь благоговейно содрогнутся, видя, как головокружительно, как круто он поднимается вверх.

В конце сезона 1929/30 Хендрик Хефген стоит значительно выше, чем в его начале. Все ему удастся — сплошные триумфы. В театрах Профессора к нему прислушиваются чуть ли не больше, чем к самому шефу (который, впрочем, редко бывает в Берлине, все больше в Лондоне, Голливуде или Вене). Хефген правит господином Кацем и мадам Бернгард.

Давно уже он позволяет себе так же бесцеремонно обращаться с обоими, как некогда со Шмицем и с фрау фон Герцфельд. Хефген определяет, какие пьесы принимать, от каких отказываться, вместе с Бернгард распределяет роли среди артистов. Авторы обхаживают его; артисты, стремящиеся выступить, обхаживают его; свет — или клика богатых снобов, так себя именующая, — обхаживает его, ибо он на вершине.

Все снова как в Гамбурге, но в большем масштабе, в других измерениях. Шестнадцатичасовой рабочий день, а в перерывах интересные нервные припадки. В элегантном ночном ресторане «У дикого всадника», где Хендрик с часу ночи до трех часов утра собирает вокруг себя обожателей, он иногда вдруг падает, держа в руке стакан с коктейлем, с высокой табуретки. Маленький обморок, ничего страшного, однако же все присутствующие дамы визжат. Фрейлейн Бернгард спешит с нашатырем. Когда артист Хефген в таком положении, всегда вблизи находится преданная женщина. Он снова довольно часто позволяет себе эти маленькие припадки: сначала дрожь или тихий обморок — потом конвульсивные вскрики. Они на него хорошо действуют. Он встает освеженным, как из целительной ванны, полный новых сил для многотрудной, изнуряющей, полной наслаждений жизни.

Впрочем, теперь ему уже нет нужды столь часто прибегать к спасительным припадкам. Принцесса Тебаб снова рядом. В течение первой берлинской зимы он оставлял без ответа грозные письма черной дочери вождя, выполненные в причудливом стиле и полные орфографических ошибок. Но теперь Барбара почти окончательно покинула его, она не выносит суеты блистательного супруга; все реже она возвращается в Берлин, ее комната в изысканных апартаментах у площади Рейхсканцлера почти все время пустует, она предпочитает более тихие помещения в доме тайного советника или на вилле у генеральши. И Хендрик решается послать своей Джульетте деньги на дорогу — жизнь без нее лишена остроты, унылые дамы, фланирующие в высоких сапожках по Тауэнтцинштрассе, не могут ее заменить. Принцесса Тебаб не заставляет себя долго упрашивать. Она тотчас является в Берлин.

Хендрик снимает ей комнату в отдаленном районе и минимум раз в неделю наносит туда визиты; как таящийся преступник, закутавшись шарфом до самого подбородка и глу-

боко надвинув шляпу на лоб, он крадется к возлюбленной.

— Если меня накроют в таком наряде, — шепчет он, влезая в свой тренировочный костюм, — я пропал! Мне крышка!

Принцесса Тебаб забавляется его страхом; она смеется сипло и от всего сердца. Ради удовольствия видеть, как он трясется, и чтобы вытрясти из него побольше денег, она предвещает ему уже в сотый раз, что придет в театр и завизжит, как дикая кошка, когда он выйдет на сцену.

— Вот увидишь, малышка, — дразнится она. — Правда, я так и сделаю как-нибудь на большой премьере вот хоть на следующей неделе. Надену пестрое шелковое платье, сяду в первый ряд. Вот будет скандал!

И темная барышня возбужденно потирает руки. Потом она требует от него сто пятьдесят марок авансом прежде, чем позволить ему репетировать новое па. Он высоко вознесся — что же, и она стала более требовательной. Теперь она душится дорогими духами, во множестве покупает пестрые шелковые платки, звенящие браслеты и глазированные фрукты, которыми любит лакомиться, доставая их грубыми, ловкими пальцами из больших кулчков. Когда она жует, ухмыляется и, довольная, чешет в затылке, она невероятно похожа на большую обезьяну. Хендрик должен платить. И он платит. Ему нравится, что Черная Венера так цинично с ним обращается.

— Ведь я люблю тебя, как в первый день! — говорит он ей. — Я люблю тебя даже больше, чем в первый день. Только когда тебя нет, я по-настоящему понимаю, что ты для меня значишь. Строгие дамы с Тауэнтцинштрассе невыносимо скучны.

— А твоя жена? — выясняет дочь джунглей с мрачным хихиканьем. — А твоя Барбара?

— Ах, она... — выговаривает Хендрик столь же горестно, сколь и презрительно и отворачивает бледное лицо.

Барбара все реже наезжает в Берлин; да и тайный советник почти не показывается в столице, где он прежде по нескольку раз за зиму выступал с докладами и бывал на ответственных встречах. Тайный советник говорит:

— Я теперь не люблю бывать в Берлине. Да, я даже начинаю бояться Берлина. Здесь готовится нечто приводящее меня в ужас — и самое страшное то, что люди, с которыми я общаюсь, словно не замечают опасности. Все будто ослеп-

ли. Развлекаются, спорят, принимают себя всерьез; тем временем небо мрачнеет, и никто не замечает близящейся грозы, а она уже совсем надвинулась. Нет, я теперь не люблю бывать в Берлине. Может быть, я его избегаю, чтобы не презирать его?..

И все же он еще раз приезжает; но не для того, чтобы принять участие в ответственной встрече или читать лекции в университете. Нет — для того, чтобы выступить с большой речью о культуре и политике. Название речи: «Угроза варварства»; этой речью тайный советник хочет — в последний раз — предостеречь интеллигенцию от надвигающейся реакции, нагло именующей себя «пробуждением» и «национальной революцией».

Старик в течение полутора часов говорит перед публикой, и она бушует — буря аплодисментов, но и шумный ропот протеста.

Во время своего последнего пребывания в столице буржуазный ученый, чья поездка в СССР вызвала ненависть правых и некоторую подозрительность демократов, ведет беседы со многими своими друзьями, с политическими деятелями, писателями, профессорами. Все эти беседы приводят к резким разногласиям. Друзья спрашивают не без сарказма:

— Куда делась ваша духовная терпимость, господин тайный советник? Где ваши демократические принципы? Мы вас не узнаем. Вы же рассуждаете как радикальный политикан, а не как культурный, рассудительный человек. Все культурные люди должны согласиться, что к этим национал-социалистам существует лишь один подход — воспитательный. Мы должны все сделать для того, чтобы укротить этих людей с помощью демократии. Мы должны их привлечь на свою сторону, а не стараться их победить. Мы должны убедить этих молодых людей стать на сторону республики. Впрочем, — добавляет такой социал-демократический или либеральный господин доверительно-приглушенным голосом, пронзая Брукнера проникновенным взглядом, — впрочем, дорогой тайный советник, опасность грозит слева.

Брукнеру приходится выслушать кое-что и о «здоровых и конструктивных силах», которые, «несмотря ни на что», имеются в национал-социализме; и о благородном национальном пафосе молодежи, которую «нам, старшим», пора уже не отталкивать своим непониманием, и о «политическом инстинкте немецкого народа», о его «здоровом смысле», кото-

рый всегда сумеет предотвратить самое худшее («Германия — не Италия»). После чего советник в сердцах покидает столицу, порешив про себя никогда туда не возвращаться.

Тайный советник Брукнер избегает общества, в котором Хендрик Хефген празднует свои триумфы.

Берлинские салоны гостеприимно распахивают двери тому, у кого есть деньги, тому, чье имя мелькает на страницах бульварной прессы. На паркетах Тиргартена и Груневальда встречаются спекулянты и автогонщики, боксеры и знаменитые артисты. Великий банкир горд, если принимает у себя Хендрика Хефгена; конечно, ему было бы приятней видеть у себя Дору Мартин, но Дора Мартин к нему не пойдет, откажется или явится максимум на десять минут.

Конечно, и Хефген не засиживается до полуночи. После вечернего представления ему надо еще в мюзик-холл, где за триста марок он поет шлягер на семь минут. Шикарное общество, которому он оказывает честь своим присутствием, подпеваает припев шлягера, ставшего благодаря Хефгену популярным:

Невозможно описать —
Что ж, мне вовсе одичать?
О боже,
Что же
Сделалось со мной?

Как прекрасен, как изыскан Хендрик — невозможно описать. Раскланиваясь, улыбаясь, сопровождаемый господином Кацем и фрейлейн Бернгард — верными спутниками, он проходит мимо еврейских финансовых магнатов, литераторов, отличающихся политической прытью и творческим бесплодием, и спортсменов, не прочитавших ни одной книги и оттого превозносимых этими самыми литераторами до небес.

— Ну чем не лорд? — шепчут увешанные бриллиантами дамы восточного типа. — И эта порочная черта у рта, и эти высокомерные глаза! А фрак у него — от Книге, он стал ему в тысячу двести марок!

В одном углу салона утверждают, что у Хефгена связь с Дорой Мартин.

— Да нет же, он спит с фрейлейн Бернгард! — возражают посвященные.

— А жена? — спрашивает несколько наивный молодой

человек, новичок в берлинском свете. В ответ ему раздается лишь презрительный смех. Семью Брукнер нельзя принимать всерьез с тех пор, как старый тайный советник так непристойно и глупо проявил себя в политическом отношении. Ученому не стоит вмешиваться в дела, в которых он ничего не смыслит, — соглашаются все, — и кроме того, когда плывут против течения, это похоже просто на глупое упрямство. Конечно, в перспективном национал-социалистском движении наряду с положительными элементами содержатся и кое-какие мелкие ошибки, например, этот неприятный антисемитизм... Но если хочешь быть современным человеком, надо же проявить понимание всего движения в целом...

— То, что либерализм пройденный этап, — ведь факт, о котором не имеет смысла дискутировать, — говорят литераторы и боксеры, и банкиры им не противоречат.

— Как мило с вашей стороны, что вы нашли часочек для нас, господин Хефген! — заливается соловьем хозяйка и протягивает очаровательному гостю тарелочку с икрой. — Ведь мы же знаем, как вы заняты. Разрешите познакомить вас с двумя вашими страстными поклонниками? Это господин Мюллер-Андреа, который вам наверняка знаком своими очаровательными беседами в «Интересном журнале». А это наш друг, знаменитый французский писатель Пьер Ларю...

Господин Мюллер-Андреа — элегантный седовласый господин с выпуклыми водянисто-голубыми глазами на красном лице. Всем известно, что он процветает благодаря связям своей красавицы жены, происходящей из аристократического дома. От нее он узнает все берлинские сплетни, и оттуда черпает материал для статей в «Интересном журнале». В этом скандальном листке, пользующемся дурной славой, господин Мюллер-Андреа еженедельно выступает со своей болтовней под заголовком «Знаете ли вы?». Благодаря этим занимательным статьям «Интересный журнал» и стал так популярен, ибо в них сообщается, что супруга промышленника А. съездила с лирическим тенором Б. в Биарриц и что графиня С. каждый день появляется на танцах в маленьком кафе в Адлоне, и не столько из-за хорошего оркестра, сколько из-за танцора... Подобными открытиями пленяет читателей господин Мюллер-Андреа. Довольно роскошный образ его жизни держится, впрочем, не на гонорарах за статьи; скорее на тех суммах, которые ему платят за неопубликование кое-чего в беседах. Так, некие дамы уже перепла-

тили уйму денег господину Мюллеру-Андреа за то, что их имя не появилось под рубрикой «Знаете ли вы?». Господин Мюллер-Андреа — гнусный вымогатель, никто этого не отрицает, в том числе и он сам; и никто не поднимает из-за этого шума.

Другой «страстный поклонник» артиста Хефгена — месье Пьер Ларю — человек маленького роста. Он подает Хендрику маленькую, худую ручку и говорит жалобным сопрано:

— Ах, как интересно, дорогой господин Хефген! Могу ли я записать ваш адрес?

И отработанным движением он достает толстую записную книжку.

— Я надеюсь, вы отобедаете со мной на днях в «Эспланаде»? — восклицает он своим жалобным голосом сирены. На стародевичьем, остреньком, сморщенном личике месье Ларю удивительно острые и проникновенные глаза. Они светятся почти восторженным любопытством. Они сверкают той жаждой людей, имен и адресов, которая составляет главный импульс и единственное содержание его жизни. Месье Ларю умер бы, как рыба, вытщенная из воды, в первый же день, когда бы он ни с кем не познакомился.

Но эта прискорбная ситуация не грозит маленькому коллекционеру знаменитостей по крайней мере до тех пор, пока он в Берлине. Ибо иностранцам в берлинских салонах легко: гость, с сильным акцентом говорящий по-немецки, почти такое же украшение общества, как боксер, графиня или кинозвезда, а тем паче иностранец при деньгах, устраивающий интересные обеды в гостинице «Эспланада», представленный нескольким королям и даже знакомый с принцем Уэльским. Перед месье Ларю распахнуты все двери, его принял даже почтенный господин рейхспрезидент. Он наслаждается обществом самых реакционных и самых избранных семей в Потсдаме. Его видят и в компании молодых радикалов, которых он в качестве «mes jeunes camarades communistes»* любит вводить в дома директоров банков.

— Вчера я восхищался вами в Зимнем саду, — говорит Пьер Ларю после того, как записал телефон Хефгена. И он шутиливо, но жалобно повторяет популярный припев: «Невоз-

* «моих молодых товарищей коммунистов». (Франц.).

можно описать...» Потом он коротко смеется, и его смех звучит, как шелест осеннего ветра в сухой листве.

— Ха-ха-ха, — смеется месье Ларю. Он потирает бледные костлявые руки и опускает подбородок в толстый черный шерстяной шарф, которым он обмотал шею над смокингом, хоть в покоях очень тепло.

Невозможно описать — мир такого не видывал — такое может быть лишь однажды — такое не повторится! В Германии все великолепно — куда уж лучше! Германия не знает забот! Да и где он, кризис? И где они, безработные, где они, политические бои? И где она сама, республика, утратившая всякое достоинство, более того — потерявшая инстинкт самосохранения и перед лицом всего мира ставшая предметом глумления самого наглого и жестокого врага? (А враг этот находится на содержании покровительствующих ему богачей, ведающих лишь один страх — страх перед таким правительством, которому пришло бы в голову заставить их немного раскошелиться.) Где они, бои в залах собраний? Где они, уличные стычки по ночам?

Но разве уже не в разгаре гражданская война, ежедневно требующая новых жертв? Разве молодчики в коричневых рубашках не устраивают резню рабочих, разве руководитель «конструктивных элементов» — любимец магнатов тяжелой промышленности и генералов — не посылает бессовестных поздравительных телеграмм скотам-убийцам? И разве провокатор, заявляющий о своем намерении «легально» захватить власть, не подстрекает к ночам «длинных ножей» и не похваляется, что с его приходом к власти «покатятся головы»? И почему ему позволено ежедневно выкрикивать на весь мир столько угроз и подлостей своим лающим голосом?

Невозможно описать! Министерства рушатся, образуются заново, но не делаются от этого умней. Во дворце distinguished генерал-фельдмаршала крупные землевладельцы интригуют против дрожащей республики. Демократы клянутся, что враг — слева. Главы полиции, именующие себя социалистами, приказывают стрелять по рабочим. А лающий голос ежедневно безнаказанно предвещает «системе» судебные расправы и кровавую гибель.

Такого еще не видел мир. И неужели высокооплачиваемый комедиант не видит, против кого шлет проклятия гнусный голос цепного пса? Неужели артисту Хефгену не бро-

сается в глаза тот факт, что мероприятия, сомнительным героем которых он является, зловещи по своей сути и что танец, которым он снискал такую популярность, это танец на краю пропасти?

Хендрик Хефген, специализировавшийся на ролях элегантных негодяев, убийц во фраках, исторических интриганов, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не замечает. Он столь же мало живет в городе Берлине, сколь мало жил когда-то в городе Гамбурге. Он не видит ничего, кроме сцены, киноателье, уборных, нескольких ночных ресторанов, нескольких роскошных залов и салонов. Ощущает ли он смену времен года? Осознает ли, что идут годы — последние годы встреченной такими надеждами и так жалко доживающей свой век Веймарской республики: годы 1930, 1931, 1932-й? Артист Хефген живет от премьеры к премьере, от фильма к фильму; он считает «съёмочные дни», «репетиционные дни», но он вряд ли замечает, как тает снег, как деревья и кусты набухают почками, зеленеют, как ветер приносит ароматы весны, как распускаются цветы и как текут ручьи. Запертый, как в тюрьме, в собственном тщеславии, ненасытный и не знающий усталости, вечно в наивысшем истерическом напряжении, артист Хефген ликует и страдает от своей судьбы, кажущейся ему исключительной. И не понимает, что его взлет — всего лишь нюанс, всего лишь узор на канве, а канва — это антидуховное, обреченное, мчащее к гибели движение.

Невозможно описать — невозможно даже себе представить все затеи и сюрпризы, с помощью которых он привлекает к себе общественный интерес. Договор с театрами Профессора он расторг, к крайнему огорчению фрейлейн Бернгард, чтобы быть свободным для всех открывающихся ему соблазнительных возможностей. Теперь он играет и ставит то тут, то там — когда доходная деятельность в кино оставляет ему время для сцены. На экране и на сцене его видят то в изящной одежде апаша (красный шарф, черная рубашка, волосы белокурого парика низко падают на лоб, делая его лицо еще преступней); то в вышитом костюме элегантного князя в стиле рококо; то в пышном уборе восточного деспота; то в римской тоге, то в костюме начала XIX века; то он предстает прусским королем, то выродившимся английским лордом; то в костюме для гольфа, то в пижаме; то во фраке, то в форме гусара. В большой оперетте он поет не-

лепости с таким сосредоточенным видом, что глупцам они кажутся остроумными; в классических драмах он передвигается с такой изящной небрежностью, что творенья Шиллера или Шекспира кажутся забавными пьесами легкого жанра; светские фарсы, состряпанные в Будапеште или Париже по дешевым рецептам, он сдабривает изощренными эффектами, заставляющими забыть о ничтожности самих поделок. Этот Хефген — мастер на все руки! Его блистательная, не знающая предела, дерзкая способность к перевоплощению просто гениальна! Если его ипостаси рассматривать по отдельности, вероятно, придешь к заключению, что ни одна не безупречна: как режиссер Хефген никогда не дотянет до Профессора; как актер он не может тягаться со своей великой конкуренткой Дорой Мартин, которая остается первой звездой на небосводе, по которому он передвигается мерцающей кометой. Но все вместе создает ему славу. Публика в один голос твердит: «Потрясающе, и как это ему все удается!» И пресса в более округлых оборотах повторяет то же мнение.

Он любимец левых газет и баловень больших еврейских салонов. Именно то обстоятельство, что он не еврей, делает его особенно ценным для этих кругов; ибо берлинская еврейская элита «любит блондинов». Крайне правые газеты, ежедневно пропагандирующие обновление немецкой культуры путем возврата к подлинной народности, к «крови и почве», относятся с недоверием к артисту Хефгену; они его считают «большевиком». Тот факт, что его ценят еврейские редакторы, вызывает к нему недоверие в той же степени, как и его пристрастие к французским пьесам и эксцентрически-антинародная светскость его манер. Драматурги-националисты ненавидят его за то, что он отвергает их пьесы. Цезарь фон Мук, к примеру, певец поднимающегося национал-социалистского движения, в чьих драмах задушенные евреи и расстрелянные французы заменяют изящество диалогов, — Цезарь фон Мук, высший авторитет в вопросах культуры в лагере самых решительных ее врагов, пишет о новой постановке оперы Вагнера, которой Хефген только что произвел сенсацию: «Это самый отвратительный пример бульварного искусства, гнилого экспериментаторства под еврейским влиянием и наглое осквернение немецкого культурного наследства. Цинизм господина Хефгена не знает границ, — пишет Цезарь фон Мук. — Чтобы доставить новое развлечение публике с Кур-

фюрстендамм, он замахивается на достойнейшего, величайшего немецкого мастера — Рихарда Вагнера». Хендрик вместе с несколькими радикальными литераторами весело забавляется над стилем этого писаки, защитника «крови и почвы».

Хефген и не думал порывать с коммунистическими и околокоммунистическими кругами. И когда он угощает в своей квартире на площади Рейхсканцлера молодых писателей и деятелей партии, он все в новых эффектных выражениях заверяет их в своей непримиримой ненависти к капитализму и пламенной вере в мировую революцию. Общение с революционерами он поддерживает не потому только, что думает, что они — чем черт не шутит — все-таки придут когда-нибудь к власти и тогда все его обеды окупятся с лихвой; нет, это делается и для успокоения собственной совести. Ведь хочется быть чем-то больше, чем просто высокооплачиваемый комедиант; не хочется совсем раствориться в суеде, о презрении к которой сам так много болтаешь, находясь на самом деле в ее власти.

Хендрик тешит себя мыслью, что его жизнь имеет содержание, которым не могут похвастаться его коллеги. Вот Дора Мартин, например, великолепная Дора, до сих пор еще на какой-то решающий нюанс более знаменитая, чем он. Что происходит у нее в душе? Она засыпает с мыслью о своих заработках и просыпается с надеждами на новые контракты в кино. Так утешает себя Хендрик, ничего не знающий о Доре Мартин. А вот в его душе происходят самые невероятные вещи!

Связь с Джульеттой, жестокой дочерью природы, держится не только на сексуальном влечении; она сложна, таинственна, и Хендрик придает большое значение этому обстоятельству. Иногда он думает, что его отношения с Барбарой — с Барбарой, которую он называл своим добрым ангелом, — ни в коем случае не завершены, они еще чреватые чудесами, загадками, сюрпризами. Когда, как в ревью, перед его внутренним взором проходят важные события его жизни, он никогда не упускает Барбару, с которой в действительности все больше теряет контакт.

Но самым главным номером в этом списке важнейших переживаний все же остается его революционное мировоззрение. От этого раритета, от этой ценности, так выгодно отличающей его от остальных звезд берлинского театрального

небосклона, он ни за что не хочет отказаться. Поэтому усердно и ловко он поддерживает дружбу с Отто Ульрихсом, оставившим свою должность в Гамбургском Художественном театре и держащим теперь политическое кабаре в северной части Берлина.

— Теперь надо все силы отдавать политической работе, — объясняет Отто Ульрихс. — Мы не имеем права терять время. Решающий день не за горами.

В его кабаре под названием «Буревестник», благодаря качеству и остроте своих постановок привлекающем внимание не только жителей рабочих кварталов, демонстрируют свое искусство молодые рабочие и знаменитые писатели и артисты.

Хендрик считает, что он может себе позволить собственной персоной появиться на тесных подмостках «Буревестника». Ульрихс устраивает празднество по случаю приезда русских авторов, и публике в качестве особого аттракциона предлагается знаменитый артист Хефген из Государственного театра. Но не успевает Ульрихс объявить номер, Хендрик гибко выскакивает из-за кулис в самом своем скромном сером костюме. Да и приехал он сюда не в собственном «мерседесе», а в такси.

— Что еще за знаменитости, что еще за Государственный театр! — выкликает он звонким металлическим голосом и роскошным жестом распластывает руки. — Я ваш товарищ Хефген!

Публика отвечает ему взрывом восторга. На следующий день марксистский критик доктор Ириг пишет в «Новых биржевых ведомостях», что артист Хефген навсегда завоевал сердце берлинского рабочего класса.

Волнующие события в пролетарских пригородах успокаивают совесть, которая могла бы ныть из-за того, что в богатых западных кварталах ставятся лишь светские пьесы. Ведь хочется относиться к авангарду; и не только собственное сознание говорит тебе, что ты передовой; это подтверждают литераторы, а им виднее — вот, например, Ириг, — и нападки уродов вроде Цезаря фон Мука только укрепляют твою веру в себя. Да, духовный авангард! Постановки вагнеровских опер — смелое новаторство, куда как понятно, что они приводят в бешенство отсталых. Снова стали поговаривать и о литературной «студии» — о серии наисовременнейших камерных постановок; правда, Хендрик так же мало реализует

этот прекрасный план, как прежде не реализовал идею Революционного театра в Гамбурге, но он часто и заманчиво говорит об этом проекте, а молодые артисты и писатели годами могут тешиться смелой затеей. Когда принадлежишь революционной элите, это приводит к известным затратам: через посредство Отто Ульрихса Хефген переводит суммы — суммы-то незначительные, но их с радостью принимают организации коммунистической партии.

Кто посмеет утверждать, что он живет, ни о чем не раздумывая, суетно, ото дня ко дню? Его прямое участие в великих проблемах времени всякому видно. И Хендрик, в ликующем сознании своего безупречного радикального мировоззрения, презрительно смотрит на таких нерешительных людей, как Барбара, — Барбара, которая в доме тайного советника или в имении генеральши ведет праздное, эгоистическое существование, погрязнув в далеких от жизни интеллектуальных играх и заботах.

Но что знает Хендрик о заботах, об играх Барбары? Что Хендрик знает о людях? Разве он не столь же беззаботен, когда речь заходит о людских судьбах, как в вопросах общественной жизни? Разве был он когда-нибудь занят той, которую называл «смыслом своей жизни», более пристально и нежно, чем маленьким Бёком, ставшим-таки его слугой, или месье Пьером Ларю, устраивающим изысканные ужины в гостинице «Эспланада» в честь «mes jeunes camerades communistes»?

Заботится ли Хендрик, скажем, о внутренней жизни своей подруги Джульетты? Ему от нее надо одно — чтобы она всегда была жестока с ним и всегда в хорошем настроении. Она получает от него солидные суммы и пусть себе размахивает плеткой; чего же ей еще? Хефген никогда не задумывается о том, что бы могли означать эти темные взгляды, которые черная девушка так часто на него устремляет. Может быть, дитя далеких морей тоскует по родным берегам, которые по воле капризной судьбы ей пришлось сменить на сомнительные блага цивилизации? Или загадочное сердце начинает привязываться к бледному, жаждущему страданий другу? Или начинает его ненавидеть? Хендрик ничего не знает. Для него принцесса Тебаб — обольстительная дикарка, освежающая его своей непреклонной силой, когда он перед ней унижается.

О Джульетте он знает так же мало, как о Барбаре или о

своей матери Белле. Он пробегает глазами письма бедной мамы, которой супруг Кёбес и дочь Йози — два бодрых и опасно легкомысленных создания — причиняют столько забот. Отец Кёбес теперь совершенно разорен.

«Кризис! — жалуется в письмах фрау Белла. — Твой добрый отец — одна из многочисленных жертв кризиса».

Все имущество было бы заложено и горький стыд пал бы на семью, если бы Хендрик в самый последний момент не перевел им по телеграфу круглую сумму. Сестра Йози обручается по крайней мере раз в полгода. Фрау Белла каждый раз облегченно вздыхает, когда эти злосчастные связи рвутся.

Вот в Берлин является Николетта; но она вскоре уезжает, повинувшись грозной и жалобной телеграмме своего супруга Мардера.

— Я очень счастлива с ним, — объясняет Николетта и пытается сверкнуть прекрасными глазами, как некогда.

Но потом выясняется, что Мардер вот уже два года в санатории; Николетта проводит время в заботах о нем. Она улыбаётся мягко и задушевно, рассказывая о детской благодарности, которую питает к ней гениальный человек.

— Теперь ему гораздо лучше, — говорит она с надеждой. — Мы скоро сможем уехать на юг, ему нужно солнце...

«Смысл жизни», которым хвастается Хендрик... Николетта любит, в ее жизни есть смысл. И у других... У Отто Ульрикса, например, терпеливо ждущего своего часа.

— Он придет! — обещает верующий себе и верующим друзьям.

«Он придет, этот час», — предсказывает и молодому Гансу Микласу радостный внутренний голос. Имеется в виду тот прекрасный день, когда, наконец, воцарится фюрер и его враги будут уничтожены. Уничтожен будет и самый злейший и отвратительный враг Ганса Микласа — Хефген. Падение этого негодяя, за чьей карьерой, затаясь, издалека наблюдает Миклас, будет самым счастливым событием «великого дня», его сутью.

Ганс Миклас (как и Отто Ульрикс, его политический противник) весь на службе «великому делу», всеобъемлющей цели. Он давным-давно не работает в театре, все время он отдает молодежным организациям национал-социалистского движения; вся его деятельность состоит в том, что в летних

театрах и залах для собраний он разучивает агитационные пьесы с «молодежью» своего фюрера. И эта деятельность утоляет его невежественное и пылкое сердце. Парни хором ревут о том, что они победно разобьют французов и будут вечно хранить верность фюреру; они разучили этот хор под режиссурой молодого Микласа, и тот теперь выглядит гораздо здоровее и свежее, чем в гамбургские времена, даже черные впадины у него на щеках почти прошли.

День близок! Упоительная мысль властвует над Гансом Микласом и Отто Ульрихсом, заполняет их, воодушевляет как и миллионы других молодых людей. Но какого дня ждать Хендрику Хефгену? Он ждет только новой роли.

В сезоне 1932/33 года это будет роль Мефистофеля. Хенрик сыграет его в новой постановке «Фауста», которую Государственный театр ставит к столетию со дня смерти Гёте.

Мефистофель, «странный сын хаоса», — великая роль артиста Хефгена, — ни в одну другую роль он не вкладывал столько пыла. Мефистофель должен стать его шедевром. Уже сама маска его сенсационна: Хефген делает из князя тьмы плута, именно того плута, каким царь небес в беспредельной благодати своей видит это воплощение зла, временами даже удостаивая его своим обществом, поскольку из всех духов отрицанья он «всех менее ему в тягость...». Он играет его трагическим клоуном, дьявольским Пьеро. Наголо выбритый череп напудрен добела, как и лицо; брови гротескно вытянуты вверх, кроваво-красный рот застыл в улыбке. Промежуток между глазами и искусственно приподнятыми бровями выкрашен в самые разные цвета. Какой простор специалистам в косметике! Неслыханные новшества грима! Все цвета радуги смешаны на веках Мефисто и на дугах под бровями: черное переходит в красное, красное в оранжевое, фиолетовое и голубое; тут же и серебряные точки, и умно, продуманно нанесено немного золота. Волнующий пейзаж красок над соблазнительными драгоценными камнями — глазами сатаны!

С грацией танцовщика скользит Хенрик Мефисто в черном шелковом, тесно облегающем костюме по сцене, легко и точно, приводя в замешательство, обольщая; с кроваво-размалеванных, вечно улыбающихся уст слетают каверзные двусмыслицы, рискованные остроты. Кто же усомнится в том, что наводящий жуть элегантный весельчак способен превра-

тяться в пуделя, выбить из дерева винную струю, парить по воздуху, расстелив плащ, — была б у него только охота? Этот Мефисто способен на все! Все в зале чувствуют: он силен — сильнее самого ГОСПОДА БОГА, «с которым он ладит» и к которому обращается с насмешливой куртуазностью. Разве у него недостаточно причин смотреть на него сверху вниз? Он куда остроумней, куда образованнее и, во всяком случае, куда несчастней, чем тот, — может быть, он сильней именно потому, что он несчастный. Неисчерпаемый оптимизм великого старика, заставляющего ангелов состязаться в стихотворных хвалах ему самому и его творенью, и болезненное добродушие отца вселенной производят впечатление наивности, если не старческого маразма, рядом с жуткой меланхолией, ледяной печалью, к которой ставший сатаной любимец господя, проклятый и погибший, вдруг переходит от самой сомнительной веселости. Мороз подирает по коже публику, сидящую в зрительном зале Берлинского Государственного театра, когда из ярко размалеванного рта Хефгена — Мефистофеля летят слова:

...Ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творенье не годится никуда*.

Он уже не движется, этот чересчур проворный арлекин. Он стоит неподвижно. Что это? Страданье? Под пеструю грима — глубокий безутешный взор. Пусть ангелы ликуют вокруг трона господня — они совсем не знают людей. Черт знает людей, он посвящен в их злые тайны, и — ах! — боль за них сковывает его члены, и на лице его застывает маска отчаяния.

После премьеры «Фауста», после оваций артист Хефген запирается у себя в уборной. Он никого не хочет видеть. Но одной посетительнице маленький Бёк не может отказать. Редко случается, что Дора Мартин смотрит спектакли, в которых сама не занята. Ее сегодняшнее появление на премьере вызвало сенсацию. Маленький Бёк отвешивает ей глубокий поклон и отворяет дверь в святилище.

Оба выглядят переутомленными, и Хефген и его соперница по подмосткам. Он измотан и обессилен экстазом игры. Она — заботами, которые ему неизвестны.

* Стихи из «Фауста» Гёте даны в переводе Б. Пастернака.

— Хорошо было, — говорит Мартин тихо, по-деловому и тотчас же, не дожидаясь приглашения, садится на стул. Она вся сжимается, лицо с высоким лбом, широкими детски мечтательными глазами глубоко уходит в бурый мех воротника.

— Хорошо было, Хендрик. Я знала, что у вас получится. Мефисто — ваша великая роль.

Хефген сидит к ней спиной за гримировальным столиком и улыбается ей в зеркало.

— Вы это говорите не без злобы, Дора Мартин.

Она отвечает все так же спокойно, деловито:

— Вы ошибаетесь, Хендрик. Я ни на кого не обижаюсь, я принимаю всех такими, как они есть.

Тут Хендрик поворачивает к ней лицо, с которого уже удалены дьявольские брови и все великолепие красок.

— Спасибо, что пришли, — говорит он мягко, и глаза его сверкают.

Но она отмахивается почти пренебрежительно, будто хочет сказать: оставим эти шутки! Он, кажется, не замечает ее жеста и нежно спрашивает:

— Каковы ваши ближайшие планы, Дора Мартин?

— Я выучилась английскому, — отвечает она.

Он делает удивленное лицо.

— Английскому? Почему? Почему именно английскому?

— Потому что я буду играть в Америке, — говорит Дора Мартин, не отводя от него спокойного, испытующего взгляда.

Так как он все еще играет непонимание: «Почему? Почему именно в Америку?» — она говорит уже нетерпеливо:

— Потому что здесь все пропало, дорогой. Разве вы этого еще не заметили?

Он горячится.

— Что вы говорите, Дора Мартин! Для вас ведь ничего не изменится! Ваше положение непоколебимо! Ведь вас же любят — действительно любят многие тысячи! Никто из нас — вы же знаете, — никто из нас не пользуется такой любовью, как вы.

Тут улыбка ее становится такой грустной и насмешливой, что он умолкает.

— Любовь тысяч! — говорит она почти беззвучно. И пожимает плечами. И — после паузы — мимо Хендрика, в пустоту: — Найдутся другие любимцы.

Он взволнованно продолжает:

— Но театр приносит доходы. Театр всегда будет интересоваться людей, что бы ни случилось с Германией.

— Что бы ни случилось с Германией, — тихо вторит Дора Мартин и внезапно встает. — Ну, так я желаю вам всего хорошего, Хендрик, — говорит она быстро. — Мы долго не увидимся. Я уезжаю на этих днях.

— На этих днях? — спрашивает он смущенно. И она отвечает, устремив вдаль темный взгляд:

— Больше ждать нечего. Мне тут делать нечего.

Потом она добавляет:

— Но вам всегда будет хорошо, Хендрик Хефген. Что бы ни случилось с Германией.

На ее лице под рыжей гривой — пожалуй, слишком большим для узкого, маленького тела — гордость и скорбь. Она медленно идет к двери и покидает уборную Хендрика Хефгена.

О горе! Небо над этой страной стало темным. Бог отвратил лицо свое от этой страны, потоки крови и слез льются по улицам городов.

О горе! Эта страна облита грязью, и никто не знает, когда она вновь очистится — каким покаянием, какими жертвами сможет она искупить свой позор? Кровью и слезами замешана грязь на всех улицах, во всех городах. Все прекрасное — опоганено, все правдивое — оклеветано ложью.



Грязная ложь притязает на власть в этой стране. Она орет, вопит в залах собраний, из микрофонов, со столбцов газет, с киноэкрана. Она разевает пасть, и из этой пасти разит воню, эта вонь многих гонит прочь из этой страны, а те, кто вынужден остаться, страдают, как в вонючем застенке.

О горе! Апокалипсические всадники несутся по земле, здесь они сделали привал и объявили о своей омерзительной власти. Они хотят завоевать весь мир. Это их цель. Они

хотят господствовать над землями и морями. Их уродству должны поклоняться как новой красоте. Там, где сегодня над ними смеются, завтра падут перед ними ниц. Они полны решимости захватить весь мир, унижить его и погубить, как собственную страну, которую они поработили, унизили и погубили. Как нашу бедную родину, над которой потемнело небо, от которой бог отвратил лицо свое. Теперь на нашей родине ночь. Мерзкие господа разъезжают по ее округам в роскошных автомобилях, на самолетах, в специальных поездах. Они колесят по всей стране. На базарных площадях они выкрикивают свою ложь. И в каждом углу, где только объявятся они или их подлые подручные, гаснет свет разума, становится темно.

Артист Хендрик Хефген находился в Испании, когда благодаря интригам во дворце почтенного рейхсгрезидента и генерал-фельдмаршала человек с лающим голосом, которого Ганс Миклас и с ним немало отчаявшихся невежд называли фюрером, стал рейхсканцлером. Артист Хендрик Хефген играл элегантного афериста в детективном фильме. Невдалеке от Мадрида шли натурные съемки. Вечером после напряженного дня он усталый вернулся в свою гостиницу, купил у консьержки газету и испугался. Как? Хвастливый болтун, над которым так часто смеялись в кругу одухотворенных, прогрессивно настроенных товарищей, внезапно стал самым могущественным человеком в государстве? «Ужасно, — подумал артист Хефген, — отвратительный сюрприз! А ведь я был абсолютно уверен, что нацистов не стоит принимать всерьез! Ну и попал я впросак!»

Он стоял в своем красивом весеннем костюме беж в холле гостиницы «Риц», где публика обсуждала зловещие события в Германии и реакцию на них биржи. Бедного Хендрика бросало то в жар, то в холод, когда он думал о том, что ему предстоит. Многие, кому он причинял зло, получают теперь возможность ему мстить. Цезарь фон Мук, например. Ах, и зачем это он вконец испортил отношения с певцом «крови и почвы» и так решительно отвергал его пьесы? Какая непростительная ошибка! Теперь все ясно, но уже слишком поздно. Слишком поздно, ведь среди нацистов сплошные враги. Потрясенному Хендрику пришлось вспомнить и о маленьком Гансе Микласе — чего бы он не дал, чтобы сте-

реть, уничтожить тот злосчастный инцидент в Гамбургском Художественном театре! Ведь и повздорили-то из-за пустяка! Но кто бы мог подумать! А Лотта Линденталь? Очень возможно, что она стала важной персоной и может помочь ему или нагадить...

Хендрик вошел в лифт, у него дрожали колени. От встречи с коллегами, назначенной на сегодняшней вечер, он отказался. Приказал подать обед в номер. Выпил полбутылки шампанского. Настроение чуть поднялось.

Надо сохранять самообладание, не поддаваться панике. Так называемый фюрер, стало быть, теперь рейхсканцлер — скверно. Но как бы то ни было, он пока еще не диктатор и, по всей вероятности, никогда им не станет. «Люди, которые привлекли его к власти, немецкие националисты, уж позаботятся о том, чтобы он не сел на голову», — думал Хендрик. Потом он вспомнил о больших оппозиционных партиях, ведь они же пока существуют. Социал-демократы и коммунисты ведь окажут сопротивление — может быть, даже вооруженное, — так, не без веселья и не без страха решил Хендрик Хефген, сидя в гостиничном номере над бутылкой шампанского. Нет, до национал-социалистской диктатуры еще далеко! Может быть, даже ситуация круто изменится: попытка отдать немецкий народ на произвол фашизму может окончиться социалистической революцией. Это вполне даже возможно, и тогда-то выяснится, что артист Хефген невероятно хитро все предвидел. Но предположим даже, что нацисты останутся у власти: чего, собственно, Хефгену их бояться? Он не принадлежит ни к одной партии, он не еврей. То обстоятельство, что он не еврей, вдруг показалось Хендрику невероятно утешительным и полным значения. Какое неожиданное и важное преимущество! Раньше это как-то недооценивалось! Он не еврей, значит, ему могут простить все, даже тот факт, что в кабаре «Буревестник» его приветствовали как «товарища». Он золотоволосый рейнец. Отец его был золотоволосым рейнцем, пока финансовые заботы не сделали его седым. А его мать Белла и его сестра Йози безупречно золотоволосые уроженки берегов Рейна. «Я — золотоволосый рейнец», — напевал Хендрик Хефген, повеселев от шампанского и от своих размышлений. И в отличном настроении он улегся в постель.

На следующее утро, правда, на душе у него стало опять значительно беспокойнее. Как отнесутся к нему коллеги, ко-

торые, со своей стороны, никогда не выступали в «Буревестнике» и которых поэт Мук никогда не называл «большевиками»? Когда все вместе отправились на съемки, ему даже показалось, что с ним держатся холодно. Только комик-еврей завел с ним длинную беседу, но это скорее можно было воспринять как тревожный знак. Хендрик чувствовал себя изолированным и уже немного мучеником и оттого начал горячиться и срываться. Комику он сказал, что нацисты скоро прогорят и оскандалятся. Но маленький юморист отвечал с опаской:

— Ах нет, раз уж они пробрались к власти, они ее надолго удержат. Дай бог, чтобы они хоть чуть поразумней и понисходительней отнеслись к нашему брату. Надо вести себя потише, и, даст бог, гроза пройдет мимо, ничего с нами не случится, — так говорил комик. И Хендрик в общем-то с ним соглашался, но из гордости молчал.

Несколько дней плохая погода мешала немецким артистам начать съемки на открытом воздухе; все оставались в Мадриде до конца февраля. С родины приходили противоречивые, тревожные известия. Создавалось впечатление, что Берлин в горячке восторга приветствует национал-социалистского рейхсканцлера. Совсем иначе, если верить газетным сообщениям и частным сведениям, обстояло дело в южной Германии и особенно в Мюнхене. Утверждали, что следует ожидать отделения Баварии от рейха и провозглашения монархии Виттельсбахера. Но возможно, это лишь безосновательные слухи и тенденциозные преувеличения. Пожалуй, не стоит так уж на них полагаться, лучше уж демонстративно подчеркивать симпатию к новой власти. Так и вели себя немецкие артисты, собравшиеся в Мадриде для постановки детективного фильма. Молодой любовник — красавец мужчина с длинной славянской фамилией — вдруг объявил, что в течение долгих лет состоит членом германской национал-социалистской рабочей партии, о чем раньше упорно молчал. Его партнерша, мягкие темные глаза и мягко изогнутый нос которой заставляли усомниться в чистоте ее германского происхождения, дала понять, что почти обручена с видным деятелем той же партии, а еврейский комик все больше затихал и грустнел.

Хефген же придерживался самой простой и безопасной тактики — он облачился в таинственное молчание. Пусть никто и не подозревает, сколько забот теснится в его голове.

Ибо сообщения, получаемые им от фрейлейн Бернгард и других верных людей из Берлина, просто ошеломяли. Роза писала, что надо готовиться к самому худшему. Она подпускала мрачные намеки о «черных списках», которые нацисты составляли уже несколько лет и в которых обозначены и тайный советник Брукнер, и Профессор, и Хендрик Хефген. Профессор находился в Лондоне и пока не думал возвращаться в Берлин. Фрейлейн Бернгард настоятельно предлагала своему Хендрику держаться пока подальше от немецкой столицы — у него мороз побежал по коже, когда он это прочел. Еще только что он был одним из самых почитаемых людей — и вдруг должен стать ссыльным. Ему нелегко было сохранить холодный вид перед подозрительными коллегами и на съемках быть бесшабашным и стервозным, как от него ожидали.

Когда труппа стала готовиться к отъезду домой и даже еврей-комик стал с озабоченной миной упаковывать чемоданы, Хендрик заявил, что важные переговоры по делам кино призывают его в Париж. Надо было выиграть время. Вряд ли разумно именно сейчас показываться в Берлине. А через несколько недель все уляжется...

Но грозные сюрпризы были еще впереди. Когда Хефген прибыл в Париж, первое, что он услышал, было сообщение о поджоге немецкого рейхстага. Хендрик, в течение многих лет игравший преступников, поднаторевший в угадывании уголовных комбинаций и, кроме того, обладавший врожденным чутьем на низменные побуждения преступного мира, тотчас же понял, кто задумал и кто осуществил эту злодейскую провокацию: гнусная и при этом детская хитрость нацистов подогревалась именно фильмами и театральными спектаклями, в которых Хендрик обычно играл главные роли. Хефген не мог не признаться себе, что к чувству ужаса, который ему внушил грубый трюк с поджогом, примешалось другое чувство — удовольствие, почти сладострастие. Развращенная фантазия авантюристов повела их на этот наглый, легко разоблачаемый обман, возымевший успех лишь потому, что никто в самой Германии уже не осмеливался поднять голос протеста, а весь мир, озабоченный больше собственным спокойствием, чем соображениями благородства и нравственности, не был склонен к вмешательству в зловещие аферы глубоко подозрительного рейха.

«Как сильно зло, — подумал артист Хефген, благоговейно

ужасаясь. — На что только они не идут! И ведь полная безнаказанность! Все и впрямь идет как в фильмах и пьесах, где я так часто играл главные роли». Это были самые смелые его мысли. Но он уже угадывал, хотя и не мог себе в этом признаться, таинственную взаимосвязь между самим собой и той сомнительной, развращенной сферой, где задумываются и осуществляются вульгарные преступные трюки вроде этого поджога. Сначала, правда, Хендрик вряд ли склонен был долго размышлять над психологией немецких преступников и над тем, что его лично могло бы объединять с этими выходцами из преступного мира; его заботила собственная судьба. После поджога рейхстага в Берлине арестовали многих людей, с которыми он был на дружеской ноге, в том числе Отто Ульрихса. Роза Бернгард оставила свой пост на Курфюрстендамм и поспешно уехала в Вену. В письмах оттуда она заклинала своего друга Хефгена ни при каких обстоятельствах не вступать на немецкую землю.

«Ты подвергнешь опасности свою жизнь!» — так писала Роза из гостиницы «Бристоль» в Вене.

Хендрик решил, что это романтические преувеличения. Тем не менее он встревожился. Со дня на день он откладывал отъезд. Праздный, нервный, он бродил по парижским улицам. Он не знал города, но ему вовсе не хотелось радоваться его очарованию или попросту его замечать.

Это были горькие недели, может быть, самые горькие. Он ни с кем не виделся. Правда, он знал, что кое-кто из знакомых в Париже, но не решался вступить с ними в связь. О чем с ними говорить? Они его только приведут в изнеможение патетическими изъяснениями ужаса по поводу немецких событий — там ведь и правда творится что-то ужасное, и дальше — больше. Конечно, они-то сожгли все мосты, на родине их непримиримо ненавидят. Они эмигранты. «Но я-то, я? Разве я эмигрант?» — так спрашивал себя Хендрик Хефген, охваченный страхом. И все в нем протестовало против этой мысли.

Но за долгие одинокие часы в гостиничном номере, на мостах, на улицах и в кафе города Парижа в нем вызревало темное упорство — славное упорство, самое лучшее чувство из всех, какие он когда-либо испытывал. «Что же мне — вымаливать прощение у этой банды убийц? — думал он тогда. — Что же я — не могу без них обойтись? Что же, мое имя —

не имеет международного звучания? Я могу где угодно пробиться — это, конечно, не так-то легко, но ничего, как-нибудь все устроится. И какое облегчение, да, какое избавление! Гордо, добровольно уйти из страны, где зачумлен воздух; и во весь голос объявить о солидарности с теми, кто хочет бороться с кровавым режимом! О, только бы пробиться к такому решению! И засияет вся моя жизнь!»

С этими мыслями, доставлявшими ему мрачное наслаждение, но быстро отпускаящими, неизменно сочеталась потребность вновь увидеть Барбару и обо всем с ней поговорить — Барбара ведь его добрый ангел. О, как она ему нужна именно теперь! Он уже несколько месяцев не имел о ней никаких известий, даже не знал, где она. «Наверное, сидит в имении генеральши и ни о чем не заботится! — думал он с горечью. — Я ведь ей это предсказывал, она еще найдет интересные стороны в фашистском терроре. Все как по писаному: я мучаюсь, я блуждаю по улицам чужого города, а она небось сейчас болтает с каким-нибудь убийцей и палачом, как болтала с Гансом Микласом...»

Так как одиночество делалось нестерпимым, он стал тешиться мыслью выписать принцессу Тебаб из Берлина в Париж. Как бы хорошо вновь услышать ее раскатистый смех, потрогать ее сильную руку, на ощупь шероховатую, как древесная кора! Как бы это его подкрепило и освежило! Наплевать бы на Германию и начать новую, дикую жизнь с принцессой Тебаб. Ах, вот бы хорошо! Неужели это невозможно? Послать телеграмму в Берлин, и на другой же день сюда заявится Черная Венера в своих зеленых сапожках и с красной плеткой в чемодане. В центре сладких и мятежных мечтаний Хендрика стояла принцесса Тебаб. В резких, волнующих красках он рисовал себе жизнь, которую поведет с ней вдвоем. Можно начать с того, чтобы зарабатывать свой хлеб в качестве танцевальной пары в Париже, Лондоне или Нью-Йорке: «Хендрик и Джульетта, два лучших в мире мастера чечетки!» Но на одних танцах далеко не уедешь. В голове у Хендрика роились более смелые мечты. Из танцевальной пары могла бы возникнуть пара аферистов — как забавно бы сыграть в жизни роль светского уголовника, которую так часто приходилось исполнять в кино и в театре! Какой волнующий риск! Какие последствия! Бок о бок с великолепной дикаркой водить за нос ненавистное, презренное общество, обнажившее при фашизме свое истинное мерзкое лицо! И не церемонить-

ся с ними — ну что за прелесть! В течение нескольких дней Хендрик был одержим этой идеей. Возможно, он и впрямь сделал бы первый шаг для ее осуществления и послал бы телеграмму темнокожей дочери вождя — не дойди до него сообщение, разом опрокинувшее все планы.

Важное письмо пришло от маленькой Ангелики Зиберт. Кто бы мог подумать, что именно Ангелика, которую Хендрик так жестоко, так презрительно не замечал, сыграет столь решающую роль в его жизни! Хендрик давным-давно забыл о существовании маленькой Зиберт, и, когда теперь попытался представить себе ее лицо — миленькое, робкое личико тринадцатилетнего мальчика с близоруко сощуренными светлыми глазами, ему показалось, будто оно было вечно залито слезами. Кажется, маленькая Ангелика плакала почти непрерывно. Но разве ей не давали довольно часто повода для этих слез? Хендрик очень хорошо помнил, как подло он с ней обходился... Но упрямое, нежное сердце оставалось ему верным. Хендрик удивлялся. И у него были все основания — ведь он судил о других по себе и всегда предполагал эгоизм и подлость в своих ближних. Добрые дела всегда приводили его в растерянность. В пустом гостиничном номере, изученном до мелочей, он расплакался над письмом Ангелики. Слезы на глаза вызвала не только нервозность, не только переутомление — он был искренне растроган. О, как блаженствовала бы, как была бы вознаграждена за все свои страдания маленькая Ангелика, если бы могла увидеть, как тот, из-за кого она пролила столько слез, плачет над ее письмом! Ведь это ее любовь наполнила его драгоценные, опасные, холодные глаза солеными каплями.

В своем письме Ангелика сообщала, что она в Берлине, иногда снимается в фильмах, и живется ей вполне сносно. Один преуспевающий молодой режиссер вбил себе в голову на ней жениться, «но, конечно, я об этом и подумать не могу», — писала она, и Хендрик улыбался, читая эти строки: да, вот она какая — недоступная, недотрога, отвергает все домогательства и предложения, как бы заманчивы они ни были, упрямо одержима недоступным и расточает свои чувства на того, кто их не замечает, кто ею пренебрегает. На съемках большой кинокомедии из жизни начала XIX века она познакомилась с актрисой Линденталь — той самой дамой, которая была первой инженерю в Йене и приятельницей летчика — национал-социалиста. Хендрик, с жадностью и ненавистью сле-

дивший за немецкими событиями по газетам, знал, что этот летчик принадлежит к числу всемогущих воротил нового рейха. Следовательно, Лотта Линденталь стала влиятельной персоной. Перед ней-то Ангелика Зиберт и ходатайствовала за Хендрика.

В восторженных тонах живописалось в письме об удивительном обаянии, уме, кротости и благородстве Лотты Линденталь. Ангелика уверяла, что эта добрейшая и милая дама вполне сможет повлиять на своего могущественного друга самым благоприятным образом. Она и теперь уже многое сделала, особенно для театра. Великий муж питал благосклонный интерес к драме, оперетте и опере. Его возлюбленные — или дамы, которым он оказывал особое уважение, — были большей частью актрисы чувствительного склада. Он готов был оказать им любую любезность, если дело шло не о чем-то серьезном, но лишь о веселых пустяках вроде актерской карьеры. Маленькая Зиберт обратила внимание Лотты Линденталь на то, что Хендрик сидит в Париже и не решается вернуться в Германию. Тут фаворитка властелина добродушно рассмеялась. «Чего же боится этот человек?» — и она сделала наивные глаза. Хефген же не еврей, скорее золотоволосый рейнец, и не принадлежит ни к какой партии? Кстати, он настоящий мастер — фрейлейн Линденталь видела его в роли Мефисто.

— Без таких людей, как он, нам просто не обойтись, — сказала эта незаменимая дама и обещала в тот же день переговорить со своим другом.

— Ах, он насквозь либерален, — уверяла первая инженеру из Йены, — уж она-то его знает! И все присутствующие испытали благоговейный трепет, когда она таким интимным тоном заговорила об этом внушающем всеобщий ужас великане:

— Он ведь не злопамятный. Пусть Хефген раньше и отказывал разные номера и делал глупости — он это все понимает, когда речь идет о художнике большого масштаба. Ведь главное — здоровое зерно, — говорила Лотта несколько бессмысленно, но очень сердечно.

И она сделала то, что обещала. Когда всемогущий нанес ей свой вечерний визит, она стала его молить:

— Милый, ну будь добр, ну, пожалуйста!

Она вбила себе в голову, что в первой ее берлинской роли ее партнером должен быть Хендрик Хефген.

— Он же так подходит для этой роли! — трещала инженеру. — Ведь в конце концов и ты заинтересован в том, чтобы у меня был приятный партнер, когда я впервые выступлю перед берлинскими товарищами по партии!

Генерал осведомился, еврей ли Хефген. Когда он узнал, что нет, речь идет о чистокровном светловолосом рейнце, он обещал, что с «этим парнем» ничего не случится, чего бы он раньше ни натворил.

О приятном исходе беседы Линденталь тотчас сообщила своей маленькой коллеге Зиберт, и та, в свою очередь, едва дождалась возможности сообщить Хендрику о прекрасном обороте дела.

Итак, мрачный период парижских мук позади! С одинокими прогулками вниз по бульвару Сен-Мишель, по набережной Сены или по Елисейским полям покончено! Хватит! Неужто и впрямь Хендрик Хефген предавался бунтарским мечтам в пустом гостиничном номере? Неужто и впрямь он когда-нибудь испытывал сильную, мрачную и сладострастную потребность очиститься, освободиться, начать новую, дикую жизнь? Он уже и сам ничего не помнил, пока он упаковывал чемоданы, все было забыто. Напевая от радости, в большом искушении пуститься вприпрыжку по комнате, он бросился в бюро путешествий «Кук и сын», чтобы заказать спальное купе на берлинский поезд.

Возвращаясь в гостиницу, которая была вблизи от бульвара Монпарнас, Хендрик проходил мимо «Кафе дю Дом». Погода была мягкая, многие сидели на открытом воздухе, столы и стулья стояли под брезентом, на тротуаре. Хендрику от ходьбы стало жарко, и он захотел присесть на четверть часа, выпить апельсинового сока. Он остановился, но, скользя высокомерным взглядом по болтающей толпе, передумал. Мало ли кого тут можно встретить? Тут могут оказаться старые знакомые, а их лучше избегать. Ведь, кажется, «Кафе дю Дом» — место встречи эмигрантов? Нет, нет, лучше пройти мимо. Он уже собрался было отвернуться, но тут взгляд его остановился на группе людей, молча сидевших за круглым столиком. Хендрик вздрогнул. Он так испугался, что его больно кольнуло в живот, и несколько секунд он не в состоянии был пошевелиться.

Сначала он узнал фрау фон Герцфельд; лишь потом он заметил рядом с ней Барбару. Барбара в Париже, она все время была здесь, он тосковал по ней, он в ней нуждался,

как никогда, а она жила в том же городе, в том же квартале, что и он, — может быть, всего на расстоянии нескольких домов! Барбара покинула Германию, и вот она сидит на террасе «Кафе дю Дом», сидит рядом с Геддой фон Герцфельд, с которой в Гамбурге вовсе не дружила. Но тяжелые обстоятельства их свели... Они сидят за одним столом. Обе молчат, обе уставились вдаль одинаковыми унылыми, задумчивыми и глубокими взглядами.

«Как побледнела Барбара!» — подумал Хендрик. Ему вдруг почудилось, что они вовсе здесь и не сидят, что они — создание его разгоряченного мозга, что они существуют лишь в его воображении. Если они живые, то почему же не двигаются? Почему сидят так неподвижно, почему у них такие грустные глаза?

Барбара подпирала рукой узкое бледное лицо. Между темных и сдвинутых бровей пролегла черта, которой Хендрик прежде не замечал: может быть, это от напряженных, горьких раздумий? Черта придавала лицу мечтательное, почти суровое выражение. На Барбаре был серый плащ и ярко-красный шарф. В этой одежде из-за страдальческого, напряженного лица она производила несколько дикое, почти страшное впечатление.

Фрау фон Герцфельд тоже была бледна, но на этом широком мягком лице не было грозной печати, оно выражало лишь нежную печаль. Кроме Барбары и Гедды, за столом сидела еще одна девушка — Хендрик прежде никогда ее не видел — и двое молодых людей. Один из них был Себастьян, Хендрик узнал его вытянутую шею, затуманенный, задумчивый взор и прядь пепельно-светлых волос.

Хендрик хотел крикнуть, хотел поздороваться, первым движеньем его души было обнять Барбару, поговорить с ней — обо всем, обо всем с ней поговорить. Как часто он мечтал об этом в одинокие дни! Но в голове уже бродили соображения: «Как они меня примут? Станут задавать вопросы — как мне отвечать? Здесь, в кармане пиджака, у меня билет в спальное купе берлинского поезда, и все это благодаря содействию двух любезных светловолосых дам. Я уже как бы смирился с режимом, который прогнал этих людей, а ведь я клялся Барбаре в непримиримой вражде к нему. Какую высокомерную улыбку скроит Себастьян! И как мне снести взгляд Барбары, ее темный, презрительный, беспощадный взгляд? Надо бежать — кажется, они меня пока не за-

метили — ведь все они смотрят странными взглядами в пустоту. Надо поскорей убираться, эта встреча мне не по силам...»

Сидевшие за столом все не шевелились; казалось, они смотрят сквозь Хендрика Хефгена, как сквозь воздух. Они сидели, застыв, словно от непереносимой боли, куда Хендрик спешил прочь мелкими твердыми шажками, как человек, убегающий от опасности и стремящийся скрыть свой страх.

После первой репетиции Лотта Линденталь сказала Хефгену:

— Дико неудачно, генерал теперь безумно занят. Если бы он только смог, он наверняка пришел бы на репетицию посмотреть, как мы работаем. Вы себе даже представить не можете, какие блистательные советы он иногда дает нам, актерам. Мне кажется, что в вопросах театра он разбирается не хуже, чем в своих самолетах, — а это что-нибудь да значит!

Нет, Хендрик мог это себе представить. Он почтительно кивнул. Потом он спросил фрейлейн Линденталь, позволит ли она ему отвезти ее домой в его машине. Она это ему позволила с милостивой улыбкой. Подавая ей руку, он тихо сказал:

— Для меня такая большая радость играть с вами. В последние годы мне пришлось очень много мучиться от манерности партнера. Дора Мартин испортила немецких актрис своим дурным примером. Ее судорожный стиль — это ведь уже не игра. Истерический местечковый надрыв, кривляние. И вот я снова слышу ваш ясный, простой и душевный голос.

Она благодарно посмотрела на него выпуклыми, фиалковыми, глупыми глазами.

— Я так рада это слышать, — прошептала она и крепче сжала его руку.

— Я ведь знаю, вы мне не льстите. Человек, который так свято относится к своему призванию, не льстит в вопросах искусства.

Хендрик прямо-таки ужаснулся от мысли, что его слова могли быть приняты за лесть.

— О, прошу вас! — он положил руку на сердце. — Я — и льстить! Мои друзья обычно упрекают меня за то, что я говорю людям в глаза самую горькую правду!

Линденталь рада была это услышать.

— Очень люблю искренних людей, — отвечала она скромно.

— Жалко, что мы уже приехали, — сказал Хендрик, оставив машину перед тихим элегантным домом на Тиргартенштрассе. Здесь жила Лотта Линденталь. Он нагнулся к ее руке, слегка отодвинул серую лайковую перчатку и прикоснулся губами к молочно-белой коже.

Казалось, она не заметила маленькой дерзости, во всяком случае не осудила его за это, улыбка по-прежнему сияла на ее лице.

— Тысяча благодарностей за то, что разрешили вас проводить, — сказал он в своей склоненной позе.

Пока она шла к дверям, он думал: «Если она еще раз обернется, все хорошо. А если еще и помашет мне рукой, — это триумф, и я пойду далеко». Она, держась прямо, пересекла улицу. Подойдя к дверям, она повернула голову, показала сияющее лицо и — какое блаженство! — помахала ручкой. Хендрик ощутил счастливый трепет, когда Лотта Линденталь лукаво крикнула:

— Адью!

Это было больше, чем он смел надеяться. С глубоким вздохом облегчения он откинулся на кожаном сиденье своего «мерседеса».

Хендрик знал еще прежде, чем вернуться в Берлин, — без протекции Линденталь он пропал. Маленькая Ангелика, встретившая его на вокзале, могла бы и не намекать на это — ситуация была ясна ему и без ее намеков. У него были страшные враги, среди них такие влиятельные, как писатель Цезарь фон Мук — министр пропаганды сделал его директором Государственного театра. Драматург оказал Хефгену, всегда браковавшему его пьесы, ледяной прием. На его лице со стальными глазами и язвительно сжатыми губами застыло выражение непрístupной строгости и достоинства. Он сказал:

— Не знаю, сможете ли вы с нами ужиться, господин Хефген. Здесь ведь теперь царит иной дух, не тот, к которому вы привыкли. С большевистскими порядками покончено. — Тут автор драмы «Танненберг» угрожающе вытянулся. — Вы уже не сможете выступать в пьесах вашего друга Мардера или в столь вами ценимых французских фарсах. Теперь наше искусство будет не семитским и не галльским, но немецким. И вам, господин Хефген, придется доказать, в состоянии ли вы способствовать нам в столь благородной работе. Откровенно скажу, я не видел особых оснований вызывать вас из Парижа. — При слове «Париж» у Цезаря фон

Мука грозно сверкнули глаза. — Но фрейлейн Линденталь хочет, чтобы вы были ее партнером в маленькой комедии, выбранной для ее дебюта. — Мук сказал это несколько пренебрежительно. — Я не хотел бы проявлять нелюбезность по отношению к даме, — продолжал он с фальшивым благожелательством и высокомерно заключил: — Впрочем, я убежден, что роль эlegantного друга дома и обольстителя вам не покажется трудной. — И по-военному скупым жестом руки директор дал понять, что беседа окончена.

Не слишком приятное начало! Тем более если вспомнить, что за мстительным выскочкой стоит собственной персоной министр пропаганды. А этот последний всемогущ в вопросах культуры. Он был бы и абсолютно всемогущ, не вбей себе в голову произведенный в прусские премьер-министры генерал авиации, что ему необходимо вмешиваться в дела государственных театров. А в этих делах, хотя бы из-за Лотты, толстяк сильно заинтересован. Так возникла распря, борьба за власть между могучими властителями — главой пропаганды и главой авиации. Хендрик ни одного из двух полубогов пока не видел своими глазами, но знал, что вражду одного он сможет выдержать, лишь заручившись поддержкой другого. Путь к премьер-министру лежит через актрису. Хендрику надо завоевать Лотту Линденталь.

В первые недели своей новой берлинской жизни Хендрик жил лишь одной мыслью: Лотта Линденталь должна его полюбить. Сверкающим глазам и стервозной улыбке еще никто не мог противостоять, а в конце концов она ведь тоже только человек, не более. Сейчас на карту поставлено все, надо пустить в ход все свое искусство — Лотту необходимо завоевать, как крепость. Пусть у нее слишком пухлая грудь и коровьи глаза, пусть она провинциальна, прозаична, плевать на ее двойной подбородок и перманент: для него она желаннее любой богини.

И Хендрик боролся. Он был глух и слеп ко всему, что происходило вокруг. Его воля, весь его ум направились на одну цель: завоевать светловолосую Лотту. Лишь для нее у него были глаза, больше он ничего не замечал. Маленькая Ангелика просчиталась, если думала, что Хефген из благодарности будет хоть чуть-чуть удостаивать ее вниманием. Лишь первые часы после прибытия он был с ней мил. Но как только она его представила Линденталь, Ангелика перестала для него существовать. Ей пришлось выплакаться на груди у

своего кинорежиссера, Хендрик же прямо направился к единой цели, имя которой — Лотта.

Заметил ли он, как изменились улицы Берлина? Видел ли коричневые и черные рубашки, знамена со свастикой, марширующую молодежь? Слышал ли воинственные песни, которые распевались на улицах, летели из радиоприемников, с полотен киноэкранов? Обращал ли внимание на речи фюрера, на его угрозы и хвастовство? Читал ли газеты, которые приукрашивали, замалчивали, лгали, но тем не менее выбалтывали достаточно страшные истины? Заботила ли его судьба людей, которых раньше он называл своими друзьями? Он даже не знал, где они. Может быть, сидят в каком-нибудь кафе в Праге, Цюрихе или Париже, может быть, их пытаются в концентрационных лагерях, может быть, они прячутся по чердакам и погребам Берлина? Хендрика нимало не интересовали эти мрачные подробности. «Я ведь не могу им помочь, — этой формулой он отгонял от себя любую мысль о страдальцах. — Я сам в постоянной опасности — кто знает, может, Цезарю фон Муку уже завтра удастся добиться моего ареста. Вот буду уверен в своем положении, тогда и смогу помогать другим!»

Лишь очень неохотно, одним ухом, Хендрик прислушивался к слухам о судьбе Отто Ульрихса. Коммунист — артист и агитатор, арестованный сразу же после поджога рейхстага, подвергся ужасающим процедурам, здесь именуемым «допросами». «Это мне рассказал один человек, который сидел в камере рядом с камерой Ульрихса», — так боязливо, приглушенным голосом сообщал театральный критик Ириг, который до 30 января 1933 года принадлежал к крайне левым и был передовым борцом за строго марксистскую литературу, стоящую исключительно на страже интересов классовой борьбы. Теперь он намеревался примириться с новым режимом. Как трепетали прежде перед доктором Иригом писатели, подозреваемые в буржуазно-либеральном или — еще хуже — в националистском мировоззрении! Самый бдительный и нетерпимый жрец марксистской буквы, он подвергал их анафеме, проклинал и уничтожал, называя их эстетствующими наемниками капитализма. Красный папа от литературы не был склонен видеть нюансы и проводить тонкие различия. Его мнение было таково: кто не за меня, тот против меня, кто пишет не по рецептам, которые я составил, тот кровавый пес, враг пролетариата, фашист. И если ему самому об этом еще не-

известно, то он узнает все от меня — заведующего литературным отделом новостей. Категорические приговоры доктора Ирига принимались всеми, кто причислял себя к левому авангарду, абсолютно всерьез, хотя и печатались на столбцах сугубо капиталистической газеты. Ибо в то время биржевые газеты любили шутки ради отдавать литературный отдел марксистам — это придавало им пикантность и никому, в сущности, не мешало. Жизненно важным отделом газеты был торговый отдел. А в подвале, куда не заглядывал ни один серьезный коммерсант, мог покуражиться и красный папа.

Доктор Ириг куражился много лет подряд и стал решающей инстанцией во всех делах марксистской художественной критики. Когда национал-социалисты пришли к власти, еврейский редактор «Биржевых новостей» сложил с себя полномочия. Доктору Иригу разрешили остаться, так как он смог доказать, что все его предки как со стороны отца, так и со стороны матери были арийцами, а сам он никогда не был членом ни одной из социалистических партий. Недолго думая, он согласился вести литературный отдел «Биржевых новостей» в том же строгом национальном духе, в котором были выдержаны полосы политического отдела и который чуялся даже в отделе «Разное».

— Я ведь всегда выступал против буржуа и демократов, — говорил доктор Ириг. В самом деле, он, как и прежде, метал громы и молнии против «реакционного либерализма» — изменилась только исходная точка зрения. — Эта история с Отто просто ужасна, — говорил бравый доктор Ириг печальным голосом. Во многих статьях он характеризовал революционное кабаре «Буревестник» как единственный театр столицы, который имеет будущее, достоин внимания. Ульрихс принадлежит к числу самых близких знаменитому критику людей. — Ужасно, ужасно, — бормотал доктор, нервно снимал роговые очки и протирал стекла.

Хефген тоже придерживался того взгляда, что это ужасно. Обоим господам, собственно, нечего было добавить. Им не особенно приятно стало встречаться друг с другом. Для встречи они выбрали отдаленное, мало посещаемое кафе. Оба были скомпрометированы своим прошлым, оба, может быть, и до сих пор были на подозрении. Если бы их увидели вдвоем, это могло бы произвести впечатление заговора... Они молчали, задумчиво смотрели в пустоту, один сквозь роговые очки, другой сквозь монокль.

— Я сейчас, конечно, ничего не могу сделать для бедняги,— промолвил, наконец, Хефген.

Ириг, который сам хотел это сказать, кивнул. Потом оба вновь умолкли. Хефген играл мундштуком сигареты. Ириг откашливался. Может быть, они стыдились друг друга. Каждый знал, о чем думает другой. Хефген думал об Ириге, а Ириг о Хефгене: «Да, да, дорогой мой, ты такая же свинья, как я». Эту мысль каждый угадывал по глазам собеседника. Обоим было стыдно.

Молчание стало невыносимым. Хефген встал.

— Надо потерпеть, — сказал он тихо и показал революционному критику бледное лицо гувернантки. — Нелегко, но надо потерпеть. Прощайте, дорогой друг.

У Хендрика были все основания радоваться: улыбка Лотты Линденталь становилась все слаще, все больше обещала. Когда они репетировали какую-нибудь интимную сцену — а комедия «Сердце» почти сплошь состояла из интимных сцен между супругой крупного дельца, роль которой исполняла Лотта, и галантным другом дома, которого играл Хендрик, — случалось, она со вздохом прижимала свою грудь к груди партнера и бросала на него влажные взгляды: Хефген, со своей стороны, был сдержанно-меланхоличен и дисциплинирован, но так, будто за этим крылась лихорадочная страсть. Он обращался с фрейлейн Линденталь с изысканно подчеркиваемой сдержанностью, чаще всего называл ее «сударыней», в редкие минуты «фрау Лотта», и лишь во время работы, в усердии совместных репетиций, у него прорывалось доверчивое товарищеское «ты». Но глаза его, казалось, постоянно говорили: «Ах, если бы я только мог, как бы я желал этого! Как бы я тебя обнял, моя радость! Как бы я тебя сжимал в объятиях, о, прелестная! К моему великому сожалению, я должен себя сдерживать из-за лояльности к немецкому герою, который называет тебя своей...» Вот какими страстными, по-мужски сдержанными чувствами сияли прекрасные глаза артиста Хефгена. В действительности же он думал так: «Почему — о, господи — почему премьер-министр, который мог бы иметь любую, избрал именно эту? Она, возможно, и славная баба, и великолепная домашняя хозяйка, но ведь зато ужасающе толста и при этом до смешного жеманна. И к тому же скверная актриса...»

На репетициях у него часто являлась охота накричать на Линденталь. Любой другой актрисе он бы сказал в лицо: «То, что вы делаете, дорогая, это самый дурной провинциальный стиль. И тот факт, что вы играете изысканную даму, не дает вам повода говорить таким высоким деланным голосом и так отставлять мизинец. У изысканных дам вовсе не обязательно такие манеры. И где это сказано, что супруга крупного коммерсанта, когда флиртует с другом дома, должна отставлять локти от корпуса, как будто испачкала блузку вонючей жидкостью и боится запачкать рукава? Оставьте-ка, пожалуйста, ваши глупости!»

Разумеется, Хендрик остерегался говорить подобное Лотте. Но и без этих вполне заслуженных грубостей она, видимо, чувствовала себя не на высоте.

— Я чувствую себя еще так неуверенно, — жаловалась она и делала наивное лицо маленькой девочки. — Берлинская обстановка сбивает меня с толку. Ах, конечно, я проважусь с позором, и отзывы в прессе будут ужасные.

Она вела себя так, словно была маленькой дебютанткой, всерьез боящейся берлинских критиков.

— Ох, ну пожалуйста, пожалуйста, Хендрик, скажите мне, — при этом она по-детски хлопала в ладоши, — мне не поздоровится? Меня распотрошат в пух и в прах?

Хендрик грудным голосом, с глубокой убежденностью уверял ее, что это совершенно исключено.

Пока Хефген и Линденталь репетировали комедию «Сердце», стало известно, что в репертуар Государственного театра снова собираются включить «Фауста». К своему ужасу, Хендрик узнал, что Цезарь фон Мук — очевидно, с согласия министра пропаганды — решил отдать роль Мефисто актеру, который уже в течение многих лет был членом национал-социалистской партии и которого несколько недель тому назад пригласили из провинции в Берлин. Так автор «Таенберга» мстил Хефгену, отклонявшему его пьесы. Хендрик чувствовал: «Я пропал, если отвратительный план Мука осуществится. Мефисто — моя главная роль. Если она мне не достанется — всем станет ясно, что я в немилости. И значит, Линденталь не пускает ради меня в ход свое влияние, или вовсе и не обладает влиянием, которое ей приписывают. И тогда мне не остается ничего другого, как упаковать чемоданы и мотать в Париж, где мне, возможно, вообще надо бы остаться; ведь здесь, говоря по совести, отвратительно. Положение

мое грустное, особенно если его сравнить с прежним. Все смотрят на меня недоверчиво. Все знают, что директор и министр пропаганды меня ненавидят. И пока не существует ни малейшего доказательства, что я пользуюсь покровительством генерала авиации. Ничего себе ситуация! Мефисто мог бы все спасти... Да, от него зависит все!»

Однажды перед началом репетиции Хефген твердыми шагами подошел к Лотте Линденталь, и голос его на этот раз неподдельно дрожал:

— Фрау Лотта, у меня к вам большая просьба.

Она улыбнулась несколько испуганно:

— Я всегда охотно помогаю коллегам и друзьям, если это в моих силах.

И тогда он сказал, глядя ей прямо в глаза глубоким гипнотическим взглядом:

— Я должен играть Мефисто. Вы понимаете меня, Лотта? Я должен.

Его пронизывающая серьезность испугала ее, к тому же ее возбуждала напористая близость его тела, давно уже ей не безразличного. Нежно зардевшись, опустив глаза, как молоденькая девушка, которой делают предложение и которая обещает посоветоваться с родителями, она прошептала:

— Я испробую все, что в моих силах. Я сегодня же поговорю с ним.

У Хендрика вырвался глубокий вздох облегчения.

На следующее утро секретариат директората государственных театров сообщил ему по телефону, что после обеда его ждут на первый сбор артистов, занятых в будущей постановке «Фауста». Это была победа. Премьер-министр просил за него. «Я спасен», — думал Хендрик Хефген. Он послал большой букет желтых роз Лотте Линденталь; к красивым цветам он приложил записку, большими, трогательно угловатыми буквами нацарапав лишь одно слово: «Спасибо».

Ему показалось совершенно естественным, что директор Цезарь фон Мук перед началом репетиции пригласил его к себе в кабинет. Национальный писатель выказал ему самую глубокую задушевность, сыгранную на гораздо более высоком художественном уровне, чем изысканная сдержанность Хендрика.

— Я рад видеть вас в роли Мефисто, — сказал драматург. Стальные глаза его мягко заблестели, и он с мужской сердечностью схватил обе руки человека, которого мечтал

уничтожить. — Я как ребенок счастлив буду увидеть вас в этой вечной, глубоко немецкой роли.

Было ясно: директор полон решимости разом и в корне изменить свое отношение к Хефгену с того момента, как премьер-министр вступился за этого актера. Конечно, Цезарь фон Мук, как и прежде, не оставлял неумолимой цели: надо было не допустить, чтобы этот тип слишком вознесся и при первой же возможности выпереть его из Государственного театра. Но теперь он считал разумным вести борьбу против старого врага более тайным и хитрым способом. Господин фон Мук ни в коем случае не был склонен ссориться из-за Хефгена с могущественным премьер-министром или с этой Линденталь. Директор прусских государственных театров имеет все основания стремиться к столь же хорошим отношениям с премьер-министром, как с министром пропаганды...

— Между нами, — продолжал директор доверительно, — это мне вы обязаны тем, что снова будете играть Мефисто. — В его произношении сегодня был особенно различим саксонский акцент. Возможно, таким образом он хотел подчеркнуть свое простодушие. — Были кое-какие сомнения, — он приглушил голос и изобразил гримасу сожаления, — кое-какие сомнения в министерских кругах — вы понимаете, мой милый Хефген... Боялись, как бы дух предыдущей постановки «Фауста» (в известном смысле большевистский дух — так там выразились) вы не перенесли бы в нашу новую постановку. Но мне удалось опровергнуть эти опасения, преодолеть их! — радостно заключил директор и решительно похлопал артиста по плечу.

Хефгену в этот столь успешный день пришлось перенести и сильный испуг. Когда он вступил на сцену, он столкнулся лицом к лицу с молодым человеком. То был Ганс Миклас. Хендрик в течение многих недель о нем не вспоминал. Конечно, Миклас жив-здоров, его даже приняли в Государственный театр, и он играет ученика в новой постановке «Фауста». К этой встрече Хефген не был подготовлен. О распределении маленьких ролей он из-за всех треволнений еще не задумывался. Он молниеносно подумал: «Как мне держаться? Этот упрямец меня еще ненавидит. Это ясно. К тому же злой взгляд, который он мне только что бросил, достаточно красноречив. Он ненавидит меня, он ничего не забыл, и он может мне нагадить, если только захочет. Микласу ничего не стоит рассказать Лотте Линденталь, из-за чего мы тогда повздорили

в «Г. Х.»? Если он вздумает ей все рассказать, я пропал. Но нет, он не решится, так далеко дело не пойдет. Сделаю-ка я вид, будто мне на него наплевать, испугаю его своим высокомерием. Тогда он подумает, что я уже снова вознесся, что у меня в руках все козыри, и что он против меня нуль».

Он вставил в глаз монокль, сделал презрительную мину и сказал в нос:

— Господин Миклас — подумать только! Оказывается, вы еще живы!

И стал осматривать свои ногти, улыбнулся стервозно, откашлялся и удалился.

Ганс Миклас сжал зубы. Его лицо оставалось неподвижным, но, как только Хендрик отвернулся, оно исказилось ненавистью и болью. Никто не обращал на него внимания, и он одиноко прислонился к кулисе. Никто не видел, как он сжал кулаки, как светлые глаза наполнились слезами. Ганс Миклас дрожал всем узким худым телом истощенного уличного мальчишки или перетренированного акробата. Почему он дрожал? И почему плакал?

Начинал ли он сознавать, что его обманули, — обманули ужасно, непоправимо? Ах, нет, он еще не дошел до того, чтобы это понять. Но, возможно, у него уже возникли первые предчувствия. И уже от этих предчувствий руки его сжимались в кулаки и глаза наполнялись слезами.

Первые недели после переворота, в результате которого к власти пришли национал-социалисты и их фюрер, молодой человек чувствовал себя на седьмом небе. Прекрасный, великий день, день обетованный, которого так долго и так страстно ждали, — день настал! Какое счастье! Юный Миклас плакал и приплясывал от восторга! Лицо его сияло подлинным ликованием, глаза блестели. И когда рейхсканцлера, фюрера, спасителя чествовали факельным шествием, как кричал Ганс на улице, как размахивал руками в том же безумном угаре, что и вся огромная уличная толпа! Наконец-то обещания воплотятся в дело! Вне всякого сомнения, начинается золотой век. Германия вновь обрела свою честь, и вскоре народ познает подлинное братство. Это сотни раз обещал фюрер, и мученики национал-социалистского движения скрепили его обещание пролитой кровью.

Четырнадцать лет позора позади. Все прошлое было лишь борьбой и подготовкой, теперь начинается жизнь. Теперь можно работать — работать вместе со всеми над созданием

могущественного отечества. Ганс Миклас по протекции высокого партийного чина получил плохо оплачиваемую должность в Государственном театре. Хефген сидит в Париже, Хефген — эмигрант, а у Микласа место на прусской государственной сцене. Волшебство этой ситуации было так велико, что молодой человек закрывал глаза на все, что в другое время могло бы его разочаровать.

Это лучший мир? Но разве излечился он от ненавистных недугов прошлого? Разве не прибавилось еще и новых болезней, прежде неизвестных? Не хотелось в этом себе признаваться. Но временами на молодом измученном и бледном лице со слишком яркими губами и темными кругами вокруг светлых глаз появлялось опять то замкнутое, страдальческое выражение упрямства, которое прежде было ему так свойственно. Строптивый мальчик зло и высокомерно отворачивался, чтобы не видеть, как все подхалимничают теперь перед директором Цезарем фон Муком — куда бесстыдней, чем когда-то подлизывались к Профессору. А Цезарь фон Мук, в свою очередь, весь перегибается и словно хочет растаять в безропотной угодливости, когда министр пропаганды посещает театр! Видеть это было мучительно. Порядок, который национал-социалистские агитаторы любили характеризовать как «плутократия», следовательно, еще не изменился, но принял еще более разнузданные формы. Да и среди артистов по-прежнему процветают «выдающиеся», они смотрят на других сверху вниз, подкатывают к театральному подъезду в огромных лимузинах и носят дорогие меха. Великая дива теперь называется не Дора Мартин, но Лотта Линденталь. Только на этот раз это не хорошая, а дурная актриса. Зато она фаворитка могущественного человека. Давным-давно — когда это было? — Миклас чуть не подрался с Хефгеном, оберегая ее честь, и потерял из-за нее место. Но она этого не знает, а он слишком горд, чтобы на это намекать. Он упрямо надувал губы, делал неприступное лицо и старался, чтобы великая дама его не замечала.

Германия восстановила свою честь, коммунисты и пацифисты сидят по концентрационным лагерям, а многие уже убиты, и мир начинает бояться народа, у которого такой фюрер. Обновление общественной жизни, однако, заставляет себя ждать. Социализмом пока не пахнет. «Что ж, тише едешь — дальше будешь», — думали молодые люди вроде Ганса Микласа, слишком глубоко верующие, чтобы решиться на столь

быстрое разочарование. «Даже мой фюрер не может одним махом со всем справиться. Надо набраться терпенья. Сначала Германии надо отдохнуть от долгих лет позора». Мальчики были наивны и доверчивы. Ганс Миклас был наивен и доверчив. Но когда он узнал, что Хендрик Хефген будет играть Мефисто, он был потрясен. Старый враг, невероятный ловкач, бессовестный циник, который всюду пролезет, у всех становится любимчиком, Хефген — вечный противник! Женщина, из-за которой Ганс с ним чуть не подрался, сама его призвала, потому что он понадобился ей в качестве партнера в светской комедии. А теперь она вдобавок достала для него классическую роль, а с ней огромные шансы на успех... Взять бы и пойти к ней и рассказать этой Лотте Линденталь, как Хефген тогда в ресторане о ней высказывался? Кто же ему мешает? Но стоит ли овчинка выделки? Разве ему поверят? Он же просто поставит себя в смешное положение! Да и так ли уж был не прав Хефген, когда называл эту Линденталь дурой? Ну разве не дурища?

Миклас молчал, сжимал кулаки и отворачивался, чтобы никто не видел слез у него на глазах.

Час спустя ему надо было репетировать сцену с Хефгеном — Мефистофелем. В смиренной позе надо было приблизиться к ученому, который на самом деле был чертом, и сказать:

Я здесь с недавних пор и рад
На человека бросить взгляд,
Снискавшего у всех признание
И кем гордятся горожане.

Голос ученика звучал сипло и перешел в стон, когда на сбивающие с толку мудрености и презрительные софизмы замаскированного сатаны юноша отвечал:

Час от часу не легче мне,
И словно голова в огне.

На премьере «Фауста» в Государственном театре присутствовал и премьер-министр, генерал авиации в сопровождении своей приятельницы Лотты Линденталь. Спектакль начался с пятнадцатиминутным опозданием: могучий властелин заставил себя ждать. Из его дворца позвонили, что его задерживает совещание с министром рейхсвера. Но артисты

шептались по уборным, что он, как всегда, просто еще не управился со своим туалетом.

— Ему ведь всегда требуется целый час на то, чтобы переодеться, — хихикала исполнительница роли Гретхен, настолько светловолосая, что могла себе позволять небольшие вольности. Впрочем, явление высокой четы было обставлено с подчеркнутой скромностью. Премьер-министр держался в глубине ложи, пока в зале был свет. Лишь в первых рядах партера его заметили и с благоговением смотрели на разукрашенную форму с пурпурным воротником и широкими серебряными манжетами и на блестящую бриллиантовую диадему в волосах высокогрудой, светловолосой, как сноп пшеницы, дамы. Лишь когда поднялся занавес, премьер-министр сел, причем послышалось кряхтение, ибо столь жирную массу нелегко как следует уместить на относительно узком стуле.

Во время пролога на небе сиятельный зритель делал по обязанности взволнованное лицо. Последующие сцены трагедии и весь ее ход до того момента, как Мефистофель пуделем забрался в рабочую комнату Фауста, показались ему несколько скучноваты. Во время первого большого монолога Фауста он несколько раз зевнул, и даже сцена пасхальной прогулки его не развлекла. Он шепнул на ухо Линденталь что-то, по-видимому, не очень одобрительное.

Зато как оживился всемогущий, когда на сцене появился Хефген — Мефистофель. Когда доктор Фауст воскликнул:

Вот, значит, чем был пудель начинен!
Скрывала школяра в себе собака? —

тут засмеялся и могучий владыка, да так громко и от души, что все это слышали. Смеясь, лоснящийся здоровяк нагнулся вперед, оперся обеими руками о красный бархат ложи и с этого момента стал с веселым вниманием следить за развитием действия, точнее — за танцевально-ловкой, хитрограциозной, гнусно-обольстительной игрой Хендрика Хефгена.

Лотта Линденталь, знавшая своего мужа, тотчас поняла: «Вот любовь с первого взгляда. Хефген вскружил голову моему толстяку — о, я его понимаю, даже слишком понимаю. Ведь малый и впрямь волшебник, а в этом черном шелковом костюме, в дьявольской маске Пьеро он еще неотразимее, чем всегда. И забавный, и значительный, и как он

прыгает, и какие у него временами грозные глаза, какие глубокие, пламенные, вот хотя бы когда он произносит:

Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятием разрушенья, зла, вреда.
Вот прирожденное мое начало,
Моя среда.

Тут премьер-министр многозначительно кивнул. Потом, в сцене с учеником, — в которой Ганс Миклас, кстати, отличился скованностью и неуверенностью, — великий муж веселился, словно это был самый смешной фарс. Его хорошее настроение еще поднялось при бурлескной сцене «Погребок Ауэрбаха в Лейпциге», когда Хефген со злым задором исполнил песню о блохе и в конце концов выбил из стола струи сладкого токайского и пенистого шампанского для пьяных олухов. И уж совершенно ликует толстяк, когда из тьмы ведьминой кухни раздается резкий, звонкий голос князя тьмы:

Не узнаешь? А я могу
Стереть, как твой прямой владыка,
С лица земли тебя, каргу,
С твоєю обезьяньей кликой!
Забыла красный мой камзол?
Стоишь с небрежным равнодушьем
Перед моим пером петушьим?
Не видишь, кто к тебе пришел?

Это относилось к ведьме, к страшной карге. И та в ужасе сжалась. Генерал авиации от радости хлопал себя по ляжкам: сверкающая надменность сатаны, кичащегося омерзительным своим чином, его уж и вовсе развеселила. Жирному, хрюкающему хохоту вторил серебристый смех Лотты Линденталь. После сцены «Кухня ведьмы» был антракт. Премьер-министр приказал привести артиста Хефгена к нему в ложу.

Хендрик совершенно побелел и в течение нескольких секунд стоял с закрытыми глазами, когда маленький Бёк передал ему это лестное приглашение. Великий миг настал. Он будет стоять лицом к лицу с полубогом... Ангелика, крутившаяся у него в уборной, принесла ему стакан воды. Он его разом осушил, и вот уже снова обрел способность стервозно улыбаться. И даже смог выговорить: «Значит, все идет как по писаному», — так, словно насмеялся над сим важным событием. А у самого губы были белы как мел.

Когда Хендрик вошел в ложу всемогущего, толстяк сидел впереди у барьера и барабанил мясистыми пальцами по красному бархату. Хендрик остался у дверей.

«Смешно, что у меня так стучит сердце!» — подумал он и в течение нескольких секунд молчал. Тут его заметила Лотта Линденталь. Она сладко проговорила:

— Милый, ты разрешишь представить тебе моего талантливого товарища по работе Хендрика Хефгена?

Великан повернулся. Хендрик услышал довольно высокий, жирный и резкий голос:

— А-а-а, наш Мефистофель...

Далее последовал смех.

Еще ни разу в жизни Хендрик не был так смущен, он сам застеснялся своего смятения и оттого стушевался еще больше. Его помутившемуся взору Линденталь тоже предстала в ином свете. Было ли тому виной ее блестящее ожерелье, или то обстоятельство, что она так явно накоротке со своим громадным господином и покровителем, но только облик ее стал вдруг царственно грозен. На Хендрика она произвела впечатление феи, правда, пышнотелой и ласковой, но отнюдь не безопасной. Ее улыбка, прежде казавшаяся ему добродушной и глуповатой, оказывается, была исполнена загадочного коварства.

Что касается жирного великана в пестрой форме, что касается роскошного полубога, то Хендрик от страха и напряжения почти его не видел. Огромную фигуру всемогущего словно окутывала вуаль — тот мистический туман, который испокон веков скрывает образы всемогущих вершителей судеб, богов, от робкого взора смертных. Лишь орденская звезда блестела сквозь туман да выступал устрашающий контур бычьего затылка, но вот вновь раздался командный голос — резкий и жирный:

— Подойдите же поближе, господин Хефген.

Люди, болтавшиеся в партере, уступили место на ложу премьер-министра. Шушукались, выворачивали шеи. Ни одно движение могучего властителя не ускользало от взглядов зевак, толпившихся между рядами. Передавали, что лицо генерала авиации все более теплело, веселело. О, он смеется, с благоговением констатировали в партере. Великий человек смеялся громко, сердечно, широко разевая рот. И Лотта Линденталь выдала жемчужно-колоратурный смешок, а артист Хефген, в высшей степени декоративно драпируясь в

черную накидку, показал триумфальную улыбку, которая на маске Мефистофеля казалась болезненной ухмылкой.

Беседа всемогущего с комедиантом становилась все оживленной. Вне всякого сомнения, премьер-министр веселился. Какие же великолепные анекдоты рассказывал Хефген? Как он добился того, что генерал авиации буквально захмелел от благодущества? Все в партере старались ухватить хотя бы несколько слов из тех, что слетали с кроваво-красных уст. Но Мефисто говорил тихо, лишь всемогущий мог расслышать его изысканные шутки.

Красивым жестом Хефген раскинул руки под накидкой так, словно бы у него выросли черные крылья. Всемогущий похлопал его по плечу; все в партере это заметили, благоговейный шорох нарастал. Но он тотчас смолк, как музыка в цирке перед опаснейшим номером, когда случилось нечто чрезвычайное.

Премьер-министр поднялся; вот он стоит во всем своем величии и сверкающей полноте и протягивает комедианту руку! Поздравляет его с великолепным исполнением? Похоже, что всемогущий заключил с комедиантом союз.

В партере распахнули рты и глаза. Все буквально глотали жесты троих там, в ложе, как некий невиданный спектакль, как волшебную пантомиму под заголовком «Артист обольщает власть». Никогда еще Хендрику так не завидовали. Счастличик!

Догадывался ли кто-нибудь из любопытствующих о том, что в действительности происходило в груди Хендрика, пока он глубоко склонялся над мясистой, волосатой рукой? Только ли счастье и гордость заставляли его содрогаться? Или он, к собственному удивлению, испытывал и кое-что другое?

Что же именно? Страх? Нет, почти отвращение... «Я вывалялся в грязи, — сам себе поражаясь, подумал Хендрик, — теперь у меня на руке пятно, его никогда не сотрешь... Я отмечен клеймом!»

На следующее утро весь город знал: премьер-министр в своей ложе принял артиста Хефгена и в течение двадцати пяти минут с ним беседовал. Представление после антракта началось со значительным опозданием, публике пришлось ждать, впрочем, ждала она с удовольствием. Сцена, которая была представлена в ложе премьер-министра, была куда увлекательней «Фауста».



Хендрик Хефген, который в «Буревестнике» выступал в качестве «товарища», на которого почти махнули рукой, отщепенец, эмигрант, — вот он у всех на глазах сидит бок о бок со всемогущим толстяком, и тот пребывает в самом оживленном настроении. Мефистофель флиртовал и шутил со всемогущим, тот несколько раз хлопал его по плечу и при прощании долго не выпускал его руки. Государственный театр взволнованно рокотал при этом представлении. В ту же ночь сенсационное событие страстно обсуждалось и коммен-

тировалось в кафе, салонах, редакциях. Имя Хефгена, которое в течение последних месяцев не произносилось без злорадной ухмылки или пожатия плеч, стали упоминать с благоговением. На него упал отблеск немыслимого блеска, окружающего власть.

Ибо колоссальный летчик, только что произведенный в генералы, принадлежал к самой что ни на есть верхушке авторитарного и тоталитарного государства. Над ним был только единый фюрер, а того уже вряд ли можно было отнести к категории смертных. Как господа небесного окружают архангелы, так диктатора окружали паладины. Одеснью был юркий карлик с хищной мордочкой, горбатый пророк, хвалитель, хулител, заушатель, шептун, пропагандист и лжец с раздвоенным жалом змеи. Ошуюю же находился великолепный толстяк. Он стоял, широко расставя ноги, величаво опершись на свой меч правосудия, сверкая орденами, лентами и цепями, каждый день в новом роскошном уборе. Покуда карлик одесную трона сочинял очередную ложь, толстяк готовил какой-нибудь новый сюрприз для собственного развлечения и для развлечения народа: празднества, казни, пышные наряды. Он коллекционировал орденские звезды, фантастические титулы. Разумеется, он коллекционировал и деньги. Он хохотал приятно хрюкающим смехом, выслушивая многочисленные анекдоты об этой его страсти к роскоши, которые народ позволял себе сочинять. Иногда, когда бывал в плохом настроении, он приказывал кого-нибудь арестовать и пытаться за слишком смелое высказывание. Но большей частью он доброжелательно ухмылялся. Быть предметом общественного юмора казалось ему признаком популярности, а к ней-то он и стремился. Он не умел так блестяще трепаться, как его конкурент, дьявол от рекламы, и приходилось добиваться популярности посредством массивных и дорогостоящих экстравагантностей. Он не мог нарадоваться своей славе и своему образу жизни. Он украшал свое распухшее тело, выезжал верхом на охоту, жрал и пил. Он приказывал воровать для него картины из музеев и развешивал их в своем дворце. Он поддерживал знакомства с богатыми, изысканными людьми, за его столом бывали принцы и знатные дамы. А ведь он был беден и жалок, и как еще недавно! Тем жадней наслаждался он сознанием, что денег и прекрасных вещей у него теперь сколько душе угодно. «Ну не сказочная ли у меня жизнь?» — думал он часто. У него была склонность к роман-

тическому. Поэтому он любил театр, похотливо принохивался к закулисной атмосфере и с удовольствием сидел в бархатной ложе, выставляясь напоказ публике, прежде чем увидеть что-нибудь приятное на сцене.

Его жизнь и сейчас уже казалась ему отличной, но совсем интересной, совсем по вкусу ему она станет лишь тогда, когда вновь вспыхнет война. Война — так считал толстяк — была бы еще более острым развлечением, чем все удовольствия, которые он себе позволял. Войне он радовался, как ребенок рождеству, и главную свою задачу видел в том, чтобы ее приготовить с самой хитроумной тщательностью. Пусть карлик от рекламы делает свое дело, выделяя миллионы на подкуп и взятки, расстилая целую сеть шпионов и провокаторов по пяти континентам, наполняя эфир наглыми угрозами и еще более наглыми заверениями о мирных планах, — его, толстяка, интересует лишь авиация. Ибо в первую очередь Германия должна иметь самолеты. Ведь в конце концов отравление атмосферы подлостью — лишь подготовительная игра. В один прекрасный день — и толстяк так страстно мечтал, что день этот недалек! — воздух европейских городов должен быть отравлен уже не только в переносном значении слова. Об этом уж позаботится генерал авиации. Он отнюдь не все свое время проводит в театрах или за переодеванием.

Вот он стоит на толстых, словно колонны, ногах, выпячивает огромный живот и сияет. На него и на хлопотливого шефа рекламы падает почти столько же света, сколько и на фюрера посередке. Тот же, в свою очередь, кажется, ничего не видит — его глаза пусты и тупы, как глаза слепца. Быть может, он смотрит внутрь? Или прислушивается к своему внутреннему голосу? И что он там слышит? Поют ли, твердят ли голоса в его сердце все время одно и то же, одно и то же — то, что не устают ему подтверждать министр пропаганды и все руководимые им газеты: что он ставленник божий и ему нужно лишь следовать собственной звезде, чтобы Германия, а с нею и весь мир были счастливы под его водительством? Впрямь ли он это слышит? Верит ли он в это? По его лицу — обрюзглому лицу обывателя, отмеченному экстазом самодовольства, — можно бы решить, что он и впрямь это слышит, что он в это действительно верит. Но предоставим его собственным восторгам и сомнениям. Это лицо не скрывает тайн, которые долго нас могли бы занимать и будора-

жить. В нем нет духовной высоты, оно не облагорожено страданием. Отвернемся от него.

Оставим этого великого мужа на его крайне подозрительном Олимпе. Кто же толпится вокруг него? Великолепное собрание богов! Прелестная группа гротескных, опасных типов, перед которой проклятый богом народ извивается в горячечном бреде благоговения. Возлюбленный фюрер скрестил руки на груди, из-под сурово насупленного лба слепой, жестоко-тупой взгляд сверлит толпу, коленопреклоненно шепчущую у его ног благодарственные молебны. Министр пропаганды кукарекает, министр авиации ухмыляется. Что же настраивает его на такой бодрый лад, что причиной такого веселья? Думает ли он о казнях, рисует ли ему фантазия новые, неслыханные методы уничтожения? Поглядите — вот он медленно поднимает громадную, толстую руку! Глаз всемогущего упал на кого-то в толпе. Отведут ли несчастного тотчас на пытку и смерть? Напротив, его ожидает милость, его ждет повышение. Кто же он? Артист? Ведь известно же, что сильные мира сего имеют склонность к комедиантам. Скромным, но твердым шагом он выступает вперед. «Приезжайте же». Он, пожалуй, подходит к этому обществу, у него то же фальшивое достоинство, тот же истерический порыв, тот же тщеславный цинизм и дешевый демонизм. Артист выпячивает подбородок и сверкает драгоценными глазами. И вот толстяк почти любовно протягивает к нему руки. Артист приближается к группе божеств. Вот он уже может купаться в их блеске. И с совершенной грацией придворного кавалера он преклоняет голову и колена перед жирным великаном.

В квартире Хендрика у площади Рейхсканцлера не переставая бренчал телефон. Бёк сидел у аппарата с записной книжкой и записывал имена. Звонили директора театров и киностудий, артисты, критики, портные, представители автомобильных фирм и коллекционерши автографов. Хефген к телефону не подходил. Он лежал в постели. С ним была истерика от счастья. Премьер-министр пригласил его на интимный ужин во дворце.

— Будет лишь несколько друзей, — сказал он.

Лишь несколько друзей! Хендрика значит, уже причисляют к близким! Он дрыгался и ликовал, меж шелковых по-

душек и одеял, он опрыскивал себя духами, разбил вдребезги вазочку, швырнул в стену домашней тувлей. Он ликовав: «Невозможно описать! Теперь я стану совсем великим! Толстяк сделает меня совсем-совсем великим!»

Вдруг он состроил озабоченное лицо и подозвал Бёка.

— Бёк, милочек, послушай-ка, Бёк, — проговорил он растянато. — Я очень большой подлец? — и вонзил взгляд в Бёка.

У Бёка были непонимающие водянисто-голубые глаза.

— Почему подлец? — спросил он. — Почему же подлец, господин Хефген? Ведь это просто успех!

— Это просто успех, — повторил Хендрик и посмотрел мерцающим взглядом в потолок. Он потянулся сладострастно. — Просто успех... Я его хорошо использую. Я буду делать добро. Бёк, милочек, ты мне веришь?

Бёк ему верил.

Это был третий взлет Хендрика Хефгена. Первый был самый солидный и заслуженный: ибо в городе Гамбурге Хендрик хорошо работал, публика бы должна ему быть благодарна за хорошие вечера. Во втором — в Берлине «периода системы» — уже имелись нездоровые, лихорадочные признаки. Этот же, третий, период казался неким производством в чин, «молниеносным», как все акции национал-социалистического правительства. Еще недавно Хендрик Хефген был эмигрантом; вчера еще — сомнительный персонаж, с которым боялись появляться вместе в общественных местах. И вот буквально за одну ночь он произведен в великие люди — одним мановением руки толстяка-министра.

Директор Государственного театра сделал ему тотчас же лестное предложение. Может быть, это было и не совсем стихийно; может быть, он действовал даже и неохотно, но по высшему повелению; так или иначе, он состроил самую хорошую мину при плохой игре, протянул только что ангажированному артисту обе руки и заговорил на саксонском диалекте — так распирала его, видите ли, сердечность.

— Как здорово, что вы теперь принадлежите целиком к нашему кругу, дорогой Хефген. Мне очень важно вам сказать, как я восхищаюсь вашим развитием. Из довольно легкомысленного человека вы превратились в совершенно серьезного, полноценного.

Цезарь фон Мук прекрасно понимал «кривую роста», которую он только что так эвфемистически описал и так благосклонно оценил. Ведь сам он проделал очень похожую. Правда, его политически предосудительное прошлое гораздо раньше ушло в небытие, чем грешки Хефгена. Но прежде чем стать другом фюрера и литературной звездой национал-социализма, Цезарь фон Мук успел прославиться как автор драм, насыщенных пацифистско-революционным пафосом.

Может быть, честно раскаявшийся драматург, достигший поста директора Государственного театра, вспоминал о литературных грехах своей пылкой юности? Не потому ли он с таким почтением говорил о развитии Хендрика Хефгена? Глядя на него теплым взглядом, он добавил:

— Кстати, сегодня вечером у меня будет возможность представить вас министру пропаганды. Он предупредил, что будет в театре.

Хендрик познакомился с полубогами, и выяснилось, что с ними можно иметь дело так же точно, как с каким-нибудь Оскаром Х. Кроге. С ними даже гораздо проще, чем с Профессором...

«Не так уж они страшны», — думал Хендрик и чувствовал искреннее облегчение.

Вот он, маленький юркий господин, повелевающий всем огромным аппаратом пропаганды, человек, который рабочим любит представляться как «старый доктор», который своей энергией, своим талантом оратора и с помощью своих вооруженных банд завоевал для национал-социализма скептический и смысленый город Берлин, — а город Берлин ведь не так-то легко обмануть. Вот каков он, значит, — хитрый ум партии, все-то знающий наперед: когда надо устроить факельное шествие, когда обрушиться против евреев и когда ругать католиков. Директор говорил по-саксонски, а министр говорил с рейнским акцентом, и Хендрик сразу же почувствовал себя уютно. К тому же гибкий карлик, казалось, был набит интересными и новомодными идеями. Он говорил о «революционной динамике», о «мистическом расовом законе жизни», а потом просто о бале в честь представителей прессы, где Хефгену надо будет с чем-то выступить.

Это мероприятие было первым, на котором Хендрику предстояло открыто появиться в кругу полубогов. На него возложили почетную обязанность сопровождать в зал фрейлейн Линденталь, так как премьер-министр вновь запоздает.

На Лотте было чудесное одеяние, вытканное из пурпурных и серебряных нитей. Хендрик почти страдал от изысканности и достоинства. Весь вечер его фотографировали — не только с генералом авиации, но и с министром пропаганды. Последний сам подал знак и продемонстрировал при этом свою знаменитую неотразимую, обворожительную ухмылку, которой одаривал и тех, кого спустя несколько месяцев приносили в жертву. Злобное сверкание глаз он, однако же, не смог загасить. Ибо он ненавидел Хефгена — креатуру премьер-министра. Но министр пропаганды был не такой человек, чтобы поддаваться чувствам и определять ими свои поступки. Напротив, у него достало расчетливости подумать: «Если этого артиста когда-нибудь причислят к звездам третьей империи, не стоит оставлять толстяку всю славу открытия. Надо сжать зубы и встать, ухмыляясь, рядом с ним перед фотоаппаратом».

Как все гладко идет! Как счастливо все оборачивается! Хендрик ощущает себя баловнем судьбы. «Вся эта благодать буквально как с неба свалилась, — думал он. — Ну можно ли пренебречь всем этим блеском? Никто бы этого не сделал на моем месте, никто, а кто будет спорить — просто обманщик и лицемер. Жить эмигрантом в Париже — это мне просто не подходит!» — закончил он с упрямым задором. В водовороте событий он иногда с отвращением вспоминал об одиночестве своих безутешных прогулок по парижским площадям и бульварам. Слава богу, теперь вокруг снова люди!

Как, бишь, зовут этого элегантного господина с седой головой и выпученными голубыми глазами, который так усердно заговаривает ему зубы? Правильно: ведь это Мюллер-Андреа, знаменитый забавник из «Интересного журнала». Любопытно, теперь он так же гребет деньги поучительными статьями под рубрикой «Знаете ли вы?». Нет, «Интересный журнал» закрылся. Господин Мюллер-Андреа, однако, жив и живет припеваючи. У него дом на широкую ногу. Уже в 1931 году он опубликовал книгу «Верные фюреру» — тогда, правда, под псевдонимом. Но тем временем он признал свое авторство, и верха обратили на него внимание. Господин Мюллер-Андреа прекрасно выкрутился, ему не надо горевать об «Интересном журнале», министерство пропаганды платит лучше. А веселый пожилой господин работает ведь теперь в министерстве пропаганды. Он сердечно пожимает руку артисту Хефгену: «Вот и свиделись... Да, да, времена измени-

лись, но нам обоим повезло». Господин Мюллер-Андреа всегда был поклонником артиста Хефгена.

А кто тот карлик, что размахивает записной книжкой как флагом? Это Пьер Ларю. Только теперь возле него нет никакого «jeune camerade communiste», а, напротив, только нарядные и стройные парни в обольстительных и внушающих страх формах СС. На торжествах и приемах высоких нацистских чиновников ему еще веселее, чем на мероприятиях, некогда устраиваемых еврейскими банкирами. Он просто расцвел, так много интересных имен записал в книжку — очень милые убийцы, и все сейчас занимают самые высокие посты в гестапо: учитель, недавно выпущенный из сумасшедшего дома, ныне министр культуры; юристы, называющие право либеральным предрассудком; врачи, считающие врачевание еврейским шарлатанством; философы, объявившие расу единственной объективной правдой. Всех этих изысканных господ месье Ларю приглашал в «Эспланаду» на ужин. Да, нацисты умеют ценить его гостеприимство, его нежную душу. Ему даже позволяют немного интриговать в посольствах, а в награду разрешают выступать во Дворце спорта. Сначала люди хихикали, когда бледный скелетик появился на трибуне и начинал пищать что-то о «глубокой симпатии подлинной Франции к «третьей империи»; но потом затихали, ибо «старый доктор» — сам министр пропаганды злобно взывал к порядку. И Пьер Ларю начинал декламировать что-то вроде любовного гимна в честь Хорста Весселя, погибшего сутенера и святого новой Германии, называл его надеждой и залогом вечного мира между двумя великими нациями — Германией и Францией.

Месье Ларю чуть было не бросился на шею артисту Хефгену — так он обрадовался при виде его.

— Oh, oh, mon très cher ami! Enchanté, charmé de vous revoir! *

Пожатие рук, сердечный смех. («Ну не приятно лижить в Германии? И мой новый любимец в своем элегантном мундире СС выглядит гораздо красивее, чем грязные молодые коммунисты, разве не правда?»)

— Bon soir, mon cher, je suis tout à fait ravi **, да здравствует фюрер, еще сегодня вечером я сообщу в Париж, как весело, как мирно настроены теперь в Берлине, никто не ду-

* О дорогой друг! Счастлив вас видеть! (Ф р а н ц.)

** Добрый вечер, дорогой, я в совершеннейшем восторге. (Ф р а н ц.)

мает ни о чем дурном, о, как прелестна фрейлейн Линденталь, а вот и доктор Ириг, здравствуйте, здравствуйте!

Новые рукопожатья — к ним подошел доктор Ириг. И его лицо тоже светилось от счастья. Для этого были все основания: его отношения с национальным режимом улучшались теперь день ото дня.

— Привет, Ириг, как дела, старый друг! — Хефген и Ириг улыбались друг другу, как два порядочных человека. Теперь они опять могут, не стесняясь, показываться вдвоем в общественных местах, они уже не компрометируют друг друга, уже не стыдятся друг друга. Успех — это утонченное, неопровержимое оправдание любого бесстыдства — заставил обоих забыть о стыдливости. Сияя, улыбаясь, раскланивались все четверо — месье Ларю и господи Ириг, Мюллер-Андреа и Хефген, ибо премьер-министр, проходя мимо них в ритме вальса с Лоттой Линденталь, им кивнул.

Отношения Хендрика с Лоттой Линденталь приобретали человеческую теплоту. В комедии «Сердце» оба имели большой успех. Опасения Лотты относительно строгости берлинской прессы оказались безосновательными. Напротив, все статьи были полны хвалами женственной грации, аскетической скромности и истинно германской задушевности ее игры. Никто не задал ей щекотливого вопроса, почему она так смешно отставляет мизинец. Напротив, доктор Ириг в обширной рецензии выразил мнение, что Лотта Линденталь поистине олицетворяет человеческую душу в новой Германии.

— Вот видите, Хендрик, этим я обязана главным образом вам, — говорила добродушная блондинка. — Если бы вы не работали со мной так самоотверженно, так много, я бы не имела успеха.

Хендрик подумал, что своим успехом она значительно больше обязана толстому генералу авиации, но промолчал.

Он играл вместе с Лоттой комедию «Сердце» и во многих больших городах провинции, в Гамбурге, Кельне, Франкфурте и Мюнхене. По всей стране он выступал в качестве партнера Лотты, «поистине олицетворявшей человеческую душу в новой Германии». Во время долгих поездок по железной дороге высокая дама позволила ему глубже заглянуть в тайники этой души. Толстяк бывал, оказывается, очень часто так груб!

— Вы не представляете себе, что мне порою приходится терпеть, — говорила Лотта. — Но по существу, — уверяла она, — он хороший человек. Что бы ни говорили о нем враги — он по существу сама доброта! И так романтичен!

У Лотты выступали слезы на глазах, когда она рассказывала, как премьер-министр в полночь, в медвежьей шкуре, с обнаженным мечом на боку, молится перед портретом своей покойной жены.

— Она ведь была шведка, — говорила Линденталь, будто это все объясняло. — Северянка. И она провезла его в машине по всей Италии, — после ранения во время мюнхенского путча. Конечно, я понимаю, он к ней так привязан. Он ведь так романтичен. Но теперь у него есть я, — добавляла она все же чуть обиженным голосом.

Артист Хефген принимал участие в приватной жизни богов. Когда вечером после спектакля он сидел у Лотты в ее прекрасных покоях возле Тиргартена и играл с ней в шахматы или в карты, случалось, вдруг входил премьер-министр. Ну не добряк ли? И разве видно по нему, какие страшные дела он совершил сегодня и какие запланировал на завтра? Он шутил с Лоттой, выпивал стаканчик красного вина, вытягивал огромные ноги и беседовал с Хефгеном о серьезных вещах, большей частью о Мефистофеле.

— Я только благодаря вам правильно понял этого типа, — говорил генерал. — Вот это парень! И разве во всех нас не сидит его частица? Я имею в виду: разве в каждом истинном немце нет частички Мефистофеля, частицы плута и злодея? Если бы в нас была только одна фаустовская душа, далеко ль бы мы с ней ушли? Такое было бы на руку нашим многочисленным врагам! Нет, нет, Мефисто — это тоже немецкий национальный герой. Только людям об этом нельзя говорить, — заключал министр авиации, с наслаждением хрюкая.

Интимные вечерние часы в доме Линденталь Хендрик использует для того, чтоб добиваться чего ему угодно от своего покровителя, почитателя прекрасного. Так, например, он вбил себе в голову выступить на сцене Государственного театра в роли Фридриха Великого — такой был у него каприз.

— Мне надоело вечно играть одних только денди и преступников, — дуясь, объяснял он толстяку. — Публика начинает меня отождествлять с этими типами, я ведь все время

их играю. А мне нужна большая патриотическая роль. И скверная пьеса о старом Фрице, которую принял к постановке наш приятель Цезарь фон Мук, мне как раз и подходит. Как раз для меня!

Генерал возражал, что Хефген вовсе не похож на знаменитого Гогенцоллерна, Хендрик настаивал на своем патриотическом капризе. Кстати, его поддерживала и Лотта.

— Но я же умею создавать маску! — восклицал он. — Я еще и не такое вытворял! Подумаешь — изобразить старого Фрица!

Толстяк полностью доверял таланту перевоплощения в своем подопечном. Он приказал, чтобы Хефген играл старого Фрица. Цезарь фон Мук, назначивший уже другого исполнителя, сначала закусил губу, а потом потряс Хефгену обе руки и от задушевности заговорил с саксонским акцентом. Хендрик получил роль своего прусского короля, наклеил фальшивый нос, ходил с костылем и говорил кряхтящим голосом. Доктор Ириг писал, что он все больше и больше делается выразителем духа новой империи. Пьер Ларю сообщал в один фашистский журнал Парижа, что берлинский театр достиг теперь совершенства, о котором и не мечтал в течение четырнадцати лет позора и политики умиротворения.

Хендрик добивался и не таких мелочей у своего мощного покровителя. В один особенно уютный вечерок — Лотта как раз сварила крешон, а толстяк пустился в воспоминания о военных временах — Хефген решился на полную откровенность и рассказал о своем ужасном прошлом. Это была великая исповедь, и всемогущий милостиво ее принял.

— Я артист! — восклицал Хендрик, мерцая взором, и как нервная буря носился по комнате. — И как каждый художник, я творил глупости.

Он остановился, запрокинул голову, раскинул руки и объявил патетическим голосом:

— Вы можете меня уничтожить, господин премьер-министр. Я вам признаюсь во всем. — И он признался, что был затронут разлагающими большевистскими течениями и кокетничал с «левыми». — Это был каприз художника! — заявил он с горделивым страданием. — Или, если угодно, глупость художника!

Конечно, толстяк знал все это и даже гораздо больше, знал уже давно, и это его никогда не волновало. В стране должна царить железная дисциплина, необходимо казнить

как можно больше людей. Но что касается более тесного окружения — тут великий человек был либерален.

— Ну и что? — сказал он. — Каждый может совершить глупость. Времена-то уж были больно плохие! Никакого порядка!

Но Хендрик еще не кончил. Теперь он решил объяснить генералу, что и другие заслуженные артисты совершали такие же глупости, как и он.

— Но они продолжают искупать грехи, которые мне так великодушно прощены. Видите ли, господин премьер-министр, меня это очень мучает. Я прошу за одного человека. За товарища. Я могу обещать вам, что он исправится. Господин премьер-министр, я прошу за Отто Ульрихса. Говорили, что он умер. Но он жив. И он имеет право жить на свободе.

При этом он неотразимо прекрасным жестом поднял обе руки, вопреки форме производившие впечатление аристократических, примерно до высоты носа.

Лотта вздрогнула. Премьер-министр пробурчал:

— Отто Ульрихс... а кто это? — Потом он вспомнил, что это бывший руководитель коммунистического кабаре «Буревестник». — Но ведь это же опасный тип! — сказал он досадливо.

Ах, нет вовсе он не опасный! Хендрик заклинал генерала не верить этому. Немного легкомысленный — верно, несколько опрометчивый — правда. Но не опасный тип! И ведь он же изменился.

— Отто стал совсем другим человеком, — уверял Хендрик, у которого в течение долгих месяцев не было с Ульрихсом никакого контакта.

Но так как сама Лотта Линденталь поддержала Хендрика в этом щекотливом деле, в конце концов удалось добиться от толстяка невозможного: Ульрихса выпустили на свободу и даже предложили ему небольшие роли в Государственном театре. Ульрихс сказал:

— Не знаю, могу ли я на это пойти. Мне противно получать милость из рук убийц и изображать раскаявшегося грешника. Мне вообще все противно.

Неужели еще читать старому другу доклад о революционной тактике? Хендрик восклицал:

— Ну, Отто! Ты рехнулся... Как сегодня обойтись без хитрости и притворства? Бери пример с меня!

— Знаю, — сказал Ульрихс добродушно. — Ты хитрее. А мне это трудно...

Хендрик выразительно отрезал:

— Придется себя заставить. Я тоже себя заставляю. — И он поведал другу о том, какие усилия ему приходится делать над собой, чтобы выть с волками по-волчьи. Приходится, к сожалению. — Приходится пробираться в логово льва, — объяснял он. — Если мы останемся вовне, мы сможем только ругаться и ничего не достигнем. А я — в самой середине. И кое-чего добиваюсь.

Это был намек на то, что Хендрик добился освобождения Ульрихса.

— Теперь, когда тебя приняли в Государственный театр, ты сможешь восстановить старые связи и будешь работать совсем по-иному, не из какого-то сомнительного укрытия.

Этот аргумент убедил Ульрихса. Он кивнул.

— И вообще, — размышлял Хендрик, — чем ты думаешь жить, если у тебя не будет ангажемента? Не собираешься же ты вновь открыть «Буревестник»? — спрашивал он презрительно. — Или хочешь подохнуть с голоду?

Они сидели в квартире Хефгена у площади Рейхсканцлера. Хендрик снял своему другу, всего лишь несколько дней назад вышедшему на свободу, комнатку по соседству.

— У меня тебе жить не стоит, — говорил он. — Это бы повредило нам обоим.

Ульрихс со всем соглашался.

— Делай, как лучше.

Взгляд у него был грустный и рассеянный, лицо похудело. Он часто жаловался на боли.

— Это почки. Мне здорово досталось.

Хендрик с несколько сладострастным любопытством пытался узнать подробности, но Отто отмахивался и молчал. Он неохотно говорил о своем пребывании в концентрационном лагере. Упомянув какую-нибудь подробность, он тотчас как бы стыдился и раскаивался. Когда он гулял с Хендриком по Груневальду, он показывал на дерево и говорил:

— Вот по такому дереву мне как-то пришлось влезать. Было довольно трудно. Я залез на самый верх, а они в меня бросали камнями. Один попал — вот шрам. Сверху мне надо было сто раз крикнуть: «Я дерьмо, я коммунистическая свинья». Когда мне разрешили слезть, внизу меня уже ждали с плетками.

Отто Ульрихс — из-за усталости, или апатии, или потому, что его убедили аргументы Хендрика — согласился работать в Государственном театре. Хефген очень обрадовался.

«Я спас человека, — думал он гордо. — Это доброе дело». Такими размышлениями он успокаивал свою совесть, еще не окончательно заглохшую, несмотря на непосильные испытания, каким он ее подвергал. Впрочем, дело было не в одной только совести, временами его мучившей, — дело было и в другом чувстве. То был страх. Вечно ли продолжится эта возня? А вдруг придет день великих перемен, великой мести? На этот случай недурно перестраховаться. А добрый поступок по отношению к Ульрихсу очень и очень ему зачтется. И Хендрик радовался.

Все обстояло блестяще, у Хендрика не было повода огорчаться. Только одно, к сожалению, заботило его. Он не знал, как избавиться от своей Джульетты.

По существу, ему вовсе не надо было от нее избавляться, и если бы можно жить, как хочется, он бы оставил ее при себе; ибо он ее еще любил. Может быть, он даже никогда так сильно не тосковал по ней, как теперь. Он понял, что ни одна женщина не сможет ее заменить. Но он уже не решался ее посещать. Слишком большой риск. Ему приходилось следить за ним с помощью шпионов, это очень возможно, хотя директор от полноты души говорит с ним на саксонском диалекте, а министр с ним фотографировался. Если они выяснят, что он имеет сношения с негритянкой, да к тому же дает ей себя избивать, — он пропал. Черная! Это, во всяком случае, так же плохо, как еврейка. Это именно то, что теперь называют «расовым позором» и весьма осуждают. Немец должен делать детей со светловолосой женщиной, фюреру нужны солдаты. И ни в коем случае нельзя брать уроки танцев у какой-то принцессы Тебаб. Что за сомнительная причуда! Ни один уважающий себя истинный немец такого не делает. И Хендрику тоже не следует себе этого позволять.

Какое-то время он питал безрассудную надежду, что Джульетта не узнает, что он в Берлине. Но, конечно, она об этом узнала в самый день его прибытия. Она терпеливо ждала его. Он не давал о себе знать; и она перешла в наступление. Она позвонила ему по телефону. Хендрик велел

Бёку сказать, что его нет дома. Джульетта неистовствовала, снова звонила, угрожала, что придет. И что же ему — о господи! — что же Хендрику оставалось делать? Писать ей письмо показалось ему неблагоразумным: она бы могла его использовать для шантажа. Наконец он решился пригласить ее в то тихое кафе, где состоялось его секретное свидание с критиком Иригом.

На Джульетте, когда она в условный час явилась в кафе, не было ни зеленых сапог, ни короткой кофточки, но, напротив, очень скромное серое платье. Глаза ее были красны и опухли. Она плакала. Принцесса Тебаб, дочь вождя из Конго, проливала слезы о своем неверном белом друге.

«Ревела от бешенства», — решил Хендрик. Он не мог поверить в то, что Джульетте известны и другие чувства, кроме злобы, жадности, прожорливости и чувственности.

— Значит, ты меня прогоняешь, — сказала темная девушка, опустив веки над подвижными и умными глазами.

Хендрик пытался разъяснить ей ситуацию в осторожных, но убедительных словах. Он выказывал отеческую озабоченность ее будущностью и мягким голосом дал ей совет как можно скорее уехать в Париж. Там она найдет работу танцовщицы. А он обещает каждый месяц посылать ей немного денег. Обольстительно улыбаясь, он положил на стол крупную купюру.

— Не хочу я в Париж, — упрямылась принцесса Тебаб. — Мой отец был немец. И я себя чувствую немкой. У меня светлые волосы — правда, я их не красила. Да я и ни слова не знаю по-французски. Что мне делать в Париже?

Хендрик посмеялся над ее патриотизмом, ее это разозлило. Она раскрыла свои дикие глаза, стала ими вращать.

— Недолго тебе смеяться, — закричала она, подняла темные шершавые руки и протянула к нему, будто хотела показать светлые ладони. Хендрик в ужасе оглянулся на официантку, а Джульетта, громко причитая, почти выкрикивала упреки и обвинения: — Тебе на все, на все плевать, — кричала она. — На все, на все, кроме твоей дерьмовой карьеры! На меня плевать и на политику на твою тебе плевать, а ты все время мне про нее толковал! Если бы ты действительно был за коммунистов, разве бы ты снюхался с людьми, которые расстреливают всех коммунистов?

Хендрик побелел как скатерть. Он встал.

— Хватит! — сказал он тихо.

А она залилась презрительным хохотом на все кафе. К счастью Хендрика, кроме них, тут никого не было.

— Хватит! — обезьяничала она, скаля зубы. — Хватит — да, как бы не так! Хватит! Долгие годы ты из меня делал дикарку, а у меня вовсе не было к этому охоты! И вот, видите ли, захотел стать сильным мужчиной! Хватит! Да, хватит! Теперь я тебе не нужна. Может быть, потому, что теперь по всей стране так много лупят? Так что ты и без меня не останешься в накладе?! Ну негодяй же ты! Ну и подлый же негодяй!

Она закрыла лицо руками, тело ее тряслось от рыданий.

— О, я понимаю, почему твоя жена, эта Барбара, тебя не выдержала, — рыдала она. — Я ведь ее видела. Слишком жирно для тебя...

Хендрик уже дошел до двери. Купюра осталась на столе перед Джульеттой.

Но нет, так легко от принцессы Тебаб не отделаться, добром она не уйдет. Если она на этот раз уступит — она это хорошо поняла, — тогда ей его не видать, ее Хендрика, ее белого раба, ее господина, ее Гейнца, — у нее ведь никого, кроме него, нет. Когда он женился на этой Барбаре, Джульетта не растерялась, она знала, что он вернется к ней, к своей Черной Венере. Теперь дело обстоит иначе. Теперь речь идет о его карьере. Он отсылает ее в Париж. Но ее же звали Мартенс, и ее отец стал видным национал-социалистом, не подхвати он тогда в Конго малярию...

Джульетта не хотела отступать. Но Хендрик был сильнее. Он был в союзе с властью.

Бедная девушка беспокоила его какое-то время письмами и телефонными звонками. Потом поджидала возле театра.

Когда однажды после представления он покинул здание — благодаря счастливой случайности он был один, — она стояла тут как тут, в зеленых сапогах, короткой юбочке, с торчащей грудью и ужасно поблескивавшими зубами. Хендрик панически развел руками, будто прогоняя привидение. Одним прыжком он добежал до своего «мерседеса». Джульетта пронзительно захохотала ему вслед.

— Я еще приду! — кричала она, когда он уже сидел в машине. — Я буду приходить каждый вечер! — со страшной веселостью кричала она. Может быть, она сошла с ума от боли

и разочарования? А может быть, просто напилась? Она захватила с собой красную плетку — знак своей связи с Хендриком Хефгеном.

Ужасающая сцена ни в коем случае не должна повториться. Хендрику больше ничего не остается, как обратиться с этим неловким делом к толстому покровителю, премьер-министру. Только он один может помочь. Правда, это рискованная игра: всемогущий может потерять терпение. Но нужны решительные меры, иначе скандал неминуем.

Хефген попросил аудиенции и, как уже было однажды, очень подробно исповедался. Генерал неожиданно обнаружил почти веселое понимание эротических экстравагантностей, которые довели его любимца до такой беды.

— Мы ведь все не ангелы, — говорил толстяк, добротой которого Хендрик на этот раз был искренно растроган. — Черномазая размахивает плеткой возле Государственного театра! — Премьер-министр смеялся от всего сердца. — Прекрасная история! Ну что ж нам теперь делать? Девушка должна исчезнуть, это уж как пить дать...

Хендрик, который вовсе не хотел того, чтобы принцессу Тебаб обязательно убили, тихо попросил:

— Но, надеюсь, ей не причинят зла?

Тут государственный деятель расшалился.

— Ну, ну, — погрозил он пальцем. — Кажется, вы и сейчас еще в зависимости от этой дамы! Я сам возьмусь за это дело! — добавил он по-отцовски.

В тот же день к несчастной дочери вождя явились два корректных, но неумолимых господина и сообщили ей, что она арестована. Принцесса Тебаб вскрикнула:

— За что?

Но оба господина сказали в один голос, тихо, но твердо, тоном, не терпящим возражений:

— Следуйте за нами!

Она только успела всхлипнуть:

— Я ничего плохого не делала!

Перед домом стояла закрытая машина. С ужасающей вежливостью господина предложили Джульетте в нее влезть. Во время поездки, длившейся довольно долго, она рыдала, требовала, чтобы ей сказали, куда ее везут. Ей не отвечали. Она стала кричать. Но тут же умолкла, почувствовав на своем плече твердую хватку спутника. Она поняла: все разговоры, все жалобы бесполезны, а крик может стоить ей жизни. Или

все равно никакой надежды нет? Хендрик призвал против нее власть. Хендрик использовал безжалостную власть, чтобы убрать со своего пути беззащитную девушку... Почти ослепнув от ужаса, она уставилась в пустоту.

Последовали долгие дни молчания — десять, четырнадцать или всего лишь шесть? Ее поместили в полутемной камере; она не знала, в каком доме эта камера. Никто ей не говорил, где она, и почему, и как долго ей придется тут сидеть. Она и не спрашивала. Три раза в день молчаливая женщина в голубом фартуке приносила ей немного поесть. Иногда Джульетта плакала. Но больше сидела неподвижно и смотрела в стену. Она ждала, что вот откроется дверь и кто-то явится и поведет ее в последний путь — к непонятной горькой избавительнице — смерти.

И когда ночью ее разбудили от тяжелого сна, она сразу почти с облегчением поняла: час настал. Но перед ней стоял не человек в форме, не палач, а Хендрик. Лицо его было очень бледно, виски страдальчески запали. Джульетта смотрела на него, как на привидение.

— Ты рада меня видеть? — тихо спросил он.

Принцесса Тебаб не отвечала. Она смотрела на него.

— Ты молчишь, — сказал он опечаленно. И страдальчески-напевным голосом добавил, одарив ее волшебным, очаровательным взглядом: — Я так рад. Ты свободна, — и сделал красивый жест рукой.

Пока принцеса Тебаб, не двигаясь, смотрела на него, он стал объяснять ей, что она может тотчас же уехать в Париж. Уже все улажено: в ее паспорте французская виза, чемоданы ждут на вокзале, а в Париже она по первым числам каждого месяца будет получать определенную сумму по условленному адресу.

— С этой великой милостью связано лишь одно условие, — так сказал Хефген, вестник свободы, и при этом его сладкие глаза внезапно стали строгими. — Ты должна молчать. А если не сможешь держать язык за зубами, — сказал он уже другим, довольно грубым тоном, — тогда пиши пропало. Ты не уйдешь от судьбы в Париже. Так как же, обещаешь ты мне, дорогая, что будешь молчать? — Голос его опять стал умоляющим, и он нежно склонился к своей жертве. Джульетта молчала. Упорство ее было сломлено за долгие дни в полутемной камере. Она только кивнула. — Ты поумнела, — констатировал Хендрик и облегченно улыбнулся. При этом он по-

думал: «Мой строгий подход сделал ее сговорчивей. Мне уже нечего ее бояться. Но как, однако, жалко, как бесконечно жалко, что я ее теряю...»

Принцесса Тебаб уехала. Можно легко вздохнуть, небо свод снова прояснился. Ужасные телефонные звонки больше не будят Хефгена. Но что за странное чувство он испытывает? Только ли облегченье?

Джульетта исчезла. Барбара исчезла. Обаим он клялся в вечной любви. Ведь он называл Барбару своим добрым ангелом! «Слишком жирно для тебя», — так сказала про нее принцесса Тебаб. «Что знает неотесанная негритянка обо мне и моей сложной душевной жизни?» — пытался мысленно возражать ей Хендрик. Но не всегда удавались ему такие дешевые увертки. Иногда бывало стыдно. Может быть, перед самим собою. Может быть, перед Джульеттой; она так жалобно смотрела на него в полутемной камере — с таким упреком, с такой угрозой, с такой мольбой. А он ее потерял. Прогнал и предал. Были минуты, когда Хендрику приходилось вспоминать о своей Черной Венере. Он наслаждался ее проклятой, неодухотворенной силой, которая освежала, обновляла его. Он сотворил из нее себе кумира, ведь это о ней, о ней, наверное, сказано:

— *Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, o Beauté? ** — И он восклицал в эгоистическом упоенье: — *Tu marches sur des morts, dont tu te moques... *** Но может быть, она никакой не демон. В конце концов она вовсе не ходит по трупам. Одинокая, горько плачущая, она уехала в чужой город. Почему же? Потому что кое-кто другой может при случае ходить по трупам...

«Он ходит по трупам» — так непочтительно выражался молодой Ганс Миклас о своем знаменитом товарище актере Хендрике Хефгене. Упрямый мальчик не хотел считаться с тем, что его старый смертельный враг был под особым покровительством премьер-министра и великой Линденталь.

* С небес ли ты нисходишь или поднимаешься из бездны, о Красота? (Франц.)

** Ты ступаешь по трупам, ты смеешься над ними... (Франц.)

Миклаё позволял себе самые неосторожные выходки: ругал не только коллегу Хефгена, но и господ, которые стояли гораздо выше, чем он. Неужели он не понимал, как рискованны его дерзкие, необдуманнные речи? Или понимал, но нимало не беспокоился об этом? Значит, он все поставил на карту? Неужто ему жизнь не дорога? По лицу его видно было, что он на что-то твердо решился. Никогда прежде, даже в гамбургский период, он не был так озлоблен и так упрям, как сейчас. Ведь тогда еще были надежды, была великая вера. Теперь не осталось ничего. Он повторял:

— Все дерьмо. Нас провели, — говорил он. — Фюрер хотел власти, и больше ничего. Что улучшилось в Германии с тех пор, как он ее захапал? Богачи стали богаче. Только несут патриотическую чушь, обдывая свои дела — вот и вся разница. А интриганы по-прежнему живут припеваючи. — Миклас имел в виду Хефгена. — Приличный немец хоть сдохни — никто о нем и не вспомнит, — говорил Миклас. — А бюрократам живется лучше, чем всегда. Посмотрите-ка на толстяка, как он разъезжает в золотом мундире, в роскошном лимузине! А сам фюрер тоже не лучше! Теперь-то мы знаем! Разве иначе стал бы он это терпеть? Такие несправедливости? Наш брат боролся за это дело, когда в него еще никто не верил, а теперь нас по боку. А бывший большевик Хефген процветает...

Такие необузданные и предосудительные речи вел теперь молодой Миклас. Во всеуслышанье. Не удивительно, что сотрудники Государственного театра стали его избегать. Директор раз вызвал его к себе и предупредил:

— Я знаю, что вы в течение многих лет в партии, — сказал Цезарь фон Мук. — Именно поэтому вы должны были обучиться дисциплине, и мы предъявляем к вам особенно высокие требования.

Миклас сделал непроницаемое лицо. Он опустил упрямый подбородок, выдвинул вперед слишком красные губы и сказал тихим хриплым голосом:

— Я выйду из партии.

Куда он гнет?

Мук возмущенно повернулся к молодому актеру спиной, Миклас закашлялся. Кашель сотрясал его худое тело, с которым он в течение долгих лет так безжалостно обращался. Продолжая кашлять, он покинул кабинет директора. Лицо его посерело, щеки ввалились. Глаза, обведенные черными кру-

гами, сверкали ярким и злым огнем. Не без удивления, даже не без сожаления смотрел директор вслед молодому человеку. «Его песенка спета», — думал Цезарь фон Мук.

Твоя песенка спета, бедный юный Ганс Миклас! После такого напряжения, после такой расточительной веры что тебе осталось? Только ненависть, только тоска и дикое желание ускорить конец. Ах, он и так не за горами, в этом-то по крайней мере ты можешь не сомневаться, недолго тебе ненавидеть, недолго горевать. Ты отважился бросить вызов власти и лицам, о воцарении которых мечтал. Но ты слаб, юный Миклас, и у тебя нет заступников.

Власть, которую ты любил, свирепа. Она не терпит критики, и кто противится, того она уничтожает. Тебя уничтожат, мальчик, уничтожат боги, на которых ты так истово молился. Ты упадешь как подкошенный, из маленькой раны вытечет немного крови в траву, и губы побелеют, станут белыми-белыми, как твой сияющий лоб.

И никто не оплачет твою гибель, твой конец — конец такой великой, такой пылкой, так горько обманутой надежды. И кому тебя оплакивать? Ты ведь почти всегда был один. Матери своей ты не писал годами, она вышла замуж за чужого мужчину, ведь отец твой умер, погиб в мировую войну. Кому же по тебе плакать? Кому рыдать над понапрасну утраченной юностью? Так закроем же тебе глаза, чтобы им не оставаться открытыми, не смотреть в небеса с молчаливой мольбой, с горьким упреком. Может быть, смерть смирила тебя, бедное дитя? Может быть, ты стал добрее, чем был во время суровой своей жизни? И может быть, ты простишь нам — твоим врагам, — что мы, только мы склоняемся над твоим трупом.

Ибо судьба твоя сбылась, все шло быстро. Ты накликал свой конец, ты его призвал. Зачем тебе было собирать вокруг себя других юношей, еще моложе, еще наивнее, чем ты в свое время, и играть с ними в заговорщиков? Против кого? Против самого фюрера? Или против одного из его сатрапов? Вы думали, что все должно быть «совсем по-другому» — ведь вот о чем вы всегда мечтали! Национальная революция — так вы думали — подлинная, настоящая, бескомпромиссная революция! Лишь она, она одна все перевернет, все спасет. Вас так подло обманули! И разве не отправили вы письмо за границу одному эмигранту, который когда-то был другом фюрера, а потом в нем разочаровался?

И вот однажды утром в твою комнату явились парни в мундирах. Ты уже и раньше имел с ними дело, это были старые знакомые, и они втолкнули тебя в машину, она ждала внизу. Ты недолго сопротивлялся. Тебя отвезли на несколько километров от города, в лесок. Утро было свежее, ты продрог, но никто из твоих старых друзей не дал тебе пледа или пальто. Машина остановилась, тебе приказали пройтись несколько шагов. Ты сделал эти несколько шагов. Ты еще раз вдохнул запах травы, утренний ветерок коснулся твоего лба. Ты держался прямо. Может быть, люди в машине испугались бы, увидя твое несказанно высокомерное лицо; но они не видели твоего лица, они видели только твою спину. Потом раздался выстрел.

Государственному театру, где ты не выступал уже в течение недель, было сообщено, что ты погиб в автомобильной катастрофе. Сообщение это приняли сдержанно, никто не был склонен верить в его достоверность. Фрейлейн Линденталь сказала:

— Ужасно! Такой молодой! Правда, мне он никогда особенно не нравился. Уж очень беспокойный. Вы не находите, Хендрик? И до того злые глаза...

На этот раз Хендрик не ответил своей влиятельной подруге. Он боялся представить себе лицо молодого Ганса Микласса. Но оно ему явилось — хотел он того или нет. Вот оно стоит перед ним совершенно отчетливо в полутьме коридора. Глаза закрыты, на лбу сиянье. Упрямо выдвинутые губы шевелятся. Что же они говорят? Хендрик отвернулся и побежал, спасаясь в суете дня, чтобы не слышать, не слышать того, что говорит этот строгий, чудесно преображенный концом посланец смерти.

Месяцы проходят, миновал год 1933-й, великий год, если верить журналистам, чьи мнения вдохновлены министерством пропаганды. Год исполнения желаний, год триумфа, победы; год, когда пробудилась немецкая нация, чтобы во славе обрести себя и своего фюрера.

И радостный, блистательный год для артиста Хефгена — это уж точно. Он начался с неприятностей, но кончился весь-



ма благополучно. Находчивый Хендрик вступает в год 1934-й уверенно и как нельзя более бодро. Он уверен в благосклонности власти имущих. Он может положиться на милость премьер-министра. Великий человек распростер над ним свою широкую охраняющую длань. Он считает Хефгена — Мефистофеля чем-то вроде придворного шута и блистательного плута, забавной игрушкой. Артисту давным-давно простили его подозрительное прошлое — шалость художника. Негритянку с плеткой он сбыл с рук. Хефген будет играть много-много

прекрасных ролей. Он может сниматься в кино и загребать большие деньги. Премьер-министр его часто принимает. Почти так же непринужденно, как он, бывало, входил в кабинет директора Шмица или фрейлейн Бернгард, входит комедиант в рабочие помещения или в домашние покои генерала.

— Вот ты меня и лицезришь.
Я убежден, поладить мы сумеем
И сообща твою тоску рассеем, —

так дерзкой цитатой из «Фауста» приветствует Хендрик всемогущего. Всемогущий не знает более приятного отдыха после своих кровавых и блистательных забот, чем позабавиться придворным шутом. У фрейлейн Линденталь, можно сказать, почти есть повод для ревности. Но она ведь добродушная, да и сама питает слабость к Хендрику Хефгену. Какой вес, какой ореол придает ему в широких кругах всем известная, повсюду обсуждаемая дружба с грозным толстяком!

Он, может быть, создаст авторитет
Среди детей и дурней недалеких... —

так нередко думалось Хендрику, когда коллеги и писатели, первые дамы нового режима и даже политики осыпали его льстивыми любезностями. Так ли уж нужно ему «создать авторитет» среди немецких националистов, так ли уж необходимо сахарное подобострашие типов вроде месье Пьера Ларю? Такое ли уж наслаждение выслушивать тонкие, изысканные комплименты доктора Ирига, светские любезности господина Мюллера-Андреа? В беседах со старинным другом Отто Ульрихсом он высказывается обо всей этой «проклятой банде» презрительно. Но не сладки ли и впрямь его слуху эти заверения в преданности, эти проявления внимания? И так ли уж дурно шампанское за столом Пьера Ларю в гостинице «Эспланада», поглощаемое в прекрасном кругу декоративно разодетых юношей-эсэсовцев?

У Хендрика объявилось бесчисленное множество друзей, среди них и потешные фигуры. Например, поэт Пельц, чьей взыскательной, неясной, мрачной и пленяющей лирикой до экстаза упивались молодые люди, по большей части теперь находившиеся в изгнании. Беньямин Пельц, маленький коренастый человек с мягкими голубыми, холодными глазами, обрюзгшими щеками и большим, свирепо сладострастным ртом, объяснял в интимном разговоре, что он любит нацио-

нал-социализм, поскольку он начисто уничтожит цивилизацию, механический порядок которой стал невыносим. А еще потому, что он влечет к пропасти, он пропах смертью и несет безмерные страдания той части земли, которая иначе выродилась бы не то в безупречно организованную фабрику, не то в санаторий для слабоумных.

— Жизнь в демократиях стала безопасна, — негодовал поэт Пельц. — И нашему существованию все более недоставало героического пафоса. Спектакль, зрителями которого мы теперь становимся, — это спектакль о рождении нового человеческого типа — нет, гораздо больше: о возрождении древнего, магически воинственного человеческого типа. Какой прекрасный, захватывающий спектакль! Какой волнующий процесс! Вы должны гордиться, дорогой Хефген, что можете активно принимать в нем участие!

При этом он с любовью смотрел на Хендрика своим тихим, ледяным взглядом.

— Жизнь снова обретает ритм и прелесть, она пробуждается от оцепенения, скоро она вновь, как в прекрасные, угасшие эпохи, обретет стремительность и порыв. Тем, кто не в силах видеть и слышать этот новый ритм, танец может показаться заученным строевым маршем. Глупцы ошибаются. Глупцов обманывают внешние признаки архаически-военного стиля. Какое грубое заблуждение! Ведь на самом деле это не маршировка, а упоение, теперь не маршируют, а упиваются экстазом. Наш любимый фюрер толкнул нас во тьму, в ничто. Как же нам не восхищаться им — нам, поэтам, у которых свое особое отношение ко тьме и бездне? Ведь когда мы называем нашего фюрера божественным, это никакое не преувеличение. Он — божество преисподней, божество, которое для всех народов, посвященных в магию, было самым главным. Я безгранично им восхищаюсь, ибо я безгранично ненавижу скучную тиранию разума и мещанскую фетишизацию прогресса. Все поэты, заслуживающие этого имени, — урожденные и заклятые враги прогресса. Ведь самый акт писания стихов — рецидив древних и святых, доцивилизованных отношений. Творить и убивать, кровь и песня, убийство и гимн — все рифмуется. Все рифмуется, что за пределами цивилизации, что уходит вглубь, в тайные пласты, насыщенные тревогой. Да, я люблю катастрофы, — говорил Пельц, склоняя лицо с меланхолически свисающими щеками и как-то особенно улыбаясь, словно ощущая на тол-

стых губах сладость конфеты или поцелуя. — Я жажду смертоносных приключений, жажду бездны, жажду крайностей, которые ставят человека вне цивилизованных связей, приводят его в тот край, где нет страховых обществ, нет полиции, нет комфортабельных лазаретов, целящих его от безжалостных стихий и хищных врагов. Нам все это предстоит, можете быть уверены, мы еще насладимся ужасами. Но мне никаких ужасов не хватит. Мы все еще слишком ручные — наш великий фюрер еще не может действовать совсем так, как ему бы хотелось. Где они, публичные пытки? Где публичные сожжения прекраснодушных болтунов и тупиц, поклонников разума? — На этом месте Пельц нетерпеливо постучал ложкой по чашке, словно подзывая официанта, который слишком долго заставляет его ожидать обещанного аутодафе. — Почему все еще существует давно уже неуместная секретность, ложная стыдливость, зачем прячут за стенами концентрационных лагерей прекрасный праздник пыток? — спрашивал он строго. — А сжигали, насколько мне известно, до сих пор лишь книги, но ведь это ничто! Но наш фюрер покажет нам и другое, я твердо на это рассчитываю. Зарево пожара на горизонте, кровавые ручьи по всем дорогам и неистовый танец оставшихся в живых, танец уцелевших среди трупов! — Поэт весь озарился радостной верой в ужасы ближайшего будущего. С изысканной вежливостью, набожно сложив руки на груди, он наставлял Хендрика: — А вы, мой дорогой господин Хефген, вы останетесь среди тех, кто будет особенно грациозно прыгать над падалью. У вас на лице это написано, я умею читать. Вы — прелестный сын преисподней, и не случайно господин премьер-министр вас отличает. Вы обладаете подлинным плодотворным цинизмом абсолютного гения. Я вас чрезвычайно ценю и люблю, мой дорогой господин Хефген.

Эти причудливые и сомнительные комплименты Хендрик слушал со стервозной улыбкой и с загадочно мерцающими глазами. Не у каждого столь глубокие и тонкие основания любить национал-социализм, как у поэта Пельца. Другие просто говорили:

— Я всегда был и остаюсь немецким художником и немецким патриотом, кто бы ни правил в моей стране. Мне в Берлине лучше, чем где бы то ни было на свете, и у меня нет ни малейшего желания уезжать. К тому же где еще, скажите, я заработаю столько денег, сколько загребаю тут?

Так вечерами за пивом высказывался толстый исполнитель характерных ролей Йоахим. Здесь по крайней мере все было ясно. Он бы эмигрировал и стал бы темпераментным антифашистом, сделай ему Голливуд выгодное предложение. Но, к сожалению, Голливуд ему такого предложения не делал: Йоахим, блиставший когда-то в числе самых знаменитых немецких артистов, был уже не совсем тот, что прежде. Поэтому-то он и объяснял с самой простодушной миной в кругу коллег:

— Где найдешь еще такое хорошее пиво, как в наших старинных немецких погребках? Может быть, мне кто-нибудь скажет?

И вызываяще, несколько злобно обводил взглядом собеседников. Его крупное, выразительное лицо с обрюзгшими щеками и недоверчивыми глазами обманчивым добродушием напоминало морду медведя, который кажется смешным и неуклюжим, но из всех хищников самый жестокий. Подхалимы уверяли характерного артиста Йоахима, что у него решительное сходство с господином премьер-министром. И тогда актер ухмылялся. Но он впадал в ужасный гнев, если до его слуха доходило, что кто-то утверждал, будто он наполовину еврей.

— Приведите ко мне этого негодяя! — кричал Йоахим, и лицо его багровело. — Пусть он мне в лицо повторит свою наглую ложь! Какая подлость! Оскорбить честь настоящего немца!

Но ужасные слухи вокруг имени характерного артиста не умолкали. Перешептывались: с одной из его бабушек не все в порядке. «Настоящий немец» через детективов выяснил, кто эти подлые клеветники. Несколько человек попали в концентрационный лагерь за то, что подозревали бабушку характерного актера.

— Подлость у нас теперь не остается безнаказанной! — с удовлетворением вздыхал Йоахим.

Он посещал влиятельных друзей и коллег, чтобы с глаз на глаз раз и навсегда убедить их в том, что может гарантировать безупречность крови своих предков.

— Положа руку на сердце, — говорил Йоахим Хефгену, которому он нанес торжественный визит после одного воскресного утренника. — У меня все в порядке. Все как надо, мне не в чем себя упрекнуть.

Он верными собачьими глазами смотрел на Хефгена сни-

зу вверх. Он поднаторел в такой повадке, играя роли неотесанных, но добродушных отцов, вздорящих со своими сыновьями, чтобы тотчас, обливаясь слезами, с ними помириться.

— Каждого, кто утверждает противное, я велю арестовать, — говорил в заключение слащавым голосом «настоящий немец». — Ведь мы живем в правовом государстве.

К этой точке зрения Хендрик Хефген мог лишь присоединиться. Он предложил коллеге, со столь похвальным усердием боровшемуся за свою честь, сигары и прекрасный старый коньяк. Два мастера провели утро весело и задушевно. На прощанье Йоахим обнял коллегу Хефгена неуклюжим объятьем медведя, который душит врага, и попросил передать сердечный привет фрейлейн Линденталь.

Вот такие друзья теперь были у Хефгена — иногда интересные — вроде Пельца, иногда добросердечные — как Йоахим. Но где же те, кого он раньше называл друзьями? Что с ними случилось?

Барбара написала ему из Парижа с просьбой о разводе. Судебные формальности были быстро улажены в отсутствие обоих супругов. Для развода не требовалось особых причин: судьи отнеслись с пониманием к тому факту, что человек с положением и взглядами Хефгена — выдающегося деятеля прусского Государственного театра и личного друга господина премьер-министра ни в коем случае не может оставаться в браке с дамой, которая проживает в качестве эмигрантки за границей, не делает секрета из своих враждебных государственному строю взглядов и к тому же, как недавно выяснилось, еще и нечистой расы. Обвинить ее скомпрометированного отца, тайного советника, в том, что в его жилах течет еврейская кровь, не решались даже профессиональные лгуны национал-социалистской прессы. Но нашлось, в чем его обвинить, и это было, пожалуй, почище: он был повинен в «осквернении расы», — его супруга, дочь генерала, не была безупречной арийкой. Не случайно у дедушки Барбары, занимавшего высокий пост офицера, о военных заслугах которого вдруг никому не захотелось знать, — не случайно у него были подозрительные либеральные наклонности. Теперь самым естественным, хотя и самым неприятным образом разъяснилась кипучая интеллектуальная деятельность генеральши, превосходившая все общепринятые и подобающие офицерскому кругу масшта-

бы. Генерал не был подлинным немцем, он был недочеловеком и семитом. Вильгельм II благосклонно этого не заметил. Но один из нюрнбергских антисемитских листов это обнаружил. Полуеврейкой была и генеральша. Погромный листок брался это доказать. Не помогло ни ее блестящее прошлое, ни ее царственная красота, ни ее достоинство! Грязный писака, невымытый выскочка, за всю свою жизнь не написавший и одной немецкой фразы без ошибки, теперь с удовлетворением констатировал, что она не принадлежит к немецкому обществу.

В Барбаре, значит, было более тридцати процентов плохой крови. Уже одного этого обстоятельства было бы достаточно немецкому суду в качестве обоснования развода. Светловолосые рейнцы могут притязать на жену безупречной расовой чистоты. Но такую жену, как Барбара, Хендрик не мог бы себе позволить даже и в том случае, если бы она была чистокровной арийкой. Ведь это просто позор и открытый скандал — все ее поведение!

Она не покидала Парижа с тех пор, как в феврале 1933 года туда прибыла. Каждый, кто знал ее с прежних времен, заметил бы, что она переменялась. Все мечтательное в ней исчезло, она уже не была расположена ни к печальным, ни к веселым играм. На лице пролегла решительная черточка — между бровями и на лбу. Даже ее походка, раньше небрежная, выдавала теперь энергию. Так передвигается тот, кто видит перед собою цель и не успокоится, покуда ее не достигнет.

Барбара, прежде проводившая время за рисованием, за чтением трудных книг, в заботах о друзьях, за легкими играми, мечтательными раздумьями, — Барбара стала активной. Она работала в комитете по делам политических беженцев из Германии. Кроме того, вместе со своим другом Себастьяном и фрау фон Герцфельд она издавала журнал, предостерегающий против фашизма, посвященный военным приготовлениям Германии, ее злодеяниям против культуры и права. Себастьян и Герцфельд были ответственны за редактуру; Барбара ведала деловой частью. К собственному ее удивлению, выяснилось, что она обладает способностями и известной ловкостью по части финансовых операций. Маленький журнал должен был сам себя содержать, ниоткуда не получая поддержки. Он выходил еженедельно, каждый номер на немецком и французском языках. Сначала он расходился

лишь в тесном кругу абонентов и печатался не в типографии, а на гектографе. По прошествии же полугода из тонких листков получилось издание, имевшее друзей во всех европейских городах за пределами Германии.

— В Стокгольме нас читают пятьдесят человек, в Мадриде — тридцать пять, в Тель-Авиве — сто десять, — говорила Барбара. — Голландией и Чехословакией я вполне довольна. С Швейцарией дело еще не наладилось. Нам бы ловкого представителя в Америке! Сотни тысяч должны о нас узнать! А мы так бедны... — так она говорила на «редакционной конференции» в маленьком номере гостиницы. — Наши враги тратят миллионы на распространение своей лжи, а у нас едва хватает на почтовые расходы.

Она сжимала худые загорелые руки в кулаки. Взгляд делался грозным — как всегда, когда она думала о ненавистных врагах.

Изменился и Себастьян, прежде интересовавшийся лишь самыми изысканными и сложными вещами. Теперь он пытался думать и писать просто.

— У борьбы свои законы, это не высокая игра искусства, — говорил он. — Закон борьбы требует от нас того, чтобы мы избавились от тысяч оттенков и сосредоточились на одном. Моя задача сейчас — не узнавать, не создавать прекрасное, но действовать — по мере своих сил. И это самая тяжелая жертва, которую я приношу.

Иногда он уставал. И тогда говорил:

— Мне противно. Все так бессмысленно. Ведь они гораздо сильнее нас, против рожна не попрешь. Сколько же можно изображать Дон-Кихота? Я мечтаю об острове, о далеком-далеком острове, куда бы не доходили даже глухие отзвуки того, что так мучает нас...

— Но нет такого острова! — кричала на него Барбара. — Его нет и не должно быть, Себастьян! А наши враги вовсе не так уж сильны! И они нас боятся. Каждое слово — любое слово правды, бьет по ним и на какую-то малость — на самую малость, Себастьян! — приближает их гибель, их неминуемую гибель.

Когда ее друг Себастьян уставал, она делалась вдвойне убежденной, уверенной.

— Представь себе, — рассказывала она ему, — у нас два новых абонента в Аргентине, это же здорово, они нам даже деньги уже прислали.

Барбара полдня тратила на то, что писала напоминания в книжные магазины и в пункты распространения Софии или Копенгагена, Токио или Будапешта по поводу маленьких сумм, которые ей там задолжали.

У Барбары с Геддой фон Герцфельд установились особые отношения, не то чтобы дружба, но и нечто большее, чем просто деловые отношения. Барбара глубоко уважала фрау фон Герцфельд. Та проявляла энергию и смелость. Она была очень одинока, и ей осталась только ее работа. Она относилась к их маленькому журналу, как мать к ребенку. Когда вышел первый номер, напечатанный типографским способом и к тому же в несколько лучшем оформлении, Гедда чуть не расплакалась от радости. Она обняла Барбару и стала говорить ей — тихо, на ухо, хотя в комнате никого больше не было, — как она ей за все благодарна. Барбара долго смотрела в большое, мягкое, пушистое от пудры лицо фрау фон Герцфельд и увидела, что черты ее стали резче, определенной. По ним можно было судить о внутренней борьбе, о душевных переживаниях, сильных и горьких, которые в этом году выпали им всем на долю. В первые недели эмиграции Гедда встретила своего мужа, давным-давно с ней расставшегося. Может быть, она связывала с этой встречей какие-то надежды? Выяснилось, что у мужа ее в Москве была связь с одной девушкой. Что ж, вполне естественно. Гедда была достаточно разумна, она все понимала. Все же это сообщение задело ее и рассеяло ее надежды, да она и сама-то себе в них не вполне признавалась.

А Хендрик? Думала ли она о нем? Однажды, лишь один-единственный раз, она упомянула это имя в разговоре с Барбарой.

— Хорошо ли ему? — спросила она тихо, это было ночью, поздно, они долго работали вместе. — Как ему тамошняя жизнь? Доволен ли он своей новой славой?

— О ком ты? — спросила Барбара, не глядя.

Фрау фон Герцфельд покраснела, попыталась иронически улыбнуться.

— Как о ком? О твоём бывшем супруге...

Барбара сказала тихо:

— А он жив? Я даже не знала, что он еще существует. Я не люблю призраков прошедшего, и менее всего таких сомнительных, как это привидение.

И больше они ни разу о нем не говорили.

Иногда Барбара посещала своего отца, который жил совсем один на юге Франции, у Средиземного моря. Он покинул Германию сразу же после поджога рейхстага — к бешенству и разочарованию целой банды национал-социалистских студентов, обнаруживших его дом пустым, когда они в него ворвались, чтобы показать «красному тайному советнику», что о нем думает «истинно немецкая молодежь». Истинно немецкая молодежь была исполнена решимости зверски избить знаменитого на весь мир старика, а потом усадить его в машину и отвезти в ближайший концентрационный лагерь. Банда бушевала, потому что на вилле тайного советника оказалась лишь дрожавшая от страха экономика. Чтобы хоть кое-что сделать для Германии и придать известный смысл этой ночной прогулке, они немного потрясли старуху и заперли ее в погребе, а сами развлекались в библиотеке. Истинно немецкая молодежь топтала произведения Гёте и Канта, Вольтера и Шопенгауэра, Шекспира и Ницше. «Все это марксизм!» — орал молодчики в мундирах. В горящий камин полетели труды Ленина и Фрейда, а молодчики радостно плясали. На обратном пути молодые люди говорили, что все же провели несколько приятных часов в доме тайного советника.

— А если бы старый осел сам был дома! — восклицали весельчаки. — То-то была бы потеха!

Тайный советник увез в чемоданах самые важные бумаги и малую, но самую любимую часть библиотеки. Проведя несколько недель в путешествии по Швейцарии и Чехословакии, он осел на юге Франции. Он снял небольшой домик, в саду были несколько пальм и прекрасные цветники, и был вид на море.

Старый господин редко выходил, он большей частью сидел один дома. Часами он бродил взад-вперед по своему саду или сидел у дверей и не мог досыта наглядеться на бесконечно меняющиеся краски моря.

— Это такое утешение, — говорил он Барбаре, — мне так хорошо, когда я вижу эту прекрасную воду. Все то время, что меня здесь не было, я не помнил, какое синее оно бывает — Средиземное море... Все немцы, заслуживающие этого имени, тоскуют по нему и почитают его как святую колыбель нашей культуры. И вот вдруг оказывается, что его надо ненавидеть. Немцы хотят силой освободиться от его нежной власти, от его милости; они воображают, будто могут

обойтись без его прекрасной ясности. Они кричат, что она им надоела. Но это их собственная культура. Значит, им надоела собственная культура. Значит, надо уничтожить все то великое, что они сами подарили миру? Кажется, дело обстоит именно так. Ах, эти немцы! Сколько им еще придется страдать, и какие ужасные страдания они еще причинят другим!

Национал-социалистское государство конфисковало дом и имущество тайного советника. Оно лишило его гражданства. Брукнер лишь из заметки во французской прессе узнал, что он лишен гражданства и что он больше «не немец». Через несколько дней после того, как он прочел эту заметку, он снова приступил к работе. «Это будет толстая книга, — писал он Барбаре, — и она будет называться «Немцы». В ней я соберу все, что о них знаю, все о моих страданиях и надеждах, связанных с немцами. А я-то много о них знаю, я многого опасаюсь, и я все еще не теряю надежды».

Страдая и раздумывая, он проводил дни у чужого любимого берега. Иногда проходили целые недели, когда он не произносил ни слова, кроме нескольких французских фраз с девушкой, убиравшей дом. Он получал много писем. Его прежние ученики, теперь находившиеся в эмиграции или в отчаянном положении в Германии, обращались к нему за словом утешения и совета.

«Ваше имя остается для нас воплощением другой, лучшей Германии», — отважился написать ему кто-то из баварской провинции — правда, измененным почерком и без обратного адреса. Такие признания и уверения в преданности тайный советник читал с болью и благодарностью.

Он думал: «Ведь все эти люди, которые так чувствуют и пишут, терпели все это, виноваты во всем этом — в том, что наша страна стала такой, какова она сегодня». Он откладывал письма в сторону и снова раскрывал свою рукопись, которая медленно росла и обогащалась любовью и знанием, печалью и упорством, глубоким сомнением и еще более глубокой — хотя и обусловленной тысячью оговорок — убежденностью.

Брукнер знал, что в другом маленьком городе на юге Франции, не далее чем в пятидесяти километрах от него, живут Теофиль Мардер с Николеттой. Как-то раз они встретились на прогулке и поздоровались, но не договорились о

встрече. Мардер, как и Брукнер, не был склонен к общению. У сатирика прошло его веселое озорство. Ужас при известии о немецкой катастрофе заставил его умолкнуть. Как и Брукнер, сидел он часами в садочке, где были пальмы и цветущие кустарники, и смотрел на море. Но в глазах Мардера не было тихой задумчивости. Они были беспокойны, они пылали, они безутешно блуждали над огромной мерцающей равниной моря. Голубоватые губы не утратили сосущей и чмокающей подвижности. Только теперь с них не слетало проклятий — остались беззвучные жалобы.

Теофиль, прежде так прямо державший голову, сидел теперь сгорбясь. Свинцового цвета руки лежали на худых коленях, такие усталые, будто он уже никогда не сможет ими шевельнуть. Он сидел неподвижно, лишь глаза блуждали и губы продолжали жалобный беззвучный разговор. Иногда он вздрагивал, словно его напугало чье-то ужасное лицо. Тогда он с трудом поднимался и вскрикивал, глухо, по-стариковски покряхтывая:

— Николетта, идем! Я прошу тебя, идем немедленно! — И Николетта выходила из дому.

На ее лицо теперь легли усталость и меланхолическое терпение, не идущие к смело изогнутому носу, резко очерченному рту и выпуклому лбу. Щеки стали шире и мягче, в прекрасных распахнутых глазах не было уже того вызывающего блеска, который прежде так притягивал и так будоражил. Николетта уже не казалась упрямой и высокомерной девушкой, но женщиной, много любившей и много страдавшей. Она пожертвовала своей юностью. Одержимая чувством, в котором судорожная истерика сочеталась с подлинным огнем, драгоценным волнением сердца, она подарила свою юность человеку, ставшему теперь старой развалиной.

— Чего тебе, Теофиль? — спрашивала она. Образцовый выговор у нее сохранился, несмотря на все перемены, в ней происшедшие. — Чем тебе помочь, милый?

А он стонал, будто увидел страшный сон:

— Николетта, Николетта, деточка моя... Ах, как страшно... Слишком страшно... Я слышу крики тех, кого пытаются в Германии. Я слышу их так отчетливо, ветер носит их по морю... Палачи заводят граммофон во время адских процедур, это подлый прием, они затыкают рты несчастных подушками, заглушают крики... А я их все равно слышу. Я все слышу... Бог покарал меня, он наградил меня самым чувствительным слу-

хом среди смертных. Я — мировая совесть, я слышу все. Ах, Николетта, Николетта, деточка моя!

Он цеплялся за нее. Измученные глаза блуждали по южному ландшафту, и мирный пейзаж наполнялся чудовищными фигурами. Николетта касалась ладонью его горячего, мокрого лба.

— Я знаю, мой Теофиль, — говорила она ему с нежностью. — Ты все слышишь, ты все видишь. Тебе надо отчитаться перед миром в своих познаниях: это и для тебя и для мира будет полезно. Тебе надо писать, Теофиль, тебе надо писать!

Целый год умоляла она его, чтобы он работал. Она страдала от его окостенения, от этого столбняка. Она восхищалась им, она считала его величайшим среди живущих, она не хотела его видеть в стороне от событий, в своих мечтах она видела его решительно призывающим мир опомниться, бьющим тревогу. Но он на все отвечал ей:

— Что же еще писать? Я все сказал. Я все знал заранее. Я разоблачал обман. Я чувствовал запах гнили. Если бы ты только знала, деточка моя, как тяжело все знать заранее. Мои книги забыты, словно никогда и не были написаны. Собрания моих сочинений сожгли. Мои пророчества унес ветер — и все же то, что делается сегодня, весь этот несказанный ужас, — только эпилог к моему пророческому творчеству. В моих произведениях уже есть все, все предвидено, даже то, чему еще предстоит случиться, — самое страшное, конечная катастрофа. Я это уже выстрадал, уже придал этому форму. Что же мне еще писать? Я ношу в себе страдания мира. В моем сердце разыгрываются все катастрофы, и настоящие, и будущие. Я, я, я...

В этих трех звуках, в этом «я» помутившийся разум запутался, как в ловушке, и он умолк. Голова, облагороженная страданием, — она казалась теперь более изящной, нежной, более строгой, совершеннее вылепленной, чем раньше, — склонилась на грудь. Теофиль внезапно заснул.

Николетта вернулась в дом, остановилась в темной прохладной передней. Медленно подняла она руки и закрыла лицо. Она хотела рыдать, но слезы не шли. Она слишком много плакала. Николетта шептала:

— Я больше не могу. Я больше не могу. Мне надо уехать отсюда. Я не выдержу.

Разбросанные по разным городам, по разным странам, жили люди, которых Хендрик называл некогда своими друзьями. Некоторым жилось хорошо. Профессору, например, жаловаться было не на что, мировая слава такого масштаба не приедается. Профессор вполне мог рассчитывать, что до конца дней будет жить в замках с барочной мебелью и гобеленами или в княжеских апартаментах лучших гостиниц. В Берлине не хотят, чтобы он ставил там пьесы из-за того, что он еврей? Отлично, и даже более того: тем хуже для берлинцев. Профессор, щелкая языком, сердито ворчал несколько дней и в конце концов решил, что он и так последнее время был слишком занят. Пусть теперь берлинцы обходятся без него и сами ставят пьесы, пусть «этот Хефген» разыгрывает комедии перед своим фюрером — ему, Профессору, еще в этом сезоне предстоит поставить большую оперетту в Париже, две шекспировские комедии в Риме и Венеции и нечто вроде религиозного ревю в Лондоне. Кроме того, предстоят гастрольные поездки с «Коварством и любовью» и «Летучей мышью» по Голландии и Скандинавии, а весною его ждут в Голливуде, он подписал контракт на фильм.

Обоими его театрами в Вене управляли фрейлейн Бернгард и господин Кац. О них тоже не приходилось тревожиться. Иногда господин Кац с тоской вспоминал веселое время, когда он надул берлинцев мрачной драмой «Вина», выдав себя за испанского невропатолога.

— Да, в тех шутках был размах! — говорил он, пощелкивая языком, почти так же внушительно, как его господин и повелитель.

Теперь уже ничего не предпримешь эдакого, с «душой а-ля Достоевский» — господин Кац окончательно сослан в низменную деловую сферу. Приуныла и фрейлейн Бернгард, она вспоминала Курфюрстендамм, она вспоминала Хефгена.

— Какие великолепные, какие злые у него глаза, — вспоминала она мечтательно. — Моего Хендрика — вот кого мне больше всего жалко отдавать нацистам, право же, слишком жирно для них — такое прекрасное создание!

Правда, и теперь один юный венский бонвиван, хоть и не столь демоничный, как Хефген, но зато тем более галантный и невзыскательный, называл ее Розой и щекотал ей подбородок.

Новый взлет, новый триумф, превзошедший все берлин-

ские успехи, затмивший их, выпал на долю Доры Мартин в Лондоне и Нью-Йорке. Она училась английскому с усердием тщеславного школьника или авантюриста, желающего завоевать незнакомую страну. Теперь она могла себе позволять на новом языке все те своевольные экстравагантности, которыми прежде очаровывала Берлин и ошеломляла его. Она растягивала гласные, она ворковала, жаловалась, хихикала, ликовала, пела. Она была дикой и угловатой, как тринадцатилетний мальчик, невесомой, легкой, как эльф. Ее импровизации казались небрежными и капризными. На самом же деле как тщательно был измерен каждый нюанс, как точно и вдумчиво рассчитаны все интонации, исторгающие смех и слезы у очарованной публики. Хитрая Дора знала, что любят англосаксы. Она была ровно на йоту сентиментальнее, на йоту женственней и нежней, чем в Германии. Она теперь реже позволяла себе грубые и хриплые тона. Зато она чаще трогала невинно-детским, беспомощным, широко раскрытым взглядом.

— Я чуть-чуть видоизменила свою манеру, — говорила она, кокетливо втягивая голову в плечи. — Ровно настолько, насколько нужно, чтобы понравиться англичанам и американцам.

Она ездила из Лондона в Нью-Йорк и обратно и в каждом городе играла по сто раз одну и ту же вещь. Днем она снималась в кино. Удивительно, как у нее на все хватало сил. Узкое детское тело, казалось, не знало усталости, словно одержимое какой-то демонической силой. Американские и английские газеты прославляли ее как величайшую актрису земли. Когда она после спектакля на четверть часа появлялась в гостинице «Савой», оркестр играл в честь нее туш и все присутствующие вставали. Актрису-еврейку, изгнанную из Берлина, почитали обе англосаксонские столицы. Она была принята английской королевой, принц Уэльский прислал ей розы, молодые американские писатели писали для нее пьесы. Иногда журналисты, приезжавшие из Вены или Будапешта, чтобы взять у нее интервью, спрашивали, нет ли у нее желания как-нибудь вновь сыграть в немецкой пьесе. Она отвечала:

— Нет. У меня нет охоты. Я уже не немецкая актриса.

Но иногда она думала: «Что говорят в Берлине по поводу моих новых успехов? Знают ли? Конечно, знают. Надеюсь, они там злятся хоть немного. Ибо радоваться моим победам

там некому. А ведь сотни тысяч людей притворялись, будто пламенно любят меня. Так пусть хоть позлятся, чтобы не вовсе меня забыть».

Большой английский фильм, в котором она играла главную роль, показали в Берлине. Но он шел всего несколько дней. Потом разразился скандал. Министр пропаганды приказал организовать «стихийное возмущение». В кинотеатре сидели переодетые в штатское штурмовики. Когда лицо Доры Мартин появилось на экране крупным планом, эти типы, сидевшие по всему залу, стали свистеть, горланить, швырять вонючие бомбы.

— Долой проклятых евреек с немецкого экрана! — ревели переодетые хулиганы.

Погасили свет, представление сорвалось. В паническом страхе покидали кинотеатр любопытные, решившиеся поглядеть подозрительный фильм. Все похожие на евреев — а посмотреть на Дору Мартин пришло довольно много евреев — были задержаны и избиты. Министерство пропаганды распространило в Лондоне сообщение, что либерально настроенное немецкое правительство разрешило фильм, но берлинская публика не может терпеть такого рода зрелищ. Общественное возмущение непосредственно, сильно, но вполне понятно. Отныне все фильмы с участием Доры Мартин должны быть запрещены. Когда Дора узнала, что из-за нее — или по крайней мере из-за ее изображения на экране — избивали евреев, она корчилась от отвращения, будто ее рвало отравленной едой.

— Негодяи, — бормотала она, и глаза ее пылали гневом. — Подлые, низкие негодяи.

Она потрясала кулаками, она походила — лицо, овеянное рыжей гривой, — на народную героиню, взывающую к мести.

Во многих городах жили они, во многих странах искали прибежища. Оскар Х. Кроге, например, пока остановился в Праге. Он не был ни евреем, ни коммунистом, но старым поборником литературного авангарда. Он верил в театр как в моральное учреждение, он верил в вечные идеалы справедливости и свободы; вопреки столь многим разочарованиям он не хотел отказаться от своей наивной доверчивости — для него не было места в новой Германии. Полный решимости продолжать благородные традиции доброго старого франкфуртского времени, он в Праге сразу же отправился

на розыски тех, кто мог бы понять его энтузиазм и предоставил бы ему в распоряжение несколько тысяч чешских крон. В одном из погребков близ Праги он хотел открыть литературные подмости. Он нашел кредиторов — денег они дали мало. Он нашел погребок, и нескольких молодых актеров, и пьесу, в которой очень много говорилось о «человечестве», о «заре лучшей жизни». Он работал с молодыми актерами, пьеса была поставлена. Шмиц, оставшийся верным своему другу, заведовал финансами, а Кроге, упрямый идеалист, своенравный мечтатель о высоком и прекрасном, хотел остаться, ничем не тревожимый, в чистой сфере искусства. Ах, не всегда удавалось Шмицу оставлять его на этих высотах. Не хватало самого необходимого, никогда бы Кроге — старый представитель богемы, знакомый с денежными затруднениями, но не знавший настоящей бедности, — никогда бы он не поверил, что со столь смехотворной денежной суммой можно содержать хотя бы самый скромный театр. Но пока дела кое-как шли. Пока еще, хотя к экономическим затруднениям прибавились и политические. Ибо немецкое посольство в Праге, тяготясь пацифистской экзальтацией эмигрировавшего из Гамбурга театрального директора, настаивало против него местную власть. Кроге и Шмиц оборонялись, были стойки, не уступали. Но при этом оба худели и старели. Шмиц вовсе уже не глядел таким розовым, а на озабоченном лбу и вокруг кошачьего рта Кроге залегали все более глубокие складки.

По разным городам, по разным странам...

Джувьетта Мартенс по прозвищу принцесса Тебаб, дочь вождя из Конго, нашла место в маленьком кабаре на Монмартре. С полуночи до трех утра она демонстрировала американцам, все реже наезжавшим в Париж с тех пор, как упал доллар, нескольким подвыпившим господам из французской провинции и нескольким сутенерам свое прекрасное тело и свою изысканную чечетку. Она выступала почти голая, только маленький бюстгальтер из зеленых бусинок и купальные штанишки из зеленого атласа, совсем маленькие, но зато с большим пучком зеленых страусовых перьев сзади. Намекая на это птичье великолепие, она утверждала, что она птичка. Она повторяла это многократно: «Я птичка, я прилетела из-за океана, чтобы здесь, на Монмартре, свить себе гнездышко». Но она очень мало походила на птичку. А грустная комната на рю де Мартир отнюдь не напоминала гнез-

дышко. Она была мрачная и выходила на тесный, грязный двор. Единственным украшением на голых пятнистых стенах была фотография актера Хендрика Хефгена. Однажды в приступе бешенства и боли Джульетта ее разорвала, но потом тщательно склеила обрывки. Правда, рот Хендрика получился несколько кривым, придавая лицу вероломное выражение, и поперек лба, как шрам, проходила полоса клея, но в остальном его красота была безупречно восстановлена.

По первым числам каждого месяца Джульетта брала у швейцара одного дома, владельца которого она не знала, маленькую денежную сумму, посылаемую Хендриком. Жалованье в кабаре на Монмартре и поддержка из Берлина составляли вместе как раз столько, сколько нужно было для жизни. Можно было не ходить на панель. Она почти ни с кем не виделась, любовника у нее не было. О своих берлинских приключениях она ни с кем не говорила: частью из страха лишиться жизни или по крайней мере маленькой ежемесячной ренты, частью чтобы не доставлять неприятностей Хендрику. Ибо сердце ее принадлежало ему.

Она ничего не забыла и ничего не простила. Ежедневно, хоть раз в день, она с ненавистью и ужасом вспоминала полутемную камеру, в которой так много выстрадала. Она думала о мести, но месть эта должна быть большой и сладкой, а не убогой и жалкой. Долгие часы долгого дня принцесса Тебаб валялась в грязной постели и мечтала. Вот она вернется в Африку, соберет вокруг себя всех чернокожих, станет их королевой и госпожой и поведет свой народ к большому восстанию, к большой войне против Европы. Белая часть света созрела для гибели. С тех пор как к Джульетте пришли служащие берлинской тайной полиции, она знала это совершенно точно, наверняка. Белая часть света должна погибнуть, принцесса Тебаб мечтала пройтись победным маршем со своими темными братьями по столицам Европы. Красавая баня должна смыть позор, покрывший эту часть света. Наглые господа станут рабами. И любимым рабом дочь вождя видела у своих ног Хендрика. Ах, как она будет измываться над ним! Ах, как она его избалует! Она увьет лысый череп цветами, но этот венец он будет носить, ползая на коленях. Униженный, украшенный, как самая драгоценная добыча, он — этот негодяй, ее возлюбленный — будет следовать за ней в ее свите.

Так мечтала Черная Венера, и сильные, грубые пальцы играли красной кожаной плеткой.

Однажды во время одной из вечерних прогулок Джульетта увидела в потоке людей, лившемся к площади Согласия, Барбару. Супруга Хендрика, так долго являвшаяся предметом зависти и сожаления Джульетты, шла быстро, погруженная в раздумья. Джульетта кончиками пальцев дотронулась до ее рукава и сказала глубоким, грубым голосом: «Бон суар, мадам».

И при этом слегка наклонила голову. Когда та удивленно подняла глаза, негритянка уже прошла. Барбара увидела только широкую спину, но и та скоро исчезла за другими спинами, за другими телами.

По разным городам, по разным странам... Иные жили в Дании, иные в Голландии, кто в Лондоне, кто в Барселоне, кто во Флоренции. Другие подались в Аргентину, некоторых занесло в Китай.

Николетта фон Нибур — Николетта Мардер вдруг объявилась в Берлине. С красными чемоданами и картонками, довольно-таки обтрепанными и потрескавшимися, она появилась в квартире Хендрика Хефгена у площади Рейхсканцлера.

— Вот и я, — сказала она и попыталась сверкнуть глазами. — Я больше не могу. Теофиль великолепен, он гений, я люблю его больше, чем когда-либо. Но он поставил себя вне времени, вне реальных обстоятельств. Он стал мечтателем, Парсифалем — я этого не в силах выдержать. Ты понимаешь, Хендрик, — я не в силах!

Хендрик это понимал. Он был всей душой против мечтателей и, со своей стороны, абсолютно сохранил контакт со временем и его обстоятельствами.

— Вся эта эмиграция — дело слабаков, — объяснил он строго. — Люди на курортах Южной Франции считают себя мучениками, на самом деле они дезертиры. Мы здесь на передовой, они же прячутся в тылу.

— Я обязательно хочу на сцену, — сказала Николетта, покинувшая мужа.

Хендрик сказал, что это можно устроить без больших трудностей.

— В Государственном театре я могу добиться практически чего угодно. Цезарь фон Мук — ну да, он пока еще директор... Но премьер-министр его не любит, а министр пропа-

ганды покрывает его лишь из самолюбия. Уже открыто поговаривают, что наш Цезарь никуда не годится. У него очень «кучный» репертуар, больше всего ему хочется ставить собственные пьесы. В актерах он тоже ничего не смыслит. Единственное, что он умеет, — это все разваливать.

Николетта могла рассчитывать на ангажемент в Государственном театре. Но сначала Хендрику хотелось поехать с ней на гастроли в Гамбург и выступить в пьесе всего на два действующих лица, с которой они выступали во время турне по курортам Балтийского моря перед самой свадьбой Хефгена с Барбарой Брукнер. Гамбургский Художественный театр счастлив был принять у себя в качестве гостя своего бывшего артиста, так прославившегося и так приблизившегося к властям. Новый руководитель, преемник Кроне, господин по имени Бальдур фон Тотенбах, встретил Хефгена и его спутницу на вокзале. Господин фон Тотенбах был фронтовым офицером, на его лице осталось много шрамов, стальные голубые глаза были в точности как у господина фон Мука. Он, как и тот, говорил на саксонском диалекте. Он воскликнул:

— Добро пожаловать, дорогой товарищ! — словно бы и у Хефгена была за плечами славная судьба офицера, а не подозрительное прошлое «большевика».

— Добро пожаловать! — подхватили и другие, вместе с господином фон Тотенбахом явившиеся на вокзал, чтобы приветствовать коллегу Хефгена. Среди них была Моц, она обняла Хендрика, и на глазах ее выступили слезы искреннего волнения.

— Сколько воды утекло! — крикнула славная женщина и заблестела золотом зубов. — И чего мы только не пережили!

Она родила ребенка, как узнали вскоре Николетта и Хендрик, маленькую девочку — поздний, собственно, уже несколько неожиданный плод ее долголетних отношений с исполнителем ролей отцов Петерсеном.

— Немецкая девочка, — сказала она, — мы назвали ее Вальпурга.

Петерсен совсем не изменился. Его лицо по-прежнему казалось голым из-за отсутствия бороды. По его предприимчивому облику было видно, что он вовсе не утратил привычку транжирить с трудом заработанные деньги и бегать за молоденькими девушками. Наверное, Моц все еще любила

его больше, чем он ее. Красавец Бонетти в черном мундире СС выглядел ослепительно: было ясно, что теперь он получает еще больше любовных писем от публики, чем раньше. Моренвиц выгнали из театра.

— У нее ведь есть еврейская кровь, — шепнула Моц, прикрыв рот рукой, сотрясаясь порочным смешком, словно произнесла нечто непристойное.

Рольф Бонетти изобразил на лице отвращение — может быть потому, что он вспомнил о своей позорной, оскверняющей расу связи с Рахелью. Демоническая девушка — это тоже сообщили Хендрику — пыталась покончить жизнь самоубийством, когда стала известна испорченность ее крови, и в конце концов вышла замуж за чехословацкого обувного фабриканта.

— Что касается материальной стороны, то ей, наверное, неплохо живется за границей... — говорила Моц с призывком презрения и большим пальцем указала через плечо куда-то, где, по-видимому, находилась эта мерзкая «заграница».

Новые члены ансамбля — светловолосые, несколько нетесанные парни и девицы, сочетавшие грубую веселость со строгой военной дисциплиной, — были представлены великому Хефгену и продемонстрировали ему свое подобострастие. Он был сказочный принц, заколдованный красавец, принимающий зависть и восхищение, как заслуженную дань. Да, он снова снизошел к их жалкому мирку. Однако же он был приветлив, прост в обращении и даже обнял Моц за плечи.

— Ах, ты ни капельки не изменился, — сказала она мечтательно и сжала его руку. Тут вмешался Петерсен:

— Хендрик всегда был отличным товарищем.

Тут господин фон Тотенбах заявил не без строгости:

— В новой Германии все мы товарищи, как бы нас ни тасовала судьба.

Хендрик выразил желание поприветствовать господина Кнурра — того швейцара, который всегда носил свастику под отворотом пиджака и мимо каморки которого Хендрик Хефген — этот «большевик» — всегда проходил с такой неохотой и нечистой совестью. Старейший член партии небось задрожит от радости, когда ему будет оказана честь пожать руку друга и фаворита премьер-министра! К удивлению Хефгена, господин Кнурр принял его довольно прохладно. В ка-

морке швейцаря не висело портрета фюрера, хотя теперь это было вполне уместно и даже желательно. Когда Хендрик справился у господина Кнурра о его здоровье, тот что-то пробормотал сквозь зубы — что-то не очень любезное, — и взгляд его при этом был наполнен ядом. Было ясно: господин Кнурр глубоко разочаровался в фюрере-освободителе, во всем великолепном национальном движении — он горько обманут во всех своих надеждах, как многие. Хефгену, другу генерала, опять, как и в прежние времена, было неприятно проходить мимо его каморки. Отношения его с господином Кнурром не наладились.

Хендрик испытал облегчение, узнав, что из коммунистов, рабочих сцены, которых он прежде встречал приветствием «Рот-Фронт», со сжатым кулаком, — никого в театре не осталось. Справиться об их местонахождении он не отважился. Может быть, их убили, может, бросили в тюрьмы, может быть, они в эмиграции... На вечерний спектакль все билеты были проданы, гамбургцы приветствовали старого любимца, сделавшего такую необыкновенную карьеру в Берлине сначала при покровительстве Профессора, потом — толстого премьер-министра. Николетта в общем всех разочаровала. Ее нашли скованной, неестественной и даже несколько страшноватой. И действительно, она разучилась играть. Ее движения были несвободны, а голос странно глух и жалок. В ней что-то замерзло и сломалось. К тому же публику теперь шокировал ее большой нос. «Нет ли в ней еврейской крови?» — шептались в партере. «Ну нет! — говорили другие. — Разве Хефген тогда показывался бы с ней!»

На следующее утро у Хефгена появилась веселая идея нанести визит консульше Мёнкеберг. Пусть и она увидит его во всем блеске — именно она, ведь она годами его унижала своими благородными манерами. Барбару, дочь тайного советника, она небось сразу пригласила к чаю на второй этаж. А ему лишь презрительно улыбалась. И Хефгену захотелось подъехать к старой даме на своем «мерседесе».

К своему разочарованию, он узнал от незнакомого ему швейцара, что фрау консульша Мёнкеберг умерла. На нее это похоже! Она уклонялась путем бегства от встречи, которая могла быть ей неприятна. Эти буржуа благородного старого стиля — эти патриции без гроша в кармане, но с благородным прошлым и с тонкими, одухотворенными лицами — неужто они вечно недоступны? Неужто меща-

нину, ставшему Мефистофелем, заключившему сделку с кровавой властью, так и не дано понаслаждаться своим триумфом?

Хендрик злился. Эффекта, от которого он так много ждал, — не получилось. Но в остальном он был доволен гамбургским визитом. Господин фон Тотенбах сказал на прощанье:

— Вся моя труппа гордится тем, что вы у нас побывали, товарищ Хефген!

А Моц протянула ему маленькую Вальпургу с настоятельной просьбой, чтобы он благословил орущее создание.

— Благослови ее, Хендрик! — требовала Моц. — Тогда из нее выйдет толк! Благослови мою Вальпургу!

И Петерсен ей поддакивал.

Когда Хендрик вернулся после своего путешествия, Лотта Линденталь сообщила ему, что вокруг его персоны в самых высших кругах идут сильные дебаты. Премьер-министр — «мой жених», как теперь уже называла его Лотта, — недоволен Цезарем фон Муком. Это каждый знает. Но не так широко известно, кого генерал авиации избрал его преемником на пост директора прусского Государственного театра: это Хендрик Хефген. Против него выступают министр пропаганды и те высокопоставленные партийные вельможи, «стоцентные национал-социалисты», придерживающиеся «радикальных» взглядов, которые неумолимо противятся любому компромиссу, особенно в вопросах культуры.

— На столь важный, представительный пост не следует назначать человека, не принадлежащего к партии, да еще с сильно подмоченным прошлым, — заявил министр пропаганды.

— Мне совершенно безразлично, является ли художник членом партии или нет. Главное — надо, чтоб он знал свое дело, — возражал премьер-министр, который в своей силе и славе позволял себе невероятно либеральные капризы. — В случае назначения Хефгена прусские государственные театры будут делать полный сбор. Хозяиничанье господина фон Мука — слишком большая роскошь для наших налогоплательщиков.

Когда речь шла о карьере его протеже и любимце, генерал неожиданно проявлял заботу о налогоплательщиках. В остальных случаях он о них забывал.

Министр пропаганды возразил, что Цезарь фон Мук —

друг фюрера, испытанный соратник в борьбе. Невозможно поэтому просто взять и выставить его за дверь. Генерал авиации бодро предложил, чтобы автора драмы «Танненберг» назначили президентом академии писателей — «там он никому не будет мешать», а для начала отправили в большое путешествие.

Министр пропаганды по телефону потребовал от фюрера, пребывавшего на отдыхе в Баварских Альпах, чтобы он сказал свое державное слово и воспрепятствовал тому, чтобы талантливого, опытного, но в моральном отношении неполноценного комедианта Хефгена назначили бы первым театральным деятелем рейха. Но премьер-министр за два дня до этого послал нарочного в Баварские Альпы. Фюрер не любил сам принимать решения. Он ответил, что его этот случай не интересует, у него голова занята более важными делами, так что господа товарищи пусть сами все и решают.

Боги ссорились. Речь пошла о власти и престиже министра пропаганды и премьер-министра — хромого и толстяка. Хендрик ждал, но сам не знал, какого решения ему желать в этом споре богов. С одной стороны, перспектива стать директором очень льстила его тщеславию и отвечала стремлению властвовать. Но, с другой стороны, были и опасения. Если он займет высокий официальный пост в этом государстве, его полностью и навсегда отождествят с режимом. На веки вечные он свяжет собственную судьбу с судьбой этих кровавых авантюристов. Желать ли этого? Стремиться ли к этому? Не шепчет ли ему внутренний голос, что надо остерегаться такого шага? Голос нечистой совести, голос страха?..

Боги боролись между собой, решение было принято. Победил толстяк. Он приказал Хефгену явиться к нему и по всей форме объявил о назначении его директором государственных театров. Артист, казалось, скорей смутился, чем обрадовался, и выказал скорее замешательство, нежели энтузиазм, и премьер-министр разгневался.

— Я употребил ради вас все своё влияние! Не устраивайте мне спектакля. Впрочем, сам фюрер за то, чтобы вы стали директором, — соврал генерал.

Хендрик все еще колебался, частью из-за внутреннего голоса, который не хотел умолкать, частью потому, что ему доставляло удовольствие видеть, как обгаренная кровью власть выступает в качестве просителя. «Они во мне нуж-

даются, — ликовал он. — Я был чуть не эмигрантом, и вот всемогущий молит, чтобы я спас его театры от краха».

Он попросил двадцать четыре часа на размышление. Толстяк, ворча, отпустил его.

Ночью Хендрик советовался с Николеттой.

— Я не знаю, — жаловался он и из-под полуопущенных век метал кокетливые жемчужные взгляды в пустоту. — Принять или не принимать?.. Все это так тяжело...

Он запрокинул голову и обратил благородное, усталое лицо к потолку.

— Конечно, принять! — отвечала Николетта высоким, резким и сладким голосом. — Ты же сам отлично знаешь, что ты просто должен — ты обязан. Это же победа, милый, — ворковала она, не только кривя губы, но извиваясь всем телом. — Это победа! Я всегда знала, что ты ее добьешься!

Он спросил ее, все еще не спуская холодного мерцающего взора с потолка:

— Ты мне поможешь, Николетта?

Съежившись на подушках, излучая на него свет своих красивых, широко распахнутых кошачьих глаз, она ответила, глядя каждый слог, как драгоценность:

— Я буду гордиться тобой.

Наутро была отличная, ясная погода. Хендрик решил пройти пешком от своей квартиры к дворцу премьер-министра. Длительное шествие к необычной цели подчеркнет торжественность дня. Ибо разве день, когда Хендрик Хефген целиком и полностью отдает свой талант, свое имя, свою личность в распоряжение кровавой власти, не торжественный день?

Николетта провожала друга. Это была приятная прогулка. Настроение у обоих было приподнятое, бодрое. К сожалению, его несколько омрачила случайная встреча по пути.

Недалеко от Тиргартена прохаживалась пожилая дама, стройная, прямая, с красивым, белым и высокомерным лицом. К жемчужно-серому костюму несколько старомодного, но элегантно покроя она надела блестяще-черную треугольную шляпу. Из-под шляпы выбивались на виски тугие седые колечки. Голова пожилой дамы походила на голову аристократки XVIII столетия. Она шла очень медленно, маленькими, твердыми шагами. Дряхлую, худенькую, но энер-

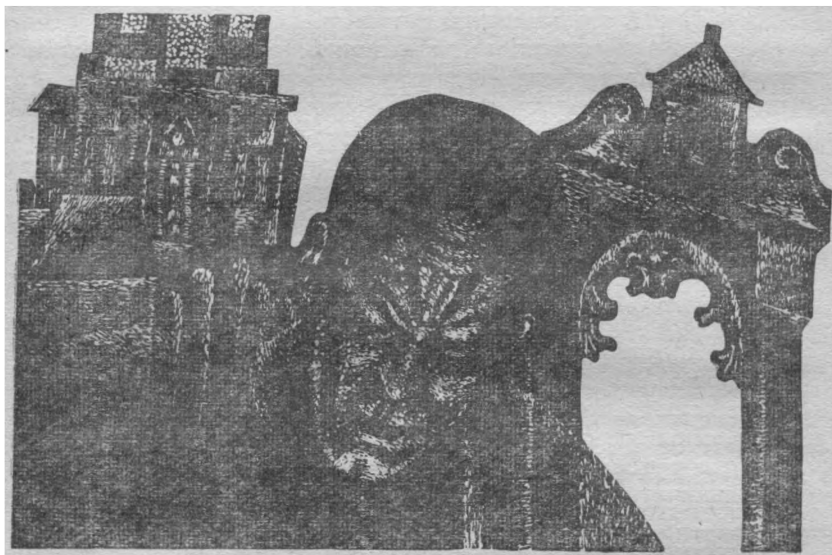
гично подтянутую фигуру озаряло меланхолическое достоинство угасших эпох, когда люди и от себя и от других требовали осанки более красивой и строгой, чем люди наших дней — возбужденно-деловых, но выхолощенных, небрежных дней, когда достоинство не в чести.

— Это генеральша, — сказала Николетта благоговейно и тихо. И остановилась. И покраснела. И Хендрик тоже покраснел, снимая свою легкую серую шляпу и отвешивая генеральше глубокий поклон.

Генеральша подняла лорнет, висевший у нее на груди на длинной цепочке из самоцветных камней. Она долго и невозмутимо рассматривала молодую пару, стоявшую всего в нескольких шагах. Лицо прекрасной старухи оставалось неподвижно. Она не ответила на поклон артиста Хефгена и его спутницы. Было ли ей известно, куда оба направлялись — какой договор собирался подписать Хендрик, когда-то женатый на Барбаре? Может быть, она догадалась или была близка к истине. Она знала цену Хендрику и Николетте. Она следила за их судьбой, и она твердо решила не иметь с ними обоими ничего общего.

Лорнет генеральши, слегка щелкнув, опустился. Пожилая дама повернулась к Хендрику и Николетте спиной. Она удалялась маленькими, несколько затрудненными шажками, но в этих старческих шажках были гордость и даже порыв.

Директор лысел. Он сбрил последние мягкие шелковистые пряди, оставленные ему природой. Ему не приходилось стыдиться благородно вылепленного черепа. С достоинством и самоуверенностью нес он мефистофельскую голову, в которую втюрился господин премьер-министр. На бледном, несколько оплывшем лице, как никогда, неотразимо мерцали холодные драгоценные камни глаз. Страдальчески за-



павшие виски возбуждали почтительное сочувствие. Щеки несколько одрябли, подбородок с примечательной ямочкой посредине, напротив, сохранил всю свою властную красоту. Особенно был он привлекателен, когда директор задирает его, когда же директор опускает лицо, на шее появляются складки, и тогда обнаруживалось, что подбородок-то двойной.

Директор был прекрасен. Только люди, глядевшие так же пронизательно, как старая генеральша в свой лорнет, замечали, что его красота — скорей результат его усилий, нежели просто дар неразборчивой природы.

— С его лицом происходит примерно то же, что с его руками, — утверждали злые языки. — Руки широки и грубы, но он умеет их так подать, словно они утонченно аристократичны.

Директор был исполнен достоинства. Монокль он сменил на очки в толстой роговой оправе. Его осанка осталась прямой, подобранной, почти застывшей. Его чары заставляли не замечать все прибавлявшегося жирка. Большею частью он говорил тихим, глухим, напевным голосом, и в голосе этом незаметно сменялись властные, кокетливо-жалостливые и чувственные тона, а в торжественных случаях голос неожиданно обретал ярко-металлический призыв.

Директор бывал и весел. В реквизит его средств обольщения входила и типично рейнская задорная веселость. Как он умел шутить, когда надо было расположить к себе раздраженных рабочих сцены, строптивых артистов или неприступных представителей власти! Он нес с собой на серьезные заседания солнечный свет, он рассеивал прирожденным плутовством уныние репетиций.

Директора любили. Почти всем он нравился, все хвалили его обходительность, многие говорили, что он замечательный человек. Даже политическая оппозиция, которая могла высказывать свои мнения лишь в абсолютной тайне, в тщательно запертых помещениях, была настроена к нему снисходительно. «Просто повезло, — так думали те, кто не был согласен с режимом, — что такой важный пост занимает явный не национал-социалист». В заговорщических кругах утверждали, будто руководитель Государственного театра позволял себе вольничать и кой-чего добивался даже от министров. Он вытащил Отто Ульрихса на сцену прусского театра — предприятие столь же рискованное, сколь и благородное. С недавних пор он держит у себя в качестве личного секретаря еврея или, по крайней мере, полуеврея: молодого человека зовут Йоганнес Леманн, у него нежные, золотисто-карие, несколько маслянистые глаза, и он предан директору, как верная собака. Леманн перешел в протестантство и стал очень набожным. Вместе с курсами по германистике и по истории театра он прослушал и курс богословия. Политика его никогда не занимала.

— Хендрик Хефген — великий человек, — говорил он обычно с большим чувством в еврейских кругах, к которым принадлежал по семейным связям, и в оппозиционно-рели-

гиозных, к которым принадлежал благодаря своей набожности.

Хендрик выплачивал ему жалованье из собственных средств. Он ограничивал себя в расходах для того только, чтобы иметь в услужении человека из расы париев и, таким образом, импонировать противникам режима. Жалованье «арийского» личного секретаря выплачивалось бы из кассы Государственного театра. Но директор не мог пользоваться услугами этой кассы, чтобы выплачивать жалованье «не арийцу». Может быть, премьер-министр простил бы ему и этот каприз. Но Хендрик придавал большое значение своей финансовой жертве. Двести марок, ежемесячно им выплачиваемые, в его бюджете играли минимальную, едва заметную роль и окупались с лихвою, ибо эти двести марок придавали его прекрасному поступку особый вес. Молодой Йоганнес Леманн составлял важную статью в балансе «перестраховок», предпринимаемых Хефгеном без большого риска. Ему это было необходимо, без этого он бы не выдержал, счастье его было бы отравлено нечистой совестью, как ни странно, не желавшей умолкнуть, и страхом перед будущим, преследовавшим великого человека даже во сне.

В самом же театре, то есть там, где он выступал как высокое официальное лицо, он не считал разумным слишком много себе позволять: министр пропаганды и его пресса не пропускали ни одного его шага. Директор должен был радоваться, если ему удавалось спасти театр от полной художественной катастрофы, от постановки абсолютно дилетантских пьес, от приема на службу в театр заведомо бездарных, но в расовом отношении безупречных светловолосых актеров.

Конечно, театр был гарантирован от проникновения евреев — будь то рабочие сцены, помощники режиссера или швейцары, не говоря уж о звездах. Конечно же, о постановке новой пьесы не могло быть и речи прежде, чем проверялась безупречность родословной автора вплоть до четвертого и пятого колена. Пьесы, где можно было заподозрить взгляды, которые могли быть восприняты как предосудительные, — о таких пьесах, конечно, и речь не шла. Составить репертуар было нелегко. Ведь и на классиков нельзя положиться. В Гамбурге на «Дон Карлосе» раздалась демонстративные, почти бунтарские аплодисменты, когда маркиз Поза потребовал от короля Филиппа «свободы мысли». В Мюнхене быстро распродали билеты на новую постановку «Разбойников», но пра-

вительство тут же запретило пьесу: юношеское произведение Шиллера прозвучало как актуальная революционная драма и вызвало восторг. Директор Хефген не решался ставить ни «Карлоса» ни «Разбойников», хотя и мечтал сыграть и маркиза Позу и Франца Моора. Почти все современные пьесы, до января 1933 года стоявшие в репертуаре взыскательного немецкого театра, — ранние, полные энергии произведения Гергарта Гауптмана, драмы Ведекинда, Стриндберга, Георга Кайзера, Штернгейма — с возмущением отвергались из-за их разлагающего «большевистского» духа. Директор Хефген не мог предложить к постановке ни одной из них. Молодые драматурги из талантливых почти все без исключения эмигрировали, а если жили в Германии, то не иначе как на положении ссыльных. Что же мог ставить директор Хефген в своих распрекрасных театрах? Национал-социалистские писатели — бойкие мальчики в черных или коричневых мундирах — писали вещи, от которых каждый, кто хоть немного разбирался в драматургии, с ужасом отворачивался. Директор Хефген делал заказы тем из воинствующих парней, в ком замечал хоть искорку способностей. Он велел выплатить по две тысячи марок авансом пятерым таким фруктам, чтобы получить, наконец, пьесу. Но результаты оказались плачевными. Ему принесли патриотические трагедии на уровне сочинений истеричных гимназисток.

— Н-да, в этой Германии трудно поставить что-нибудь хоть мало-мальски пристойное, — говорил Хендрик в кругу интимных друзей, с выражением отвращения подпирая руками бледное, усталое лицо.

Ситуация сложилась трудная, но директор Хефген был ловок. Современных комедий не было. И он находил старые фарсы. Успех был громкий. Месяцами он имел полные сборы на какой-нибудь запыленной французской комедии. Он сам играл главную роль, показывался публике в чудесно скроенном костюме стиля рококо. Его на диво загримированное лицо с черной мушкой на подбородке выглядело столь пикантно, что все дамочки в партере хихикали от наслаждения, словно их щекотали, его жесты были столь окрыленны, речь столь вдохновенна, что славный этот фарс, над которым смеялись еще наши бабушки, казался блистательно современным. Шиллер со своими вечными призывами к свободе был на подозрении, и директор предпочитал Шекспира, которого влиятельная пресса объявила великим германцем, так ска-

зять, народным героем. Лотта Линденталь — фаворитка полубога и «олицетворение души новой Германии» — решилась выступить в роли Минны фон Барнгельм в комедии, чей автор снискал недовольство властей симпатией к евреям и совершенно неуместным преклонением перед силой разума. Но Линденталь спала с генералом авиации, и Готхольду Эфраиму Лессингу простили его «Натана Мудрого». И «Минна фон Барнгельм» дала хорошие сборы. Доходы государственных театров, при Цезаре фон Муке столь жалкие, явно увеличивались благодаря ловкости нового директора.

Цезарь фон Мук, по особому поручению фюрера предпринявший пропагандистское турне по Европе, имел все основания быть недовольным триумфом своего преемника. Он и в самом деле злился, но не показывал вида, а, напротив, посылая открытки с видами Палермо и Копенгагена «другу Хендрику». В них он не устал подчеркивать, как приятно эдак на досуге покататься по разным странам. «Ведь все поэты — бродяги», — писал он из «Гранд-отеля» в Стокгольме. Он имел при себе достаточно много валюты. В лирических, но и воинственных фельетонах, под сенсационными заголовками помещаемых во всех газетах, Мук много писал о роскошных ресторанах, о забронированных театральных ложах и о приемах в посольствах. Творец трагедии «Танненберг» открыл в себе вкус к жизни большого света. С другой стороны, он считал эту увеселительную поездку благородной моральной миссией. Агент немецкой диктатуры за границей любил характеризовать свою подозрительную деятельность как «духовный подвиг» и подчеркивать, что он агитирует за «третью империю» не взятками, как его шеф — хромоногий, а, напротив, нежными любовными песнями. Повсюду его ждали приключения, столь же приятные, сколь и значительные. В Осло, например, ему позвонили из самой северной телефонной будки Европы. Озабоченный голос спросил из далекого заполярного края:

— Как дела в Германии?

И миссионер и путешественник попытался сформулировать несколько молитвенных фраз, призванных расцвести в полярной тьме, словно букет нарциссов, подснежников или первых фиалок. Повсюду все шло очень мило. Только в Париже певец битвы на Мазурских болотах чувствовал себя неуютно. Ибо там его сбил с толку воинственный дух, чуждый ему и неприятный. «Париж коварен», — сообщал поэт домой и с искренней растроганностью вспоминал о торжественном мире,

который царил в Потсдаме. И уж совершенно между прочим, посреди всех неотразимых впечатлений от поездки, господин фон Мук немного поинтриговал — в письменной форме и по телефону — против своего друга Хендрика Хефгена. Немецкий поэт в Париже через шпионов — агентов тайной полиции и сотрудников немецкого посольства — выяснил, что там живет чернокожая, прежде состоявшая в непозволительной и мерзкой связи с Хефгеном и теперь еще оставшаяся его содержанкой. Цезарь преодолел прирожденное отвращение к французской аморальности и отправился в сомнительное заведение на Монмартре, где принцесса Тебаб подвизалась в качестве птички. Он заказал шампанское для себя и для черной дамы. Узнав, что он приехал из Берлина и хочет кое-что узнать об эротическом прошлом Хендрика Хефгена, она произнесла несколько презрительных и грубых слов, встала, показала ему свою прекрасную задницу, на которой колыхалось зеленое украшение из перьев, и сопровождала этот жест звуком вытянутых трубочкой губ, который должен был вызвать самые роковые ассоциации. Весь ресторан веселился. Немецкого барда подняли на смех самым позорным образом. Он угрожающе сверкнул стальными глазами, стукнул кулаком по столу, произнес несколько фраз с саксонским акцентом и в негодовании покинул ресторан. Той же ночью он по телефону известил министра пропаганды о том, что с интимной жизнью нового директора не все в порядке, тут, без сомнения, царит мрачная тайна, любимец премьер-министра небезупречен. Министр пропаганды сердечнейше поблагодарил своего друга-поэта за интересное сообщение.

Но как трудно предпринять что-нибудь против первого театрального деятеля рейха, великого любимца могучего правителя и любимца публики. Хендрика повсюду ценили, он прочно сидел в седле. И его частная жизнь производила самое благоприятное впечатление. Молодой господин директор в рамках домашнего быта был почти патриархален, хоть и несколько оригинален и нервозен.

Хендрик выписал из Кельна в Берлин родителей и сестру Йози. Он занял с ними вместе большую, похожую на замок виллу в Груневальде. В квартире у площади Рейхсканцлера, за которую было уплачено на несколько месяцев вперед, временно жила Николетта. Вилла с парком, теннисными кортами, прекрасными террасами и вместительными гаражами придала молодому директору барский фон, в котором он нуждался

и о котором мечтал. Давно ли спешил он по улицам в легких туфлях на пряжках, в развевающемся кожаном пальто, с моноклем в глазу — почти комическая, броская фигура? Еще в доме у площади Рейхсканцлера он вел жизнь богемную, хоть и роскошную. В Груневальде же он стал благородным баринном. Деньги роли уже не играли: когда речь шла о фаворитах, преисподняя не скупилась, ад платил, артист Хефген, ничего от жизни не требовавший, кроме чистой сорочки и флакона одеколona на ночном столике, мог себе теперь позволить скаковых лошадей, огромный штат прислуги и целый автомобильный парк. Никого или почти никого не шокировала эта пышность. Во всех иллюстрированных журналах помещались фотографии с изображением прекрасной обстановки, в которой молодой господин директор отдыхал после напряженной работы. «Хендрик Хефген в саду своего имения кормит знаменитого породистого пса Хоппи», «Хендрик Хефген в столовой стиля ренессанс на своей вилле за завтраком с матерью». И многие считали только справедливым, что человек, имеющий такие заслуги перед государством, хорошо зарабатывает. К тому же великолепие, каким окружал себя директор, не шло ни в какое сравнение со сказочной роскошью, которую позволял себе и выставлял напоказ его всемогущий хозяин и друг, генерал авиации. Вилла в Груневальде была собственностью молодого директора; он назвал ее «Хендрик-холл» и купил у еврея — директора банка — за относительно скромную сумму. В «Хендрик-холле» все было изысканно и наверняка не хуже, чем в замке Профессора. Слуги носили черные ливреи с серебряной каймой, лишь маленькому Бёку позволялось ходить распустьехой. Большой частью он появлялся в грязной, в голубую и белую полоску куртке; иногда в коричневой форме СА. Этот болван с водянистыми глазами и жесткими волосами, все еще торчавшими щеточкой, наслаждался особым и привилегированным положением в «Хендрик-холле». Владелец замка сохранял его в качестве забавного воспоминания о прошлых временах. Маленького Бёка для того и держали, чтоб он постоянно восхищенно удивлялся чудному превращению хозяина. Он это исправно исполнял и говорил по несколько раз на дню:

— Нет, вы только посмотрите, как мы разбогатели! Невозможно описать! И ведь подумать только — нам однажды пришлось занять семь с половиной марок на ужин!

И маленький Бёк подобострастно хихикал, растроганный воспоминанием.

— Славное животное, — говорил о нем Хефген. — Он и в плохие времена был мне предан.

В подчеркнутом дружелюбии, с каким он говорил о маленьком Бёке, скрывался вызов. Против кого? Не Барбара ли мешала ему нанять Бёка, его преданного раба? В гамбургской квартире она терпела только барышню, десять лет прослужившую в имении генеральши, чтобы только ничего не менять в своей жизни — в жизни дочери тайного советника. Хендрик при всем своем блеске не мог забыть и самых мелких уколов прошлого.

— Теперь я хозяин в доме! — говорил он.

Теперь он был хозяин в доме, и через порог могли переступить почти исключительно люди, смотревшие на него с восхищением и благоговением. Семья, которой он разрешил принять участие в его торжестве, вскоре ощутила тяжесть его капризов. Хендрик иногда устраивал уютные вечера у камина или прелестные воскресные утренники в саду. Но чаще случалось, что он демонстрировал бледное, обиженное лицо гувернантки, запирался в своих покоях и жаловался на страшную мигрень — «потому что мне приходится так много работать, чтобы добывать деньги для вас, бездельников»; такого он, правда, не говорил, но явно намекал на это страдальческим и раздраженным видом.

— Не заботьтесь обо мне! — уговаривал он домашних и потом долго дулся, если на него и впрямь в течение нескольких часов не обращали внимания.

Лучше всего с ним ладила его мать Белла. Она обращалась со своим «большим мальчиком» очень нежно, но решительно, и он с ней почти не позволял себе никаких выходок. Он действительно был к ней весьма привязан, он гордился своей благородной мамой. Она явно изменилась к лучшему, вполне соответствовала новой ответственной ситуации. Она вела хозяйство своего знаменитого сына с достоинством и тактом, с умелой осмотрительностью. Кто бы, глядя на элегантную матрону, поверил, что она стала предметом низких сплетен, когда торговала шампанским с благотворительной целью? Это было давным-давно, никто уже не вспоминал старых, глупых историй. Из фрау Беллы вышла скромная и сдержанная, но в то же время очень видная дама берлинского общества.

Она была представлена господину премьер-министру, вращалась в самых высоких кругах. Умное, веселое лицо под аккуратной серой завивкой, так похожее на лицо знаменитого сына, сохранило свежесть красок. Фрау Белла одевалась просто, но продуманно. Она предпочитала темно-серый шелк зимой, жемчужно-серый — в теплое время. Костюм на прекрасной бабушке ее невестки, которым фрау Белла восхитилась много лет назад, был жемчужно-серого цвета. Мать Хефгена жалела от всего сердца, что генеральша не бывает на груневальдской вилле.

— Я бы с радостью приняла почтенную даму, — говорила она, — хотя, кажется, в ней есть немного еврейской крови. Мы могли бы этого не заметить, как ты находишь, Хендрик? Но она не посчитала нужным прислать нам карточку. Неужто мы до сих пор недостаточно благородны для нее? Ведь вряд ли у нее теперь много денег, — заключила фрау Белла, и то ли сочувственно, то ли уязвленно покачала головой. — Ей бы радоваться, что приличная семья проявляет о ней заботу!

К сожалению, с папой Кёбесом дела обстояли не так хорошо, как с фрау Беллой. Он стал каким-то чудачком, бегал целыми днями в старой фланелевой кофте, интересовался главным образом железнодорожными справочниками, часами листая их, и маленькой коллекцией кактусов у себя на подоконнике, брился он редко и прятался, когда приходили гости. Свое рейнское остроумие он совершенно утратил. Обычно он молчал и тупо смотрел в одну точку. Он тосковал по Кельну, хотя все его торговые мероприятия нашли там столь печальный конец. Но борьба за существование, которую он вел с таким легкомыслием и упорством, шла ему больше на пользу, чем ничегонеделание у очага знаменитого сына. Слава и блеск Хендрика были предметом постоянного восторга, но и почти скорби старика.

— Нет, как же это так? — причитал он, словно произошел несчастный случай.

Каждое утро он ошеломленно смотрел на груды писем, поступавших на имя его могущественного и многолюбимого отпрыска. Когда Йоганнес Леманн был слишком загружен, он иной раз просил отца Кёбеса избавить его от какой-нибудь мелкой работы. И старик иногда все утро надписывал фотографии сына, ибо подделывал почерк сына куда лучше, чем это делал его секретарь. Когда директор бывал в особенно

милостивом расположении духа он, случалось, спрашивал у отца:

— Как дела, папа? У тебя такой унылый вид. Ты ведь здоров? Тебе ведь у меня не скучно?

— Нет, нет, — бормотал Кёбес, несколько покраснев под щетиной. — Я не нарадуюсь на свои кактусы, на своих собак.

Собак он кормил всегда сам, не подпуская к ним слуг. Каждый день он отправлялся в долгие прогулки с прекрасными левретками. Хендрик с ними только фотографировался. Животные любили папашу Кёбеса, а Хендрика они боялись: в глубине души тот сам их боялся.

— Они кусачие, — утверждал он; и как ни протестовал папаша Кёбес, Хендрик твердил свое: — Особенно Хоппи кусается. Наверняка он когда-нибудь меня искушает до полу-смерти.

У сестры Йози была кокетливо обставленная квартира в верхнем этаже виллы. Но она много путешествовала. Квартира пустовала. С тех пор как ее брат проник в верха, фрейлейн Хефген все время пела по радио. Она пела бойкие песенки на рейнском диалекте, ее милое лицо видели во всех радиожурналах, и у нее часто возникала возможность обручиться. Она так и делала, но теперь, конечно, первый попавшийся не мог просить ее руки, — предпочитались молодые люди в эсэсовских мундирах, их элегантные фигуры оживляли «Хендрик-холл».

— Я таки выйду за графа Доннерсберга, вот увидите, — обещала Йози.

Брат ее был скептически настроен, и Йози плакала. «Вечно ты насмехаешься надо мной», — рыдала она. Фрау Белла ее утешала. Хендрику не нравилось, когда она проливала слезы. Все уверяли ее, что она стала такая красивая. И в самом деле, она теперь выглядела куда привлекательней, чем в тот день, когда Барбара познакомилась с ней на перроне южно-германского университетского городка. Может быть, дело и в том, что она могла теперь позволить себе дорогие платья. От скопления веснушек на вздернутом носике ей после длительного косметического ухода почти совсем удалось избавиться.

— Дагобер мне пригрозил, что расторгнет обручение, если я не сведу веснушек, — говорила она.

У молодого Дагобера фон Доннерсберга были свои капризы, не только Хендрик мог их себе позволять. Хефген по-

знакомился с графом в доме Линденталь, любившей окружать себя аристократами. Дагобера — столь же красивого, сколь неимущего, столь же глупого, сколь избалованного — тотчас пригласили в «Хендрик-холл». Фрейлейн Йози предложила покататься с ней верхом. Хендрик редко выезжал на своих прекрасных лошадях: время его было драгоценно, да поездки верхом и не доставляли ему удовольствия. Он с трудом научился сидеть в седле для съемок в кино и знал, что у него это плохо получается. Что же до лошадей, то держал он их у себя, собственно, потому, что они хорошо выходили на фотографиях в журналах; в дальних тайниках души, не сознаваясь в том самому себе, он связывал славных животных, как и маленького Бёка, с мыслями о Барбаре. Они были поздней и отчаянно бессмысленной мезью, ведь Барбара так часто его злила утренними верховыми прогулками. Но Барбара далеко, она ничего не знает о лошадях, она в Париже и заботится о политических беженцах и о маленьком журнале, для которого она выискивает подписчиков на Балканах и в Южной Америке, в Скандинавии и на Дальнем Востоке.

Фрейлейн Йози и ее Дагобер ездили верхом за город. Молодой граф увлекся бойкой девушкой. Так как она придавала этому значение, он с ней даже обручился, но, разумеется, продолжал засматриваться на дам, располагавших большими суммами для уплаты за его титул. Он, однако, не торопился бросать маленькую Хефген и считал нецелесообразным обижать семью, наслаждавшуюся личным общением с премьер-министром. К тому же Дагоберу все нравилось в «Хендрик-холле».

Директор пытался насаждать в доме английский стиль. Виски и мармелад фрау Белле доставляли прямо из Лондона. Поедали много тостов, много сидели у камина, играли в теннис или в крокет в саду, а по воскресеньям, когда хозяин не был занят в спектакле, гости сходились к ленчу и оставались до глубокой ночи. После обеда танцевали в зале. Хендрик надевал смокинг, утверждая, что чувствует себя в нем очень ловко. Йози и Nicolette тоже выглядели очень элегантно. Иногда у маленького общества неожиданно появлялась какая-нибудь дикая идея, и тогда к вечеру все отправлялись на трех машинах в Гамбург, кутить в Сан-Паули.

— Машин тут хватит всем, — говорил граф Доннерсберг с едва заметным оттенком горечи.

Иногда он злился, что комедиант купается в деньгах, а у него, аристократа, их нет. У директора было три большие машины и несколько маленьких. Самая красивая из них — огромный «мерседес» с блестящим серебряным верхом — была получена в подарок от господина премьер-министра. Толстый покровитель был так внимателен, что приказал завезти великолепную машину в Груневальд, когда Хендрик переезжал в свой дом.

Директор неохотно, лишь изредка, устраивал большие приемы. Но он любил собирать узкий круг гостей у себя в «Хендрик-холле». Николетта стала членом семьи. Она без предупреждения являлась к ужину, давала советы Хендрику по профессиональным вопросам, а в конце недели приезжала с чемоданом. Чемодан был довольно объемистый — даже слишком большой для одного вечернего платья, пижамы и пудреницы. Йозе, мучимая любопытством, тайком заглянула в него. И к своему удивлению, обнаружила там пару высоких сапог из ярко-красной эластичной лакированной кожи.

Николетта собиралась развестись с Теофилом Мардером.

«Я снова актриса, — писала она ему. — Тебя я люблю всегда, я буду преклоняться перед тобой до самой смерти. Но я счастлива, что снова могу работать. В нашей новой Германии царит всеобщий подъем и энтузиазм, о котором ты в своем одиночестве и понятия не имеешь».

Одним из первых служебных актов директора Хефгена было приглашение Николетты на службу в Государственный театр. У нее еще не было того успеха, который мог бы сравниться с ее гамбургским торжеством. Но постепенно скованность исчезла. Голос и движения стали свободней, живей.

— Вот увидишь, ты снова научишься играть! — обещал ей Хендрик. — По совести говоря, тебя не стоило пускать на сцену, дуреха! Что ты тогда натворила в Гамбурге! Это же просто преступление! То есть не по отношению к бедняге Крое, а по отношению к тебе самой.

Впрочем, как бы неудачно ни выглядела Николетта на сцене, она не потеряла бы уважения со стороны коллег и прессы. Ибо она считалась подругой директора. Все знали, что она имеет влияние на великого человека. На всех официальных приемах она появлялась вместе с ним. Она сопутствовала ему и на балу представителей прессы, звеня панцирем металлического вечернего туалета.

Какая пара — Хендрик и Николетта! Два зловещих, преле-

стных, опасных и обаятельных божества преисподней. Поэту Беньямину Пельцу пришла в голову идея назвать их Обероном и Титанией.

— Вы правите балом, подземные владыки! — восторгался лирик, для которого диктатура расизма ассоциировалась с неким кроваво-фантастическим вариантом «Сна в летнюю ночь». — Вы чаруете нас своими улыбками, своими дивными взорами. Ах, с каким наслаждением мы вверяем вам! Вы ведете нас в подземелье, в самые глубокие пласты, в магическую пещеру, где кровь струится со стен, где враги совокупляются друг с другом, а любящие убивают друг друга, где любовь, смерть и кровь смешиваются в вакхическом причащении.

Таков был изысканный стиль новогерманского света. Поэт Беньямин Пельц создавал новый стиль. Когда-то его считали немного не от мира сего, теперь же он делался все более светским и ловким. Он быстро свыкся с нравами высших кругов, доступ к которым ему открывала сверхмодернистская любовь к самым глубоким пластам, магическим пещерам и сладкому запаху тления. Он руководил делами академии писателей в качестве вице-президента, пока сам президент — Цезарь фон Мук — выполнял миссионерский долг за границей в «Хендрик-холле» Беньямина принимали как близкого друга. Вместе с господами Мюллер-Андреа, доктором Иригом и Пьером Ларю он стал завсегдатаем в Груневальде.

Все кавалеры почитали за честь и удовольствие целовать ручку изысканной фрау Белле и уверять фрейлейн Йози, что она прелестна. Пьер Ларю немного флиртовал с маленьким Бёком. Особенно веселые часы выпадали, когда характерный актер Йоахим приезжал со своей забавной женой, пил очень много пива, складывал мясистое лицо в выразительные складки и не уставал повторять:

— Ребята, говорите что хотите, а нигде в мире не найти такого прекрасного уголка, как Груневальд. — Иногда Йоахим отводил кого-нибудь в угол и уверял, что у него «положа руку на сердце все в порядке!».

— Несколько дней назад я добился того, что арестовали еще одного типа, который утверждал обратное, — говорил характерный актер и щурил маленькие коварные глазки.

Иногда появлялась Ангелика Зиберт, правда, изменившая фамилию. Ибо она вышла замуж за своего кинорежиссера.

Молодой супруг был прекрасен собой: пышные каштановые волосы, темно-синие серьезные и большие глаза. Он — единственный в этом обществе вырожденков — выглядел так, как простое сердце представляет себе германского героя, юношу-рыцаря без страха и упрёка. Но именно он неожиданно проявлял оппозиционные наклонности. Его детски-мечтательный ум не соглашался с тем, что случилось в Германии. Сначала он был в восторге от нацистов. Тем горше было его разочарование. Свои недоуменные, серьезные, настойчивые вопросы он обращал к Хендрику, талантом и мастерством которого искренно восхищался.

— У вас ведь есть влияние в высоких сферах, — говорил молодой человек. — Неужели нельзя предотвратить самые страшные злодеяния? Ваш долг обратить внимание премьер-министра на условия в концентрационных лагерях.

Светлое, честное лицо молодого рыцаря без страха и упрёка краснело, когда он это говорил.

Хендрик устало качал головой.

— Чего же вы хотите, юный друг? — говорил он недовольно. — Чего вы требуете от меня? Хотите, чтобы я зонтиком удержал Ниагарский водопад? Так-то, — заканчивал он лихо, словно начисто опроверг собеседника и склонил его на свою сторону. — Так-то! — И при этом он стервозно улыбался.

Иногда директору нравилось круто менять тактику. Цинично, задорно он вдруг отказывался от всяких оправданий; лицо его шло красными пятнами — то не была, однако, краска стыда, — он хохотал, бегал по комнате и жалобно и в то же время победно выкрикивал:

— Ну разве я не негодяй? Разве я не удивительный негодяй?

Друзья забавлялись, Йози хлопала в ладоши от радости. Но молодой рыцарь без страха и упрёка смотрел на него со строгим и неприступным выражением, Йоганнес Леманн, посверкивая глазками, печально улыбался, а Ангелика с грустью и смущением смотрела на своего друга, из-за которого пролила столько слез.

Разумеется, Хендрик никогда не говорил ни о тяжести Ниагарского водопада, ни о собственной удивительной подлости в присутствии гостей, стоявших слишком близко к власти или к ней принадлежавших. Даже в присутствии графа Доннерсберга директор остерегался неосторожных речей.

Но он умел сочетать крайнюю осторожность с сияющей веселостью, когда его дарила визитом Лотта Линденталь.

Светловолосая, матерински добрая матрона не так уж редко являлась в «Хендрик-холл» на партию настольного тенниса или потанцевать с хозяином. Но какой это всякий раз бывал праздник! Мамаша Белла выставляла все сокровища своих кладовых, Николетта расточала комплименты фиалковым глазам знатной дамы, Пьер Ларю не замечал маленького Бёка, и даже папаша Кёбес кидал взгляды сквозь дверную щелку на высокогрудую даму, наполнявшую всю виллу своим серебряным, девическим, задорным смехом.

Но кто это выходит из огромного лимузина, с угрожающим ревом остановившегося у портала «Хендрик-холла»? Перед кем это распахнулись двери? Кто грохочет саблей по прихожей? Кто вносит огромный живот над колоннами ног и величаво выгнутую грудь, блистающую орденами, в благоговейно застывшее собрание? То он, толстяк, мечом охраняющий божественный трон. Он пришел, чтобы забрать свою Лотту и пожелать своему Мефисто доброй ночи.

Линденталь бросается ему на шею. Но фрау Белла, чуть не падая в обморок от гордости и волнения, произносит — и это звучит, как стон:

— Ваше превосходительство, господин премьер-министр, можно вам что-нибудь предложить? Что-нибудь освежающее? Может быть, бокал шампанского?

Многие съезжались в «Хендрик-холл», привлекаемые славой и гостеприимством хозяина, хорошей кухней, винным погребом, теннисными кортами, редкими граммофонными пластинками, роскошью обстановки. Многие проводили тут приятнейшие обеденные, послеобеденные и вечерние часы: артисты и генералы, лирики и высокие чины, журналисты и дипломаты, содержанки и комедианты. Но те несколько человек, которые в прежние времена были в довольно интимных отношениях с Хендриком Хефгеном, не участвовали в его веселых и роскошных приемах. Генеральша не показывалась в «Хендрик-холле». Тщетно ждала фрау Белла ее визитную карточку. Пожилой даме пришлось продать имение и поселиться в тесной квартирке неподалеку от Тиргартена. Она все больше и больше теряла связь с берлинским обществом, где когда-то играла такую блистательную роль.

— Мне не интересно бывать в домах, где я в любой момент могу наткнуться на убийц, преступников и сумасшедших, — говорила она гордо и опускала лорнет, в который рассматривала собеседника. Неужели же она подозревала, что и в «Хендрик-холле» рискует встретить уголовников и тому подобных мрачных персонажей, — подозрение не только безосновательное, но и преступное! Ведь речь шла о доме, где постоянно бывали члены правительства.

И еще один человек держался вдали от владения директора — Отто Ульрихс. Его не приглашали, да он бы и вряд ли принял приглашение. Он был очень занят, и занят так, что это требовало напряжения всех физических и душевных сил. Да и образ Хендрика, так долго и верно хранившийся в сердце Ульрихса, постепенно претерпевал изменения. Ульрихс был очень добродушный, даже мягкий человек. К Хефгену он питал огромное и непоколебимое доверие.

— Хендрик — наш! — говорил он теплым убежденным голосом всякому, кто высказывал сомнения относительно моральной и политической честности его друга.

«Хендрик — наш»... Верил ли Отто Ульрихс в это сегодня? Он покончил со многими иллюзиями, в том числе и с теми, которые касались Хендрика Хефгена. Он уже не был добродушным, он не был мягким. Его взгляд изменился, стал серьезным, почти грозным. Глаза утратили доверчивость. И стали точно взвешивающими, пронизательными и спокойными. В них светилась сила.

У Отто Ульрихса теперь было напряженно прислушивающееся выражение лица и осторожные, стремительные жесты человека, которому необходимо быть начеку. А начеку ему надо было быть все время. Ибо Отто Ульрихс вел опасную игру.

Он оставался актером Государственного театра, но лишь для того, чтобы следовать совету, данному Хендриком, — хоть тот, вероятно, давал его не вполне всерьез — использовать свое положение в официальном институте как своего рода тыловое прикрытие, чтобы укрыться от чересчур тщательного наблюдения и контроля агентов гестапо. По крайней мере такая была у него надежда, такой расчет. Возможно, он ошибался. Возможно, за ним следили и лишь временно давали ему возможность действовать, чтобы тем вернее потом схватить, собрав как можно больше улик. Ульрихс не верил, что на его след напали. Члены ансамбля, сначала недо-

верчиво его обходившие, теперь встречали его сердечно. Ему удавалось их расположить к себе мужественным, простым и веселым характером. Ведь он изучил искусство маскировки. Целеустремленность, воля, пламенная готовность к любым жертвам сделали его хитрым. Он даже научился шутить с Линденталь. Он уверял характерного артиста Йоахима, что не питает ни малейшего сомнения в его расовой чистоте. Он демонстративно приветствовал рабочих сцены предписанной формулой «Хайль!», за которой следовало ненавистное имя диктатора. Когда в ложе находился премьер-министр, Ульрихс утверждал, что у него колотится сердце от волнения, ведь он играет перед таким великим человеком. Сердце у него действительно колотилось, но от гордости и страха. Потому что рабочий сцены, с которым он был в заговоре, шептал, когда Ульрихс уходил за кулисы после своей реплики, — шептал ему что-то насчет подпольного собрания. Почти на глазах страшного толстяка, самого главного, увешанного орденами палача этот маленький артист, прошедший ужасы пыток и лагеря, отваживался продолжать подрывную работу.

Встреча с ужасами лишь на короткое время парализовала его силы. В первые недели после выхода из ада он был в состоянии оцепенения. Его глаза видели то, чего не может увидеть ни один человеческий взгляд, не замутившись от горя: абсолютно обнаженную, абсолютно раскованную, организованную с ужасающей педантичностью низость; абсолютную и всеобъемлющую низость, которая, истязая беззащитных, всерьез прославляет «патриотическое деяние» как «моральное перевоспитание разрушительных антинародных элементов», как высокоморальный долг в борьбе за дело пробужденного отечества.

— Пропадает охота думать о людях, после того как видишь их в таком состоянии, — говорил Ульрихс. Но он любил людей, и его образ мыслей сводился к непоколебимой вере, что из них — когда-нибудь — все же можно будет создать что-то разумное. И он преодолевал скорбную апатию.

— Когда побываешь свидетелем этого ужаса, — говорил он, — остается лишь один выход: покончить с собой или работать с еще большей страстью, чем прежде.

Он был простой, мужественный человек. Его здоровые нервы оправились от шока. Он продолжал работать.

Ему не составило труда восстановить связь с подпольными оппозиционными кругами. Среди рабочих и интеллигентов,

ненависть которых к фашизму была достаточно продуманна и страстна и проявлялась в действии даже в этих крайне опасных и — как казалось — почти безнадежных условиях, у него было много друзей. Артист прусского Государственного театра принимал участие в подпольных акциях против режима. Шла ли речь о тайных встречах, о составлении и распространении запрещенных листовок, газет и брошюр, или об открытых празднествах диктатуры, или о саботаже на фабриках, артист Отто Ульрихс был среди тех, кто решительным образом влиял на все эти приготовления, при этом рискуя жизнью.

Он очень серьезно относился ко всем демонстрациям антифашистского духа и высоко ценил психологическое воздействие, которое они должны были оказывать на запуганную, скованную страхом массу.

— Мы заставляем власть имущих испытывать беспокойство, и мы показываем миллионам, оставшимся врагами диктатуры, но не решающимся открыто объявить о своих взглядах, что воля к свободе не ослабла и действует, несмотря на постоянную слежку целой армии шпионов.

Так думал, говорил и писал артист Отто Ульрихс. При этом он не забывал, что эти действия не самое главное, но лишь средство в достижении цели. Этой целью, этой великой надеждой оставалось собрать воедино разрозненные силы Сопротивления, объединить противоречивые интересы социально и духовно разобщенной оппозиции, расширить и активизировать фронт — народный фронт против диктатуры.

— Все дело в этом и только в этом, — говорил артист Отто Ульрихс.

Поэтому он не ограничивал свою деятельность общением со своими ближайшими друзьями по партии и борьбе. Куда важнее он считал связь с оппозиционными католиками, бывшими социал-демократами или беспартийными республиканцами. Коммунист сначала наталкивался на недоверие буржуазно-либеральных кругов. Но настойчивым и пылким красноречием ему удавалось преодолевать их опасения.

— Но ведь вы так же против свободы, как и нацисты! — упрекали его демократы.

Он отвечал:

— Нет! Мы за свободу, за освобождение страны от фашизма. А уж какой порядок установить после свержения диктатуры, мы договоримся потом.

— Вам не известно чувство патриотизма, — говорили ему

патриотические республиканцы. — Вы знаете только класс, а он интернационален.

— Если бы мы не любили родины, — возражал Отто Ульрихс, — разве могли бы мы так сильно ненавидеть тех, кто ее унижает и губит? Разве рисковали бы мы ежедневно жизнью ради того только, чтобы освободить ее, нашу родину?

Как-то еще в первые недели своей подпольной деятельности Ульрихс сделал попытку довериться Хендрику Хефгену. Но директор испугался, стал нервничать, раздражаться.

— Я ничего не хочу об этом знать, — сказал он резко. — Мне не надо ничего знать, ты меня понял? Я закрываю оба глаза, я не вижу, что ты там делаешь. Но ни в коем случае не посвящай меня в свои дела.

Убедившись, что их не подслушивают, он сдавленным голосом поведал другу о том, как трудно и мучительно для него столь долго и последовательно притворяться.

— Но я уже решился на эту тактику, потому что считаю ее единственно правильной и действенной, — шептал Хендрик и пытался еще раз заговорщицкими взглядами подействовать на Ульрихса, но тот их не замечал. — Тактика неудобная, но мне надо ее выдержать. Я нахожусь в самом логове врага. И я подтачиваю их власть...

Отто Ульрихс почти не слушал. Может быть, именно в этот миг иллюзия исчезла. Он постиг Хендрика Хефгена.

О, как мастерски притворялся директор! Поистине достойно великого артиста! Поистине ведь складывалось впечатление, будто Хендрика Хефгена интересуют только деньги, власть и слава, а вовсе не подтачивание изнутри национал-социалистского режима.

За широкой спиной премьер-министра он чувствовал себя так уверенно, в такой безопасности, что ему казалось, что можно даже пококетничать с опасностью и заклинять ужасы катастрофы шутовством. Когда он разговаривал по телефону с директором театра в Вене, чтобы попросить у него на время какого-то артиста, он говорил плачущим, певучим голосом, тоскливо растягивая гласные:

— Да, мой дорогой, через пару недель я, возможно, уже появлюсь у вас в Вене... Я не знаю, продержусь ли я здесь и две недели. Мое здоровье — вы меня поняли? — мое здоровье ужасно подорвано...

В действительности же лишь две вещи могли бы привести его к падению: если бы генерал авиации вдруг отказал ему в милостях или если бы генерал авиации вдруг сам утратил свою власть. Однако толстяк проявлял к своему Мефистофелю верность, необычную в национал-социалистских кругах и потому возбуждавшую удивление. И звезда жирного великана не думала закатываться: поклонник казней и светловолосой инженерю приобретал все новые титулы, все новые богатства, все больше влияния на руководство государства.

А пока солнце толстяка сияло над ним, Хефген мог не принимать всерьез коварных атак хромого. Министр пропаганды не решался открыто выступить против директора. Напротив, он придавал большое значение возможности при удобном случае показываться с ним вместе. Не обходилось и без известного интеллектуального контакта с актером Хефгеном. Если тому удалось дьявольской светскостью, цинически забавным остроумием очаровать и склонить на свою сторону генерала авиации, то почему бы ему не подружиться и с шефом пропаганды, «старым доктором» — ведь оба не только говорили на одном и том же рейнском наречии, отчего их беседы приобретали серьезный интимный характер, но и использовали одну и ту же терминологию. О «революционной динамике», о «героическом жизненном чувстве», о «полнокровном иррационализме» мог ведь, когда нужно было, болтать и артист Хефген. Вот ему и случалось проводить часок за оживленной беседой со своим смертельным врагом. Что, конечно, вовсе не мешало последнему против него интриговать.

Цезарь фон Мук, вернувшийся из приятной заграничной поездки, делал все мыслимое для распространения слухов о некой негритянке, с которой Хендрик якобы имел нездоровую сексуальную связь и которая на его деньги вела в Париже неприлично роскошную жизнь. С этой дамой, по слухам, Хефген имел тайные свиданья, и не только для того, чтобы продолжать позорное осквернение расы, но и для связи через ее посредство с самыми мрачными и опасными эмигрантскими кругами, а именно теми кругами, говорилось далее, где женщина, с которой Хендрик развелся лишь для видимости — Барбара Брукнер, — играла ведущую роль.

В Государственном театре только и говорили, что о черной любовнице директора, и в крупнейших редакциях и в

среде, задававшей тон, очень хорошо знали о темной даме, проявившей себя в Париже во всем блеске великой вавилонянки. «У нее три обезьяны, молодой лев, две взрослые пантеры и дюжина китайских кули, — говорили о ней, — и она вместе с французским генеральным штабом, Кремлем, масонами и еврейскими финансовыми магнатами строит козни против национал-социалистского государства». Ситуация становилась крайне неприятной для Хефгена. Он решил жениться на Николетте, чтобы покончить со слухами. Премьер-министр весьма одобрил решение своего хитрого протезе. Он строго предостерег всех тех, кто и впредь вздумает подозревать директора.

— Кто против моих друзей, тот против меня, — угрожающе подчеркнул толстяк. Кто упомянет о существовании некоей негритянки еще раз, будет иметь дело со страшной особой генерала авиации и с его тайной полицией. В театре у самого входа на сцену на черной доске повесили объявление, и там было сказано, что всякий, кто будет распространять или даже только слушать слухи о частной жизни или о прошлом господина директора, совершает преступление против государства. Все и без того дрожали перед частным шпионским аппаратом Хефгена. Невозможно было скрыть от опасного, хитрого человека что-нибудь касавшееся или интересовавшее его. Он узнавал все с помощью маленькой армии собственных шпионов. У него всюду были ставленники. Гестапо имело все основания завидовать такой совершенной и точной системе. Даже сам Цезарь фон Мук забеспокоился. Создатель трагедии «Танненберг» счел разумным нанести визит в «Хендрикхолл» и целый час интимно, на саксонском наречии, болтал с хозяином. Сама фрау Белла сервировала вкусную и легкую закуску, к обоим господам присоединилась Николетта. Высоким коварным голосом она вдруг заговорила о неграх. Господин фон Мук и бровью не повел, когда разведенная госпожа Мардер стала уверять, что и Хендрик и она сама питают буквально отвращение к чернокожим.

— Хендрику становится дурно, когда он хоть издали видит кого-нибудь из этой мерзкой расы, — заявила она, безжалостно сверля Цезаря блестящими веселыми глазами. — Чего стоит хотя бы их запах! Просто невыносимо, — продолжала она вызывающе.

— Да, да, — поддакивал Цезарь фон Мук. — Это верно, негры воняют.

И вдруг все трое засмеялись от всего сердца — директор, поэт и яркая девушка.

Нет, до этого Хефгена не так-то легко добраться. Господин фон Мук это понял, министр пропаганды это понял, и оба решили быть с ним в самых дружеских отношениях, пока когда-нибудь не придет возможность его свалить и с ним покончить. В настоящий же момент он неуязвим.

Толстяк устроил ему аудиенцию у диктатора: ведь слухи о принцессе Тебаб достигли даже самой августейшей персоны. Посланец бога с отвращением высказался об этом случае. О чернокожих он почти такого же мнения, как и о евреях.

— Как же человек, общающийся с людьми, в расовом отношении неполноценными, может обладать нравственной зрелостью, необходимой для поста директора? — недоверчиво расспрашивал фюрер свое окружение.

И вот Хендрик посредством мерцающих взглядов, певучего голоса, благородно страдальческих манер должен расположить в свою пользу величайшего из когда-либо живших немцев и убедить его в своей нравственной полноценности.

Полчаса, которые директор провел на частной аудиенции у мессии всех германцев, были для него очень трудны, даже мучительны. Разговор шел несколько натянутый, фюрер не интересовался театром, он предпочитал оперы Вагнера и фильмы «УФА». О своих оперных постановках, которые имели такой успех в проклятое время «системы», Хефген не решался говорить из страха, как бы фюрер не вспомнил тогдашних уничтожающих отзывов Цезаря фон Мука: «разлагающие эксперименты, отмеченные семитским влиянием...» Хендрик просто не знал, о чем говорить. Физическая близость власти смущала и пугала его. Невероятная слава человека, сидевшего напротив, пугала честолюбца.

А под незначительным покатым лбом власти, на который ниспадала легендарная сальная прядь, был мертвый, неподвижный, словно слепой взгляд. Лицо у власти было серо-белое, оплывшее, рыхлое и пористое. У власти был очень вульгарный нос — «гнусный нос», осмелился подумать Хендрик. К восторгу примешивалось чувство протеста, даже презрения. Артист заметил, что у власти вовсе нет затылка. Под коричневой рубашкой выступал мягкий живот. Говорила власть тихо, берегла свой осипший, хриплый голос. Она употребляла трудные слова, демонстрировала артисту «образованность».

— Интересы нашей северной культуры требуют от энергичного, гордого в своем расовом самосознании, упрямо идущего к цели индивидуума полной отдачи, — поучала власть, стараясь по возможности заглушить свой южнонемецкий акцент и пытаясь говорить на изысканном литературном языке, который в ее устах звучал как язык усердного школьника, тараторящего вызубренный текст.

Хендрик весь взмок от пота, когда через двадцать пять минут выходил из дворца. Ему казалось, что он был в отвратительной форме и все себе испортил. Но в тот же вечер он узнал через генерала авиации, что произвел на власть не такое уж плохое впечатление. Напротив, диктатора приятно поразила именно робость директора. Фюрер не любил, считал неприличной дерзостью, если кто-нибудь в его присутствии пытался быть непринужденным или даже блистать. Перед лицом власти должно благоговейно молчать. Сияющий Хендрик вызвал бы, наверное, досаду у мессии всех германцев. О смущенном, оробевшем директоре всемогущий дал вполне снисходительный отзыв.

— Вполне приличный человек этот Хендрик Хефген, — сказала власть.

Премьер-министр, который копил титулы, как другие собирают марки или бабочек, думал, что и друзей его больше всего могут обрадовать такого рода отличия. Он произвел Хефгена в государственного советника, произвел его в сенаторы. Директор имел важные посты во всех культурных институтах «третьего рейха». Вместе с Цезарем фон Муком и некоторыми господами в мундирах он принадлежал к руководству «культурного сената». Первый товарищеский вечер этого объединения проходил в «Хендрик-холле». Присутствовал и министр пропаганды. Он ухмылялся всем лицом, когда фрейлейн Иози исполнила одну из своих песенок в народном стиле. Не кто иной, как Цезарь фон Мук аккомпанировал юной певичке на рояле. Угощение было подчеркнуто скромное. Хендрик попросил свою мать Беллу подать только пиво и бутерброды с колбасой. Элегантные господа в мундирах были разочарованы, ибо они много были наслышаны о дивной роскоши, царившей на вилле директора. Но что толку было от изысканных лакеев, если они подавали одни только бутерброды, которые можно съесть и дома? Весь культурный сенат досадовал бы, если бы министр пропаганды не поднял общего настроения своей бодростью. Только неясно было, к со-

жалению, о чем говорить. Проблемы культуры большинству сенаторов были довольно чужды. Господа сенаторы гордились тем, что отродясь не прочли ни одной книги. Они вполне могли позволить себе этим хвастаться, ведь всеми почитаемый ныне покойный и погребенный в присутствии фюрера господин генерал-фельдмаршал и рейхспрезидент хвастался тем же. Но вот один пожилой романист, высоко чтимый официальными кругами и выпускавший книги, которые никто никогда не читал по причине ужасающей скучности, предложил прочесть главу из своей трилогии «Народ подымается». Началась небольшая паника. Несколько господ в мундирах вскочили с мест, бессознательно, но грозно положив кулаки на кобуры пистолета. Ухмылка министра пропаганды искривилась. Бенъямин Пельц застонал, словно его с размаху ударили в грудь. Фрау Белла убежала в кухню. Николетта резко и нервно расхохоталась. Ситуация была бы катастрофической, если бы ее не спас Хефген. Своим певучим, льстивым голосом он проговорил:

— Все мы почли бы за честь, просто за счастье услышать эту обширную и значительную главу из трилогии «Народ подымается». — Тут лицо Хендрика осветилось стервозной улыбкой. — Но сейчас уже довольно поздно и, кроме того, нужно обсудить много актуального, срочного, и присутствующим трудно сосредоточиться на великом произведении, чтобы должным образом им насладиться.

Он, Хефген, позволит себе предложить следующее: надо для этого чтения назначить специальный вечер, и тогда все присутствующие смогут внутренне к нему подготовиться.

Сенаторы облегченно вздохнули. Старый эпик чуть не плакал от разочарования и обиды. Господин Мюллер-Андреа принялся рассказывать грязные анекдоты, унаследованные от той эпохи, которую он авторитетным тоном и с искренним осуждением назвал «годами коррупции». То было несколько перлов из когда-то знаменитой рубрики «Знаете ли вы?». В тот же вечер выяснилось, что характерный актер Йоахим умеет очень смешно имитировать собачий лай и кудахтанье кур. Лотта Линденталь от смеха чуть не свалилась со стула, когда Йоахим копировал попугая. Прежде чем разойтись, Бальдур фон Тотенбах, тоже сенатор, специально для этого культурного мероприятия проделавший путешествие из Гамбурга в Берлин, внес предложение стоя спеть песню Хорста Весселя и в сотый раз поклясться в верности фюреру. Все восприняли

эту идею с известной неловкостью, но, конечно, никто не возражал.

Пресса подробно сообщила о таком интимном, но духовно плодотворном товарищеском вечере сенаторов культуры в доме директора. Вообще газеты не упускали возможности сообщить публике о художественных или патриотических деяниях Хендрика Хефгена. Его относили к числу самых важных и активных «выразителей немецкой культуры». Его фотографировали не реже, чем какого-нибудь министра. Когда знатные люди столицы собирали деньги на «зимнюю помощь» на улицах и в ресторанах, директор имел почти такой же успех, как члены правительства. Но те были окружены вооруженными до зубов детективами и служащими гестапо, так что народ со своими пожертвованиями с трудом к ним продирался, а Хефген мог себе позволить передвигаться без всякой охраны. Правда, он выбрал себе такой район, где ему почти не грозила встреча с опасными представителями пролетариата: директор собирал пожертвования в вестибюле гостиницы «Адлон». Он не преминул спуститься в хозяйственные помещения, и каждый поваренок должен был бросить свой грош в копилку, куда Лотта Линденталь только что опустила своими нежными пальчиками купюру в сто марок. Директор сфотографировался под руку с дородным шеф-поваром. Снимок поместили на обложке журнала «Берлинер иллюстрирте».

Но уж буквально затопили прессу фотографии Хефгена, когда директор справил свадьбу. Свидетелями на свадьбе Хендрика с Николеттой были Мюллер-Андреа и Бенъямин Пельц. Премьер-министр прислал в качестве свадебного подарка двух черных лебедей для маленького пруда в парке «Хендрик-холла». Пара черных лебедей! Журналисты захлебывались в восторге от такой оригинальности. Лишь немногие старики — например, генеральша — припоминали, что уже и раньше один высокопоставленный покровитель муз однажды сделал своему протезе точно такой же подарок: баварский король Людвиг подарил черного лебедя композитору Рихарду Вагнеру.

Сам диктатор поздравил молодых телеграммой; министр пропаганды прислал корзину орхидей, таких ядовитых с виду, словно получатели с их ароматом должны были вдохнуть смерть; Пьер Ларю сочинил длинное стихотворение на французском языке; Теофиль Мардер прислал по телеграфу свое проклятие; маленькая Ангелика, которая, кстати, только что

родила, всплакнула в последний разок о своей загубленной любви; во всех редакциях попрятали материал о Хефгене и принцессе Тебаб в самые дальние потайные ящики, а доктор Ириг продиктовал своей секретарше статью, в которой приветствовал Николетту и Хендрика, «в самом прекрасном и глубоком значении слова немецкую чету», «двух юных и вместе с тем зрелых, все силы отдающих на служение новому обществу людей чистой расы и безупречной души». И лишь одна-единственная газета — считалось, что она очень тесно связана с министерством пропаганды, — решилась намекнуть на подозрительное прошлое Николетты. Молодую женщину поздравили с тем, что она покинула «эмигранта, еврейского отпрыска и большевика Теофиля Мардера», чтобы вновь принять активное участие в культурной жизни нации. Это была горькая пилюля, хотя и изящно подслащенная. Имя Теофиля прозвучало неприятным диссонансом в прекрасном хоре поздравительных статей.

Николетта вместе с огромными чемоданами и шляпными картонками переехала с площади Рейхсканцлера в Груневальд. Ее горничная, помогавшая ей распаковывать вещи, несколько растерялась, когда обнаружила высокие красные сапожки; но молодая хозяйка объяснила, резко отчеканивая каждый слог, что сапоги эти ей необходимы для костюма амазонки.

— Я буду их носить в роли Пентесилеи! — крикнула Николетта странно торжествующим голосом. Горничная так испугалась непонятого, звонкого имени и сияющих кошачьих глаз хозяйки, что воздержалась от дальнейших расспросов.

Вечером в «Хендрик-холле» устроили большой прием. Как скромно было маленькое торжество в доме тайного советника, когда праздновалась первая свадьба Хендрика, в сравнении с этим торжественным празднеством! Сияя опасной прелестью, проходили Оберон и Титания сквозь толпы гостей. Они держались очень прямо, он — подняв подбородок, она — высокомерным жестом подобрав сверкающий звенящий шлейф металлического вечернего платья и гордо неся на плечах и в волосах большие фантастические стеклянные цветы. Лицо Николетты светилось жесткими искусственными красками; бледное, зеленоватое лицо Хендрика, казалось, фосфоресцировало. Видно было, что обоим улыбки давались с трудом. Оба лица производили впечатление масок. Застывшие взоры, казалось, проходили сквозь людей, приветство-

вавших их на их гордом пути, как сквозь воздух. Что же видели оба за всеми этими фраками, орденами, галунами и драгоценностями? Отчего так остекленели эти взоры под полупущенными веками? Что за тени толпились перед ними и какой печальной силой были они наделены? Почему улыбки на устах Хендрика и Николетты застыли, исказились страдальческой гримасой?

Быть может, их взгляды погрузились в испытующий взор Барбары, их подруги, далекой, недоступной Барбары, отделенной от них обоих пропастью, через которую нет мостов, выполнявшей на чужбине серьезный и тяжкий долг. Быть может, они увидели причудливый, мученический лик Теофиля Мардера, ослепленного, всепонимающего, тысячью мук искупившего все грехи своего преступного высокомерия и шутовского чванства, жалостно и гневно смотрящего на Николетту, отрекшуюся от него и своей собственной судьбы с таким упрямым своевоьем. Но, быть может, они вовсе не видели какого-то одного лица, но образ их собственной юности? И он был не очень отчетлив, но потряс их как видение неосуществленных возможностей, упущенных в преступном тщеславии; постыдный образ предательства, предательства не только других, но и самих себя, той более благородной, лучшей и чистой их части? Или они мысленно читали полную горечи позорную и мрачную хронику собственной гибели, крушения, которое в слабоумном мире представлялось взлетом. Взлет, так думал этот слабоумный мир, привел обоих к этому победному свадебному часу; но именно этот час стал часом их поражения. Теперь они навеки связаны друг с другом, двое сверкающих, мерцающих, улыбающихся, как навеки связаны двое предателей, двое преступников. Узы, связывающие одного виновного с другим оборачиваются не любовью, но ненавистью.

В то время как культурный сенат устраивал интимные товарищеские вечера, в то время как великие люди страны в вестибюлях гостиниц собирали скромные пожертвования для своих страждущих братьев по крови (на эти средства, кстати, финансировалась пропаганда «третьей империи» за границей), в то время, как праздновались свадьбы, распевались песни и произносилось неимоверное количество речей, режим тотальной, милитаристской диктатуры крупного капитала все шел и шел своим кровавым путем, устланным трупами.

Иностранцы, проводившие неделю в Берлине или несколько дней в провинции, английские лорды, венгерские журналисты или итальянские министры, славили безупречную чистоту и порядок, бросавшиеся в глаза в раздавленной стране. Им казалось, что у всех тут веселые лица; они отмечали: фюрера любят, он возлюбленный целого народа, оппозиции не существует. Тем временем оппозиция в самом сердце партии стала настолько сильной и угрожающей, что страшный триумвират — фюрер, толстяк и хромой вынуждены были «молниеносно» вмешаться. Человек, которому фюрер был обязан армией, которого министр пропаганды еще позавчера обольщал очаровательной улыбкой и которого глава государства еще вчера называл своим «самым верным товарищем», был однажды посреди ночи вытащен лично фюрером из постели и через несколько часов казнен. Но прежде чем грянул выстрел, мессия всех германцев и его «самый верный товарищ» сделались участниками сцены, вряд ли типичной для высокопоставленных господ. «Самый верный товарищ» орал на мессию:

— Ты подлец, предатель — вот ты кто!

Он позволил себе эту искренность, потому что заметил, что пробил его последний час. Вместе с ним умерли сотни других старых членов партии, сделавшихся чересчур строптивыми. Тогда же убили и несколько сотен коммунистов, и, таким образом, убийства стали достаточно масштабным явлением. Толстяк, хромой и фюрер убрали еще и всех тех, против кого таили личное зло, или же тех, от кого ждали неприятностей в будущем: генералов, писателей, старых премьер-министров в отставке — различий не делалось, иногда заодно расстреливали и жен — пусть катятся головы, — фюрер всегда так говорил. И вот час пробил. Позднее упоминалось о «небольшой чистке»; лорды и журналисты находили, что фюрер обладает просто сверхъестественной выдержкой: он такой мягкий человек, любит зверей, не притрагивается к мясу; и вот не моргнув глазом смотрит, как подышают самые верные его друзья. Народ после этой кровавой оргии, казалось, возлюбил посланца бога еще сильнее прежнего, и рассеянные по стране одиночки, испытывавшие отвращение и ужас, чувствовали себя сиротливо. «Дожил же я до того, — жаловался когда-то доктор Фауст, — что хвалят наглых убийц».

Покатились головы юных девушек-аристократок, о них шептались, что они кому-то выболтали секреты тотального го-

сударства. Покатились головы мужчин, не знавших за собой другой вины, кроме той, что они не могли отказаться от своих социалистических воззрений, но ведь и мессия, повелевший их казнить, называл себя социалистом? Мессия утверждал, что он за мир, и потому истязал пацифистов в концентрационных лагерях. Их убивали, родным отсылали запечатанные урны с прахом вместе с сообщением, что пацифистский выродок повесился или убит при попытке к бегству. Немецкая молодежь твердила слово «пацифист» как ругательство; немецкой молодежи не полагалось больше читать ни Гёте, ни Платона, ее учили стрелять, бросать бомбы; молодежь наслаждалась ночными военными учениями; когда фюрер болтал о мире, молодежь понимала, что это не всерьез. Военизированная, дисциплинированная, вымуштрованная молодежь знала лишь одну цель, имела лишь одну перспективу: реванш, захватническую войну. Эльзас-Лотарингия — немецкая земля, Швейцария — немецкая земля, Голландия — немецкая земля, Чехословакия — немецкая земля, Украина — немецкая земля, Австрия — о! Австрия особенно немецкая земля — это и без слов понятно. Германия должна вернуть колонии. Вся страна превращается в военный лагерь. Военная промышленность процветает. Сплошная перманентная мобилизация. И за граница не может отвести взора от внушительного, жуткого спектакля. Так и кролик смотрит на змею, готовую вот-вот его съесть.

Но при диктатуре умеют веселиться. Популярен лозунг «Радость дает силу»; устраиваются народные празднества. Саар — немецкая земля — народное празднество. Толстяк женится, наконец, на своей Линденталь, позволяет одарять себя миллионными подарками — народное празднество. Германия выходит из Лиги наций, Германия вновь стала «оборонеспособной» — сплошные народные празднества. Народным празднеством становится каждое нарушение договора — идет ли речь о Версальском договоре, о договоре в Локарно, — каждый обязательный «плебисцит». Особенно длительные празднества — это преследования евреев и пригвождение к позорному столбу тех девушек, которые уличены в «позоре осквернения расы»; преследования католиков, которые, как теперь стало известно, всегда были ненамного лучше евреев и против которых затевали шутовские «валютные процессы», придравшись к мелочам, в то время как национальные вожди продавали за границу целые состояния; преследования «реакции», причем под этим словом ничего определен-

ного не имелось в виду. Марксизм искоренен, но остается все же опасностью и поводом к массовым процессам; немецкая культура «очищена от евреев», но зато стала такой скучной, что никто не хочет о ней ничего знать; масла не хватает, но пушки — важнее; в день Первого мая, прежнего праздника пролетариата, какой-то спившийся доктор — набухший шампанским труп — расписывает радости жизни. Не устает ли народ от такого огромного количества сомнительных торжеств? Может быть, он уже устал. Может быть, он даже стонет. Но грохот мегафонов и микрофонов покрывает жалобные крики.

Режим идет и идет своим кровавым путем. По обочине грудятся трупы.

Кто противился, знал, чем он рискует. Кто говорил правду, должен был рассчитывать на месть лжецов. Кто пытался распространять правду и бороться за нее, был под угрозой смерти и всех тех ужасов, которые предшествовали смерти в застенках «третьей империи».

Отто Ульрихс был на переднем крае борьбы. Его единомышленники и друзья поручали ему самые трудные, самые опасные задания. Все придерживались мнения, верней, всем хотелось надеяться, что его положение в Государственном театре до известной степени его охраняет. Во всяком случае, это положение было более надежным, чем положение многих его товарищей, скрывавшихся под чужими именами в подполье — вечно прячущихся от агентов гестапо, преследуемых полицией, словно воры или убийцы, гонимых в той стране, которой правили воры и убийцы. Отто Ульрихс мог себе позволить кое-что такое, что для его друзей означало бы неминуемую гибель. Но он шел на слишком большой риск. И однажды утром его арестовали.

Это было время, когда в Государственном театре репетировали «Гамлета». Директор получил заглавную роль. Отто Ульрихс должен был играть придворного Гильденстерна. Когда он, не прислав извинения, не пришел на репетицию, Хефген испугался. Он сразу понял, по крайней мере догадался о том, что случилось. Он ушел с репетиции. Труппа продолжала работу без него. Когда директор узнал от хозяйки, что Ульрихса ранним утром увели трое в штатском, он тут же позвонил во дворец премьер-министра. Сам толстяк подошел

к аппарату. Но он сделался как-то странно резок и рассеян, когда Хендрик спросил его, знает ли он что-нибудь об аресте Отто Ульрихса. Генерал авиации отвечал, что он не в курсе дела.

— Да я за это и не отвечаю, — сказал он довольно нервно. — Если наши люди забрали этого типа, значит у него рыльце в пушку. Я ведь с самого начала ему не доверял. И этот его «Буревестник»! Что за мерзкий балаган...

Когда Хендрик все же решился спросить, нельзя ли чего-нибудь предпринять для смягчения участи Ульрихса, толстяк стал вовсе уж нелюбезен, жирный голос зазвучал как-то особенно резко:

— Нет, нет, дорогой, не вмешивайтесь-ка лучше не в свое дело! Будьте умнее, держитесь подальше от таких историй. — Это звучало угрозой.

А намек на «Буревестник»? Ведь и сам Хефген выступал в роли «товарища»... Все это было крайне неприятно. Хендрик понял, что может лишиться высочайшей милости, если тотчас не прекратит заботу о судьбе своего старинного друга. «Пусть пройдет несколько дней, — решил он. — Если увижу толстяка в лучшем настроении, попытаюсь остороженько вернуться к этому делу. И мне удастся еще раз спасти Отто из «Колумбии» или из лагеря. Но тут уж баста! Хватит! Надо отправить его за границу. Этой своей бессмысленной неосторожностью, запоздалыми детскими понятиями о героизме он доставит мне кучу неприятностей...»

По прошествии двух дней Хендрику все еще не удалось ничего узнать об Ульрихсе, и он тревожился. Беспокоить премьер-министра телефонным звонком он уже не решался. После долгих раздумий он решился позвонить Лотте. Добросердечная супруга великого человека сначала сказала, что рада вновь услышать милый голос Хендрика. Он несколько торопливо заверил ее, что испытывает те же чувства, когда слышит ее голос. Сегодня, однако же, у него особые причины для звонка.

— Я беспокоюсь об Отто Ульрихсе, — сказал Хефген.

— Какое же тут беспокойство? — воскликнула блондинка из своего будуара в стиле рококо. — Он же умер! — Она была удивлена, ее почти позабавило, что Хендрик этого еще не знает.

— Он умер... — тихо повторил Хендрик, к удивлению госпожи генеральши, повесил трубку, не попрощавшись с ней.

Хендрик тотчас же отправился к премьер-министру. Всемогущий принял его в своем кабинете. На нем было фантастическое домашнее одеяние, по манжетам и воротнику отороченное горностаем. У ног его лежал огромный дог. Над письменным столом на фоне черной драпировки блестел широкий зазубренный меч. На мраморном цоколе стоял бюст фюрера, слепыми глазами взиравшего на две фотографии: на одной была изображена Лотта Линденталь в роли Минны фон Барнгельм, на другой — скандинавская дама, некогда увезшая раненого авантюриста в своей машине в Италию; ныне над ее урной стоял огромный памятник — мерцающий купол из мрамора и позолоченного камня. Так вдовец выражал ей свою благодарность, хотя, по сути дела, то был памятник его собственному чванству.

— Отто Ульрихс умер, — сказал Хендрик, остановясь в дверях.

— Разумеется, — отвечал толстяк из-за письменного стола. И когда увидел, что бледность, словно отблеск белого пламени, облила лицо Хендрика, добавил: — Видимо, самоубийство.

Премьер-министр произнес эти слова без запинки, не покраснев.

Хендрик покачнулся. Невольным жестом, слишком явно выражавшим ужас, он схватился за лоб. Это, кажется, был первый абсолютно искренний, отнюдь не стилизованный жест, который премьер-министр увидел у артиста Хефгена. Великого человека разочаровало такое отсутствие самообладания в его ловком любимце. Он встал, вытянулся во весь свой ужасающий рост. Вместе с ним поднялся страшный дог и зарычал.

— Я как-то уже дал вам хороший совет, — грозно сказал генерал авиации, — и я повторяю, хоть и не привык что-нибудь говорить дважды: не суйтесь вы в это дело!

Формула не нуждалась в разъяснении.

Хендрик с ужасом ощутил близость пропасти, по краю которой постоянно передвигался, куда жирный толстяк мог его спихнуть, как только ему вздумается. Премьер-министр стоял, опустив голову. На бычьем затылке вздулись три толстые складки. Маленькие глазки блестели, веки были воспалены, глазные белки покраснели, будто кровь, бросившаяся в голову гневного тирана, затуманила его взор.

— Дело нечистое, — добавил он еще. — Этот Ульрихс

был замешан в грязные аферы, у него были все основания покончить самоубийством. Директор моих государственных театров не должен проявлять слишком большой интерес к государственному изменнику.

Слово «государственный изменник» генерал уже прорычал. Хендрику стало дурно, так близко он увидел пропасть. Чтобы не упасть, он схватился за ручку тяжелого кресла в стиле ренессанс. Когда он попросил разрешения удалиться, премьер-министр отпустил его неблагоприятным кивком.

Никто в театре не решался говорить о «самоубийстве» коллеги Ульрихса. Но какими-то таинственными, не поддающимися контролю путями все тем не менее узнали, каким образом он умер. Его не казнили, его замучили до смерти, пытались выведать у него имена его сообщников и друзей. Но он молчал. Злоба и разочарование гестаповцев не знали предела. В квартире Ульрихса не нашли никакого компрометирующего материала, никаких бумаг, ни одной записки, ни одной записки с адресом. Потеряв надежду что-нибудь из него выудить, просто для того, чтобы наказать его за упрямство, они усилили пытки. Может быть, палачи и не получали определенного указания его убить. Он умер в их руках на третьем допросе. Тело стало кровавой неузнаваемой массой, и мать, жившая в провинции, помешавшаяся от горя при известии о самоубийстве, — эта бедная мать никогда бы не узнала заплывшее, растрескавшееся, разорванное, вымазанное гноем, кровью и калом лицо, которое было когда-то лицом ее сына.

— Ты принимаешь это так близко к сердцу? — спросила Николетта со странным холодным и словно бы даже насмешливым любопытством у своего супруга. — Тебя это волнует?

Хендрик не решился ответить на ее взгляд.

— Я так давно его знал, — сказал он тихо, будто извиняясь.

— Он понимал, чем рискует, — сказала Николетта. — Когда играешь, надо учитывать возможность проигрыша.

Хендрик, которому разговор был мучительно неприятен, пробормотал только:

— Бедный Отто! — чтобы хоть как-то прореагировать.

Она отрезала:

— Почему бедный? — И добавила: — Он умер за дело,

которое казалось ему правильным. Может быть, ему надо завидовать.

И после паузы протянула мечтательно:

— Я хочу написать Мардеру. Рассказать ему о смерти Отто. Мардер восхищается людьми, ставящими на карту жизнь во имя идеи. Он любит упрямых. Он и сам способен из упрямства пожертвовать жизнью. Может быть, он найдет, что этот Ульрихс был настоящей личностью и обладал чувством дисциплины.

Хендрик сделал нетерпеливое движение рукой.

— Отто не был особенной личностью, — сказал он. — Он был просто человек — просто солдат великого дела...

Тут он умолк, и его бледное лицо слегка покраснело. Ему было стыдно своих слов. Ему было стыдно оттого, что он употребил слова, серьезность которых осознал глубже, чем когда-нибудь, — из-за смерти Отто. И так как в этот короткий миг он понял вес и достоинство этих слов, он почувствовал, что с его стороны было кощунством произносить такие слова. Он чувствовал, что эти серьезные слова в его устах звучали глумлением.

На похороны артиста Отто Ульрихса, который «добровольно ушел из жизни из боязни справедливого возмездия народного суда», никому не разрешили являться. Государство зарыло бы изуродованный труп, как зарывают дохлую собаку. Но мать умершего, набожная католичка, прислала деньги на гроб и на маленький надгробный памятник. В письме, неразборчивом из-за пролитых слез и пятен жира, она просила, чтобы ее дитя похоронили по христианскому обычаю. Церковь вынуждена была отказать: за телом самоубийцы не может следовать священник. Старая женщина молилась в своей нищенской каморке за погибшего сына.

— Он не верил в тебя, боже милостивый, и он был грешен. Но он был неплохой. Он шел по неправильному пути, но не по злему умыслу. Он считал этот путь правильным. А всякий путь ведет к тебе, боже милостивый, если по нему идет человек с добрым сердцем. Ты ведь простишь ему, ты ведь снимешь с него вечное проклятье. Ты проникаешь в сердца, святой боже, а сердце моего заблудшего сына было чисто.

Старая женщина не могла набрать денег на гроб и на памятник; у нее не было денег — ни единого пфеннига — и ничего продать. Она жила тем, что чинила рваное белье, и часто

она ложилась спать голодная. Теперь Отто не сможет ее поддерживать, ей будет еще хуже. Друг умершего, не назвавший своего имени, прислал ей из Берлина денег на похороны с точным указанием, по какому адресу следует перевести эту сумму.

«Простите, что я не называю своего имени, — писал незнакомец. — Но вы наверняка поймете причины, по которым мне необходимо соблюдать осторожность».

Старая женщина не поняла ничего. Она немного поплакала, удивилась, покачала головой, помолилась и послала деньги, только что полученные из Берлина, обратно в Берлин.

«Видно, они там, в городах, все с ума посходили, — решила она. Зачем это посылать деньги через всю Германию, а потом обратно туда же, в Берлин? Но, наверное, это хороший человек. Наверняка хороший и набожный человек». И она включила неизвестного жертвователя в свои молитвы.

Таким образом надгробный памятник и гроб убитого революционера были оплачены из большого жалованья, которое господин директор получал от национал-социалистского государства. Это было последнее и единственное, что Хендрик Хефген еще мог сделать для своего друга Отто Ульрикса: это было последнее оскорбление, которое он ему нанес. Но, отправив деньги матери Отто Ульрикса, Хендрик почувствовал облегчение. Совесть его все же несколько успокоилась и на той страничке, где у него отмечалась «перестраховка», снова появилась запись прихода. Напряжение, в котором он находился в течение последних ужасных дней, постепенно спадало. Тяжесть сползала с плеч. Ему удалось всю энергию сконцентрировать на «Гамлете».

Эта роль оказалась трудной, он и не знал, как она трудна. С каким легкомыслием он тогда, в Гамбурге, импровизировал роль датского принца! Добрый Кроге кипел от гнева, хотел отказаться от постановки уже во время генеральной репетиции.

— Я не потерплю в своем заведении такого свинства! — ревел поборник интеллектуального театра. Хендрик вспоминая об этом, улыбался.

Теперь не было никого, кто бы в его присутствии осмелился говорить о «свинстве». Но когда он оставался наедине с самим собой, когда никто не мог его услышать, Хендрик стонал:

— У меня не получится!

Когда он репетировал Мефисто, он с самого начала заранее был уверен в каждом тоне, в каждом жесте. А вот датский принц не поддавался. Хендрик боролся с ним.

— Я справлюсь с ролью! — восклицал артист. И Гамлет отвечал ему — отвернувшись, грустно, презрительно, высокомерно:

О нет, с тобою схож
Лишь дух, который сам ты познаешь, —
Не я! *

Комедиант орал на принца:

— Я сумею тебя сыграть! Если ты не получишься, значит, я совершенно не состоялся. Ты — испытание огнем, которое я должен выдержать. Вся моя жизнь, все мои грехи — мое великое предательство, мой позор — можно оправдать моим искусством. А художник я лишь в том случае, если я — Гамлет.

— Ты не Гамлет, — отвечал ему принц. — В тебе нет истинного благородства; оно достигается только страданием и познанием. Ты не достаточно страдал, а то, что ты познал, было для тебя не важнее красивого титула и солидного оклада. Ты не благороден; ибо ты — шут, веселящий власти, клоун, развлекающий убийц. Ты и внешне вовсе не похож на Гамлета. Посмотри-ка на свои руки — разве это руки человека, облагороженного страданием и познанием? Твои руки грубы, сколько бы ни старался ты подавать их как изящные и утонченные. К тому же ты чересчур толст. Извини, что приходится обращать на это твое внимание — но Гамлет с такой задницей — о, ужас! — И тут из таинственной дали немеркнувшей Гамлетовой славы раздавался глухой и презрительный смех принца.

— Ты же знаешь, на сцене я до сих пор умею выглядеть очень стройным! — вскрикивал обиженный комедиант. — Я заказал себе такой костюм, в котором даже злейший враг не заметит моих толстых ляжек. И гнусно с твоей стороны о них напоминать, когда я и без того нервничаю. И почему тебе обязательно надо меня унижить? Неужели ты так меня ненавидишь?

— Вообще я тебя не ненавижу. — Принц презрительно пожимал плечами. — Я к тебе вообще никак не отношусь. Ты —

* Гётте, Фауст, перевод Б. Пастернака.

не моего круга. У тебя, мой дорогой, был выбор между благородством и карьерой. Ты сделал выбор. Будь счастлив, но меня оставь в покое!

И узкая фигура принца начинала растворяться.

— Я не отпущу тебя! — пыхтел комедиант, простирая к принцу руки, о которых тень высказалась с таким презрением. Но руки хватали пустоту.

— Ты не Гамлет! — уверял его уже из дальней дали чужой высокомерный голос.

Он не был Гамлетом. Но он сыграл его, навыв ему не изменил.

— Великолепно! — говорили ему режиссер и коллеги то ли из-за отсутствия пронизательности, то ли ради того, чтобы подольститься к директору. — Со времени великого Кайнца немецкий театр не знал такого исполнения.

Сам же он знал, что не передал ни смысла, ни тайны стихов. Его исполнение не выходило за пределы риторики. Так как он себя чувствовал неуверенно и по-настоящему не проник в образ Гамлета, ему приходилось экспериментировать. С нервным напряжением он изобретал нюансы, маленькие неожиданные эффекты, но между ними не было внутренней связи. О решил акцентировать мужские, энергичные черты датского принца.

— Гамлет не слабовольный человек, — объяснял он коллегам и режиссеру.

Он и в беседах с журналистами высказывался в том же духе.

— Менее всего он женствен, целые поколения актеров совершали ошибку, настаивая на его женственности. Его меланхолия — не пустой сплин, она имеет реальные причины. Принц прежде всего мстит за отца. Он человек эпохи Ренессанса, очень аристократичный, не лишенный цинизма. Для меня самое важное — освободить его от жалостливых, плаксиных черт, которыми наградило его традиционное толкование.

Режиссер, коллеги и журналисты находили все это новаторским, исключительно смелым, интересным. Бенъямин Пельц, с которым Хефген вел долгие беседы о Гамлете, был в восторге от концепции Хендрика.

— Если вообще мы, современные люди, люди цинично активные, способны воспринимать датского принца, то только так, как чувствует и передает его ваш гений, — говорил Пельц.

Хендрик Хефген сделал из Гамлета прусского лейтенанта с неврастеническими чертами. Акценты, которыми он пытался прикрыть выхолощенность своей игры, были необузданны, резки, лишены чувства меры, крикливы. Он вытягивался, например, по стойке смирно, чтобы через миг с грохотом упасть в обморок. Вместо того чтобы жаловаться, сетовать, он кричал, бушевал. У него был пронзительный смех, он все время дергался. Глубокой и таинственной меланхолии, свойственной его Мефисто, той ненамеренной, несыгранной меланхолии, созданной по загадочным, им самим неосознанным законам, не было у Гамлета. Большие монологи он преподносил с образцовым уменьем. Но он их только «преподносил». В его жалобе:

О, если б ты, моя тугая плоть,
Могла растаять, сгнить, испариться! * —

не было ни музыки, ни твердости, не было красоты, отчаяния; не чувствовалось того пережитого и выстраданного, что предшествовало этим словам, родило их, ни чувство, ни познание не облагораживали его речи; она оставалась кокетливой жалобой, в ней ясно звучало желание нравиться.

Тем не менее премьера «Гамлета» имела бурный успех. Для современной берлинской публики главным достоинством актера были не чистота и сила исполнительского мастерства, а близость с властью. Впрочем, вся постановка была рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на сидевших в партере высоких военных чинов, кровожадных профессоров, а также на их не менее воинственно настроенных подруг. Режиссер грубо и демонстративно подчеркнул северный характер шекспировской трагедии. Действие происходило на фоне аляповатых, тяжелых декораций, скорее годных для создания фона к «Песне о Нибелунгах». На сцене, тонувшей в мрачных сумерках, все время бряцали мечи и раздавались хриплые крики. Посреди этих неотесанных типов Хендрик выделялся трагической напыщенностью и жеманством. Один раз он позволил себе такую выходку: в течение нескольких минут неподвижно сидел за столом и демонстрировал потрясенной публике только свои руки. Лицо оставалось в тени: руки, выкрашенные известково-белым цветом — и ярко освещенные прожекторами, — лежали на черной столешнице.

* В. Шекспир, Гамлет, перевод Б. Пастернака.

Директор выставлял свои некрасивые руки, словно некие драгоценности. То ли из озорства — чтобы посмотреть, как далеко можно позволить себе зайти, — то ли чтобы помучить самого себя. Ибо он сам тяжело страдал, выставляя напоказ свои широкие, вульгарные пальцы.

«Гамлет — это подлинно германская драма, — объявил доктор Ириг в своей предварительной рецензии, вдохновленной министерством пропаганды. — Датский принц — великий символ всего немецкого. В нем выражена часть нашей глубочайшей сущности. Гельдерлин говорил о нас:

Ибо вы — немцы и вы тоже
Бездеятельны и богаты мыслями.

Гамлет являет собой также и опасности, таящиеся в немце. Он сидит в каждом из нас, мы должны его преодолеть. Ибо нынешний час требует от нас действия, а не одних только мыслей и разлагающего самоанализа. Провидение, пославшее нам фюрера, обязывает нас к действиям во славу нации, которых Гамлет, этот типичный интеллектуал, чурается, от которых уходит далеко в царство мечты».

Все сошлось на том, что Хефген в своей интерпретации Гамлета дал почувствовать трагический конфликт между жадной деятельностью и глубиной мысли, конфликт, столь интересно отличающий немецкого человека от всех остальных живых существ. Ибо он показал принца эдаким сорвиголовой, даже хулиганом, страдающим нервным расстройством. И его зрители с полным пониманием отнеслись как к хулиганству, так и к истерии, так как по привычке и к тому и к другому.

Директор — костюм его и впрямь был столь ловко сработан, что придавал ему юношески стройный облик, — много раз выходил на аплодисменты. Рядом с ним раскланивалась его молодая супруга, Николетта Хефген, несколько странная и скованная, но впечатляющая — особенно в сценах безумия — Офелия.

Премьер-министр, сверкающий пурпуром, золотом и серебром, и его Лотта, мягко сияющая лазурным взглядом и рядом, стояли рядышком в своей ложе и рьяно аплодировали. То был знак примирения всемогущего со своим придворным шутком. Мефистофель — Хендрик воспринял его с благодарностью. Прекрасный и бледный в своем костюме Гамлета, он отвешивал глубокие поклоны высокой чете. «Лотта снова в меня втюрилась», — думал он, прижимая правую

руку к сердцу жестом, свидетельствовавшим о полном изнеможении и, однако же, красиво закругленным. Его большой, с особой тщательностью загримированный темно-красный рот изобразил взволнованную улыбку; под круглыми, черными дугами бровей сверкали обольстительные, сладкие и холодные огни; впалые страдальческие виски облагораживали лицо и придавали трогательность его злодейскому обаянию. Госпожа генеральша авиации взмахнула шелковым платочком того же лазоревого цвета, что и ее платье. Генерал оскалился. «Я снова вошел в милость», — облегченно подумал Гамлет.

Он отклонил все приглашения, изнеможенно извинился и приказал отвезти себя домой. Уже сидя один у себя в кабинете, он заметил, что сна ни в одном глазу. Он был растерзан и возбужден. Громкие аплодисменты не заглушили мысли о том, что он банкрот, он не состоялся, из него ничего не вышло. Хорошо и важно, что благосклонность толстяка, из-за которой он так дрожал, вновь завоевана. Но даже и этот значительный и важный итог вечера не мог утешить и отвлечь его от мыслей о фиаско. Его высокие запросы — лучшая сторона его честолюбия — не удовлетворены. «У меня не получился Гамлет, — думал он скорбно. — Газеты станут уверять, будто я до мозга костей датский принц. Но это ложь. Я был фальшив, я был плох — на такую самокритику меня еще станет. Когда я вспоминаю тот пустой голос, каким я декламировал «Быть или не быть...» — все во мне сжимается...»

Он опустил в кресло, стоявшее у раскрытого окна. Книгу, попавшую под руку, он бессильно отложил в сторону: то были «Цветы зла», они напомнили ему о Джульетте.

Из окна был вид на темный сад, оттуда подымались запахи цветов и сырости. Хендрик продрог, он запахнул на груди шелковый халат. Какой месяц теперь? Апрель? Или начало мая? Ему вдруг стало так грустно, давно уже он пропускает приближение весны и момент ее дивного превращения в лето. «Этот проклятый театр, — подумал он с болью и злостью, — он буквально пожирает меня. Из-за него я упускаю жизнь».

Он сидел с закрытыми глазами, когда его окликнул грубый голос:

— Эй! Господин директор!

Хендрик вскочил.

Какой-то тип забрался из сада к нему в окно; это был акробатический номер; частокол отсутствовал. Странная фи-

гура появилась в оконной раме. Хендрик страшно напугался. В течение нескольких секунд он решал, уж не видение ли это, не примерещилось ли, не результат ли это нервного перенапряжения? Но нет, этот тип не был похож на галлюцинацию. Было совершенно ясно: это живой человек. На нем была серая кепка и грязная голубая блуза. Верхняя часть лица пряталась в глубокой тени. Нижняя часть была покрыта рыжей щетиной.

— Чего вам надо?! — закричал Хефген и стал нащупывать звонок, который стоял у него за спиной на письменном столе.

— Не кричи ты! — сказал незнакомец не без грубого добродушия. — Я ведь тебе ничего не делаю.

— Чего вам от меня надо? — повторил Хендрик чуть по тише.

— Я пришел только для того, чтобы передать тебе привет от Отто, — сказал человек в окне. — Привет от Отто.

Лицо Хендрика побелело, как шелковый платок у него на шее.

— Я понятия не имею, о каком Отто вы говорите. — Голос его был почти беззвучен.

Короткий смешок, которым ему ответили с окна, прозвучал довольно жутко.

— Ну что, поспорим, что ты его еще вспомнишь? — дразнился посетитель. И уже совершенно серьезно он продолжал: — В последней записке, которую я получил от Отто, было черным по белому написано, чтобы мы передали тебе привет. Только не подумай, что я к тебе пришел шутки ради. Желания Отто мы уважаем.

Хендрик только прошептал:

— Я немедленно вызову полицию, если вы тут же не исчезнете.

Ответом был почти задушевный смех.

— Ты на это способен, товарищ! — воскликнул он весело.

Хендрик как можно более незаметно выдвинул ящик письменного стола и сунул в карман револьвер. Он надеялся, что гость в окне этого не заметит; но тот уже закричал, презрительным жестом отодвинув со лба кепку:

— Эту штуку ты бы мог спокойно оставить в столе, господин директор. Зачем стрелять — только наживать неприятности. Чего ты боишься? Я же тебе только что сказал, что на этот раз не причиню тебе вреда.

Он был гораздо моложе, чем сначала показалось Хендрику. Теперь, когда тень кепки сошла со лба, это стало видно. У него было прекрасное, дикое лицо с широкими славянскими скулами и странно светлыми, очень зелеными глазами. Брови и ресницы были рыжеватые, как и толстая жесткая щетина. И сама кожа была светлого кирпичного оттенка, как у всех, кто целые дни проводит на воздухе под солнцем.

«Может быть, он сумасшедший, — подумал Хендрик, и в этом предположении, хоть оно и грозило самыми страшными перспективами, было что-то успокоительное, почти утешительное. — Да, вполне возможно, что он сумасшедший. В здравом уме он не нанес бы мне этого безумного визита — ведь он может стоить ему жизни, а пользы никому не принесет. Ни один разумный человек не будет ставить все на карту ради того, чтобы меня немного попугать. Почти невозможно себе представить, что Отто дал ему такое поручение. Отто отнюдь не был склонен к эксцентрическим выходкам. Он знал, что нам надо беречь свои силы для более серьезных дел...»

Хендрик приблизился к окну. Он заговорил с пришельцем, как с большим, считая, однако, разумным держать руку на рукоятке револьвера, спрятанного в кармане халата.

— Убирайтесь-ка вон! Я вам по-хорошему говорю! Снизу вас может увидеть прислуга. В любой момент сюда могут войти моя жена или мать. Вы себя подвергаете самой страшной опасности. И совершенно впустую. Уходите скорей! — раздраженно восклицал Хендрик.

Но фигура в оконной раме оставалась неподвижной. Человек в окне вместо того, чтобы последовать доброжелательным советам Хефгена, заговорил голосом, вдруг зазвучавшим гораздо глубже и совершенно спокойно:

— Расскажи своим могущественным друзьям, что Отто за час до смерти передал мне следующие слова: «Я гораздо больше, чем когда-нибудь прежде, убежден в нашей победе». Это было, когда на его теле не оставалось живого места от побоев и когда он с трудом мог говорить, потому, что рот его был полон крови.

— Откуда вы это знаете? — спросил Хендрик. Его дыхание участилось, стало прерывистым, он задыхался.

— Откуда я это знаю? — Посетитель опять засмеялся — коротким, веселым, жутким смешком. — От одного эсэсовца,

который до конца был возле него и который, собственно, наш человек. Он запомнил все, что Отто говорил в последний час. «Мы победим!» — повторял он беспрестанно.

Посетитель, опираясь обеими руками об оконный карниз, перегнулся вперед корпусом и угрожающе смотрел на хозяина своими светящимися зелеными глазами, похожими на глаза сумасшедшего.

Хендрик отпрянул, как пламенем обожженный этим взглядом, и прохрипел:

— Зачем вы мне все это рассказываете??!

— Чтобы об этом узнали твои высокие друзья! — со злым торжеством вскричал незнакомец. — Чтобы об этом узнали твои великие подлецы! Чтобы об этом узнал господин премьер-министр!

Нервы у Хендрика не выдержали. Он странно задержался. Руки взлетали вверх, к лицу, и снова опускались, губы вздрагивали, а мерцающие глаза закатывались.

— Что все это значит?! — выдавил он из себя, и на губах его выступила пена. — Какую цель вы, собственно, преследуете этой театральной шуткой? Вы хотите меня шантажировать? Хотите деньги получить от меня? Вот, пожалуйста, берите. — Он бессмысленно полез в шелковый карман своего пеньюара, в котором был лишь револьвер, но никоим образом не деньги. — Или вы намерены всего только меня напугать? Это вам не удастся! Вы думаете, я дрожу от страха из-за того, что вы придете к власти, ибо, конечно, когда-нибудь вы захватите власть в свои руки!

Директор двигал белыми, дрожащими губами и почти порхал по комнате.

— Но напротив! — кричал он резким голосом, останавливаясь посредине комнаты. — Тогда-то я и стану истинно велик! Может, вы думаете, я на этот случай не застраховался? Ого! — истерически торжествовал директор. — У меня самые лучшие отношения с вашими кругами. Коммунистическая партия меня ценит, она обязана мне многим!

В ответ раздался саркастический смех.

— Как бы не так, — воскликнул тот страшный в окне. — «Лучшие отношения с нашими кругами!» Нет, дружок, этот номер у тебя не пройдет! Мы научились быть непримиримыми, господин директор, — и я сюда залез только для того, чтобы тебя информировать: мы теперь обучились непримиримости. У нас хорошая память — у нас просто великолепная па-

мать, дружочек! Мы никого не забудем! Мы знаем, кого нам вешать в первую очередь!

Тут Хендрик смог только провизжать:

— Убирайтесь к черту! Если вы через пять секунд не исчезнете, я вызову полицию — тогда посмотрим, кого из нас вздернут раньше!

Дрожа от ярости, он хотел чем-нибудь швырнуть в чудовище, но ничего, что годилось бы для этой цели, не нашел и сорвал с носа роговые очки. Испутив хриплый вопль, он швырнул роговые очки в направлении окна. Но этот жалкий снаряд не попал в противника и с тихим звоном разбился о стену.

Ужасный гость исчез. Хендрик подбежал к окну, стал кричать ему вдогонку.

— Я незаменим! — кричал директор в темный сад. — Я нужен театру, а любой режим нуждается в театре! Ни один режим не обойдется без меня!

Он не получил ответа; от рыжебородого эквилибриста не осталось и следа. Казалось, его поглотил ночной сад. Ночной сад шуршал черными деревьями, темными кустами, поблескивал светлыми цветами. Сад источал аромат, источал свое прохладное дыхание. Хендрик утер мокрый лоб. Он наклонился, поднял очки и с грустью отметил, что они разбиты. Медленно, неверным шагом он прошелся по комнате, как слепой, держась за мебель; глаза его затуманились от ужаса, к тому же им не хватало привычных очков.

Опускаясь в низкое широкое кресло, он почувствовал, как бесконечно устал. «Ну и вечерок!» — подумал он, испытывая глубокую жалость к самому себе. Господи, что ему пришлось перенести. «Такое ведь подкосит и самого сильного человека. — И он спрятал мокрое лицо в ладони. — А я ведь не из самых сильных». Хорошо бы теперь немножко поплакать. Но не хотелось проливать слезы, которых никто не увидит. После всех пережитых ужасов он имел право рассчитывать на утешительную близость любимого человека.

«Я всех потерял, — сетовал он. — Барбару, моего доброго ангела; и принцессу Тебаб, темный источник моей силы; и фрау фон Герцфельд, верного друга, и даже маленькую Ангелику; всех, всех я лишился». В своей великой печали он подумал, что мертвый Отто Ульрихс достоин зависти. Тому больше не нужно переносить боль; он свободен от одиночества этой горькой жизни. Его последние мысли были пол-

ны веры и гордой убежденности. И даже Миклас достоин зависти — Ганс Миклас, этот упрямый маленький враг... Все они достойны зависти, они умели верить. И вдвойне достойны зависти те, кто в упоении веры отдал жизнь...

Как пережить этот вечер? Как преодолеть этот час, полный глубокой растерянности, полный страха и тоски, блуждания в пустоте, близости к отчаянию? Хендрик подумал, что вряд ли еще хоть несколько минут вынесет такое одиночество.

Он знал, что наверху, в своем будуаре, его ожидает жена — Николетта. Наверное, у нее под легким шелковым халатом надеты высокие эластичные сапожки из красной кожи. Плетка, которая лежала на туалетном столике рядом с пудреницами, пастами и флаконами, была зеленого цвета. Джульеттина плетка была красная, а сапоги зеленые...

Можно подняться наверх к Николетте. Она изогнет для поздравленья свои резкие губы; она заблестит кошачьими глазами и произнесет что-нибудь шутовское, великолепно артикулируя каждый слог. Нет, это не то, чего хотелось Хендрику, — не то, что ему так настоятельно требовалось.

Он опустил руки. Помрачневший взгляд пытался разобраться во мраке комнаты. С трудом удалось ему узнать библиотеку, большие фотографии в рамках, ковры, бронзу, вазы и картины. Да, все выглядело изысканно и элегантно. Он многого достиг, никто не станет это отрицать. Директор, государственный советник и сенатор, которого только что чествовали в роли Гамлета, отдыхает в комфортабельном кабинете своего пышного дома...

Хендрик снова застонал. Вдруг открылась дверь. То вошла фрау Белла. Его мать.

— Мне показалось, будто я слышала голоса, — сказала она. — У тебя были гости, дорогой?

Он медленно повернул к ней бледное лицо.

— Нет, — сказал он тихо. — Здесь никого не было.

Она улыбнулась.

— Вот ведь как можно ослышаться!

Потом она подошла к нему поближе. Он теперь только заметил, что она на ходу что-то вязала. У нее в руках был большой моток шерсти — наверное, будущий шарф или свитер.

— Мне так жалко, что я сегодня вечером не смогла быть в театре, — сказала она, глядя на свое вязанье. — Но ты же знаешь: у меня мигрень, я себя очень плохо чувствовала. Как прошел спектакль? Большой успех? Ну, расскажи!

Он отвечал механически и смотрел, казалось, мимо нее. Но нет, он пожирал ее взглядом с какой-то странной и рассеянной алчностью:

— Да, успех.

— Так я и думала, — кивнула она удовлетворенно. — Но у тебя утомленный вид. Тебе нехорошо? Дать тебе чаю? Он молча покачал головой.

Она уселась рядом с ним на широкую ручку кресла.

— У тебя такие странные глаза... — Она озабоченно разглядывала его. — Где твои очки?

— Разбились.

Он попытался улыбнуться. Попытка не удалась. Фрау Белла прикоснулась пальцами к его лысой голове.

— Как глупо! — сказала она, наклонившись к нему.

И тут он заплакал. Он наклонился вперед всем корпусом, уткнувшись лбом в колени матери. Плечи содрогались от рыданий.

Фрау Белла привыкла к нервным припадкам своего сына. Но тут она испугалась. Инстинкт подсказал ей, что у этих рыданий иные, более глубокие и скверные причины, что это не те маленькие приступы, которые он себе так часто позволял.

— Но что же случилось, что?.. — говорила она. Ее лицо, так похожее на лицо ее сына, но казавшееся более невинным и в то же время более опытным, было подле его лица. Она почувствовала на своих руках его слезы. Он сильным движением обхватил ее шею, словно хотел за нее удержаться. Ее прическа пришла в беспорядок. Она слышала, как он пыхтит и стонет. Сердце ее разрывалось от сочувствия. Сочувствуя, она поняла все. Она поняла всю его вину, его великое банкротство и горечь от неполноты раскаяния. Она поняла, почему он здесь лежит и рыдает.

— Ну Гейнц, — шептала она. — Ну Гейнц, успокойся же! Ведь все не так уж страшно! Ну Гейнц! — При этом обращении, при этом имени юных лет, отброшенном его честолюбием и высокомерием, рыдания стали лишь сильнее, но вот они понемногу стихли. И плечи успокоились. И лицо уже тихо покоилось на коленях фрау Беллы.

Прошла не одна минута, прежде чем он медленно поднялся. На ресницах его висели слезинки, и слезы еще увлажняли щеки, победный рот, столь многих обольстивший, искривился, а благородный подбородок, который он умел так гордо вздывать в часы торжества, теперь жалобно трясся. И, стоя так, запрокинув усталое, мокрое от слез лицо, раскинув руки красивым, жалобным, беспомощным жестом, он воскликнул:

— И чего чм всем от меня надо? Почему меня преследуют? Почему все так жестоки? Я ведь всего-навсего самый обыкновенный актер!

Все персонажи этой книги представляют собой типы, а не портреты.

К. М.

Счастье это или несчастье — быть сыном великого человека? В детстве Клаус не сомневался, что ему выпала самая завидная участь — иметь отцом Томаса Манна, знаменитого на весь мир писателя, который был для него, как и для пяти его сестер и братьев, просто добрым и мудрым волшебником. Однако на исходе своей недолгой жизни Манн-младший признавался, что «быть сыном гения нелегко».

Невыгоды своего положения он ощутил довольно рано, когда девятнадцатилетним юношей выступил в 1925 году со сборником рассказов, отважившись, таким образом, избрать поприще, на котором блистал его увенчанный лаврами отец. Клаус Манн был очень талантлив, образован, тонок, умен, он обладал редким даром писать ненапряжно, легко; даже самые смутные и неуловимые чувства и мысли под его пером как бы сами собой принимали изящно-чеканные словесные формы. Но человеку редкого дарования, ему суждено было стать писателем на редкость трудной судьбы. Критика встретила его дебют крайне недоброжелательно. Подозрительно-насмешливый тон («Сынок», «Протеже» и т. д.), установившийся в ней с самого начала, сопровождал Клауса Манна долгие годы. Его романы, пьесы, репортажи, новеллы имели, правда, успех, но успех этот почти всегда омрачало досадное улюлюканье и зубоскальство критики. Известный художник Теодор Гейне поместил как-то в одном из журналов карикатуру: коварно ухмыляющийся Клаус Манн говорит своему опешившему отцу: «Считается, что у гениальных родителей не бывает гениальных детей. Если это правда, папа, то ты не гений!» «Весь мир говорит о Клаусе Манне, сыне Томаса Манна, кто же такой, наконец, этот Томас Манн?» — съехидничал однажды в печати молодой и насмешливый Б. Б. — Берт Брехт. И это были еще самые невинные шутки.

«Великий ироник» Томас Манн учил сына иронически относиться к насмешкам. Духовный стоицизм, веру в собственные творческие возможности поддерживал в нем добрейший Стефан Цвейг. Но выполнить эти заветы было не просто. По молодости лет, стремясь во что бы то ни стало не походить на отца, Клаус Манн отдал немалую дань декадансу и мистике, увлекался Новалисом, Бодлером, Эдгаром По. В двадцатые годы он слыл утонченным эстетом, неистовым поборником отрешенных от жизни духовных игр. Тысяча девятьсот тридцать третий год, ставший роковым в истории Германии — в этот год к власти пришли фашисты, — многое изменил в судьбе Клауса Манна. Не раздумывая и не медля, он покинул родную страну, чтобы вернуться в нее весной сорок пятого года солдатом одной из союзнических армий. Годы эмиграции стали годами духовного прозрения писателя. В эти годы энергия и талант Клауса Манна обрели решимость и твердость и в полной мере раскрылись в антифа-

шистской борьбе, в которой писатель принимал самое деятельное участие. Он издает журнал «Собрание» (1933—1935), явившийся трибуной многих видных писателей-эмигрантов, выступает со статьями и рецензиями, принимает участие в дискуссиях и антифашистских митингах, присутствует по приглашению Союза советских писателей на его первом съезде, произносит гневную обвинительную речь против фашизма на конгрессе в защиту культуры в Париже и постоянно работает над своими новыми произведениями.

В годы эмиграции к Клаусу Манну-художнику приходит зрелость. За сравнительно короткое время он создает четыре романа (всего им написано шесть). Один из них, «Патетическая симфония» (1935), интересен и важен для нас тем, что посвящен жизни Чайковского, одного из любимых композиторов Клауса Манна, само обращение которого к русской культуре носило в то время подчеркнуто антифашистский характер. Два других романа — «Бегство на север» (1934) и «Вулкан» (1939) — рисуют картину мытарств и борьбы немецких беженцев тридцать третьего года. Вместе с наиболее известным романом Клауса Манна «Мефистофель» (1936) эти произведения справедливо считаются весомым вкладом семейства Маннов в антифашистскую немецкую литературу.

Клаус Манн не был коммунистом, но он прекрасно сознавал, что победить фашизм можно, только опираясь на Советский Союз. О своем непрестом пути познания этой исторической истины, о своем духовном движении от эстетского индивидуализма к идее содружества наций в борьбе с общим врагом и одновременно о путях развития немецкой и европейской литературы XX века Клаус Манн поведал в книге воспоминаний «Поворотный пункт» (1944), которая, безусловно, принадлежит к числу лучших мемуарных книг в немецкой литературе текущего столетия — наряду с «Обзором эпохи» Генриха Манна и «Вчерашним днем» Стефана Цвейга.

Портретные зарисовки, носящие характер воспоминаний и автобиографии, особенно удавались Клаусу Манну. Он был неважный фантаст и, может быть, неблестящий конструктор сюжета, но пережитое и увиденное им лично умел передать с яркой наглядностью и достоверностью, доступной только большим мастерам. Клаусу Манну была совершенно чужда «объективирующая» манера повествования, все его наблюдения в романах основаны на глубоко личном опыте. Все или почти все его персонажи написаны с натуры.

В конце романа «Мефистофель» автор уверяет читателя, что изображенные им персонажи — типы, а не портреты. И это, конечно, верно. Клаус Манн хоть и писал с натуры, но не был натуралистом. Герои «Мефистофеля» дают представление об образе жизни и образе мысли определенных социальных слоев и групп, они воплощают некоторые ве-

дущие тенденции в общественной жизни Германии после фашистского переворота. Но в то же время они несут на себе явные признаки портретного сходства с довольно известными лицами — настолько явные, что судебные инстанции ФРГ на основании жалобы популярного немецкого актера и режиссера Густава Грюндгенса, узнавшего себя в главном герое «Мефистофеля» Хендрике Хефгене, потребовали запрещения романа. Впрочем, у боннских властей, чуть ли не открыто покровительствующих неонацистам, были и иные, политические резоны запретить этот роман.

Своеобразное пристрастие К. Манна к «натуре» сказалось и в его «Мефистофеле». Дело в том, что не только Хефгену, но почти каждому персонажу этого романа приданы те или иные черты реально существовавших или здравствующих и поныне лиц.

Сам Густав Грюндгенс, «человек с талантом и без характера», привлек внимание писателя, по его собственным словам, «вовсе не потому, что был хуже других (среди именитых господ «третьего рейха» были типы и похлестче), просто, — пишет К. Манн, — я хорошо знал Грюндгенса, и его метаморфоза, его предательство показались мне настолько невероятными, фантастически неслыханными, что прямо просились в роман». Густав Грюндгенс был некоторое время мужем сестры Клауса Манна Эрики, и писатель часто виделся с ним в конце двадцатых годов, когда прославленный артист кокетничал своей напускной революционностью и распинался в любви к рабочему классу.

В романе не трудно установить по крайней мере дюжину других соответствий. Укажем только на наиболее любопытные из них.

За Оскаром Кроге скрывается довольно известный режиссер, руководитель Гамбургского Художественного театра двадцатых годов Эрих Цигель. Профессор, — это, без сомнения, знаменитый Макс Рейнхард, «папа» немецкой режиссуры XX века; его место в истории немецкого театра примерно соответствует месту Станиславского в истории театра русского. Дора Мартин в романе, по-видимому, совмещает черты двух знаменитых немецких актрис — Элизабет Бергнер и Терезы Гизе, с которой К. Манн был очень дружен и которой посвятил «Мефистофеля».

Занятое происшествие с заведующим постановочной частью Кацем, который оказался автором нашумевшей пьесы «Вина», поставленной под неразгаданным псевдонимом, произошло на самом деле с Теодором Таггером, возглавлявшим берлинский «Ренессанс-театр»: в 1928 году он, укрывшись под псевдонимом Фердинанд Брукнер, анонимно предложил свою пьесу «Преступники» нескольким театрам, пьеса была принята и имела триумфальный успех, положив начало карьере одного из наиболее значительных немецких драматургов века.

«Придворному» поэту и драматургу Цезарю фон Муку соответствует

Ганс Иост, скандально известный писатель, начинавший свой путь как экспрессионист, а закончивший его как фашистский преступник.

Беньямин Пельц — это Готфрид Бенн, единственный крупный писатель, попавшийся — хоть и ненадолго — на удочку трескучей нацистской демагогии, поверивший, что Гитлер принесет Германии «духовное возрождение». Когда в 1933 году до эмигрантов дошли слухи о верноподданнических действиях Бенна, искавшего расположения литературных заправил рейха, Клаус Манн через «Собрание» сразу же обратился к нему с открытым письмом, напоминая о гражданском долге писателя в «катастрофическую» эпоху. Бенн использовал это письмо в качестве мишени для нападок на литераторов-эмигрантов в своей печально известной речи по радио 11 мая 1933 года, от которой впоследствии отрекался, признавая, что в позиции Клауса Манна было больше «мудрости и прозорливости».

Теофиль Мардер — это, конечно же, Карл Штернгейм, известный драматург-сатирик начала века, действительно страдавший манией величия, почитавший себя вторым Мольером и закончивший жизнь в психиатрической клинике. В его возлюбленной Николетте фон Нибур угадывается Памела Ведекинд, дочь другого не менее известного драматурга того времени и сама актриса. Восемнадцати лет Клаус Манн был обручен с Памелой Ведекинд, но их брак не состоялся: эксцентричная, в отца, Памела, отдав руку Карлу Штернгейму, предпочла маньяка мальчишке.

В пестрой веренице персонажей романа даны портреты и домочадцев Клауса Манна. Тайный советник Брукнер с несомненностью обнаруживает сходство с Томасом Манном. Любимая сестра Клауса Манна Эрика нашла под его пером несколько идеализированное отображение в образе Барбары. И довершает эту галерею автопортрет писателя, вполне различимый, хотя и выполненный — по примеру старых художников — где-то сбоку, едва ли не на заднем плане: черты самого автора приданы Себастьяну.

Еще один персонаж романа вряд ли нуждается в особой идентификации: всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с документальной историей фашизма, без труда узнает Геринга в чудовищном толстяке, покровителе Хефгена, хотя его фамилия ни разу не называется. Клаус Манн дает острогротескный портрет этого верховного палача «третьего рейха». Фашистский главарь выглядит под его пером не как человек, а как чучело монстра, и место его в паноптикуме, среди прочих мертвых уродов и отвратительных масок, из каковых и слагается, по Клаусу Манну, верхушка империи. Даже не «приличьем стянутые маски», а просто свиные рыла в сюртуках и мундирах правят описанным в прологе балом, на котором собран напыжившийся и безмозглый сброд, выдаваемый бесноватым временщиком Гитлером за «расу господ».

Социальный диапазон романа как будто не очень широк, он ограничен рамками театра. И хотя театр принято считать зеркалом действительности, всю полноту картины общественного развития он дать не может. Тем не менее Клаусу Манну удается верно нащупать и вскрыть социальную, экономическую и политическую природу фашизма, причем на уровне самых широких и непосредственных обобщений. Эти обобщения составляют суть «публицистических отступлений», играющих в этом романе роль своеобразных идейных перил. Не в последнюю очередь именно благодаря этим отступлениям в «Мефистофеле» возникает выразительная атмосфера кануна фашистского переворота — этого истерического, нервного, нездорового времени, когда «рушатся министерства», «крупные землевладельцы интригуют против дрожащей республики», «демократы кланутся, что враг слева», а «главы полиции, именующие себя социалистами, приказывают стрелять по рабочим». В успехе фашистов, справедливо утверждает Клаус Манн, виновны в первую очередь богачи, «ведающие лишь один страх — страх перед таким правительством, которому пришло бы в голову заставить их немного раскошелиться», то есть перед диктатурой пролетариата, которой капиталистические магнаты предпочитают фашистскую диктатуру.

Глубинно-психологические аспекты социального размежевания в один из самых кризисных моментов в истории Германии раскрывает образная система романа. Это размежевание коснулось и маленького коллектива Гамбургского Художественного театра, на котором отражаются противоборствующие и разнонаправленные политические силы конца 20-х годов. Если молодой актер Миклас поддался дурману нацистской шовинистической пропаганды и, как новому мессии, безоглядно и безоговорочно поверил Гитлеру, то его коллега и сверстник Ульрих связал свою судьбу с коммунистическим движением и остается верен своим идеалам, несмотря на свирепый террористический режим, установившийся в стране после прихода фашистов к власти и направленный прежде всего против их политических противников — коммунистов. Героическая смерть Ульрихса звучит в романе оптимистически — как залог грядущей победы передовых общественных сил над банкротами коричневой империи.

«Мефистофель» написан на третьем году существования «тысячелетнего рейха», но скорый крах его ощущается в каждой строчке романа. Этот крах предreshен совместными усилиями и мужественной борьбой как участников Сопrotивления, так и антифашистов-эмигрантов, опирающихся на моральную поддержку всего прогрессивного мира.

О скором крушении бесчеловечного государства свидетельствует и логика развития образа Хендрика Хефгена, центрального героя романа. Создание этого типажа следует отнести к числу самых блестящих художественных удач Клауса Манна.

Образ Хендрика Хефгена выполняет в романе функцию своеобразного композиционного позвоночника, он скрепляет грозящее распадом повествование, придает ему форму. Но как характер Хефген бесхребетен. Его «блистательная, не знающая предела, дерзкая способность к перевоплощению» набухла и разрослась в нем, словно раковая опухоль, поглотив моральные принципы и устои, то есть уничтожив его как личность. Как на сцене Хефген меняет римскую тогу на пышный убор восточного деспота, пижаму на фрак, так и в жизни он меняет убеждения и взгляды, норовя приспособиться к меняющимся обстоятельствам. В двадцатые годы он ждет успеха коммунистов и разглагольствует о Революционном театре, хотя и пальцем не шевелит для его действительного устройства. После переворота он изо всех сил старается подладиться к новым властям и добивается своего — фашисты, как выясняется, любят ренегатов. В том, как неуверен в себе процветающий при фашистах Хефген, еще один намек на недолговечность и призрачность нового режима.

Хефген знает, что «театр всегда будет интересовать людей, что бы ни случилось с Германией», и на это делает ставку. Его занимает только личный успех, политикой он интересуется лишь постольку, поскольку она может содействовать или препятствовать этому успеху. В глубине же души он глубоко равнодушен к политическим интересам своего времени, и это равнодушие неизбежно приводит его к нравственному отупению и душевной выхолощенности.

Но с пустым сердцем нельзя создавать искусство. Хефген еще мог иметь успех у низкопробной публики рейха в роли Мефистофеля, и то благодаря тому, что измелчил образ этого «странного сына хаоса», превратив его из князя тьмы в мелкого беса — такого же «плута», мелко-травчатого и зловредного, каким были сидевшие в зале приспешники фюрера. Но в роли Гамлета он терпит фиаско. И это далеко не случайно. Гамлет выступает в романе символом традиционного, веками складывавшегося гуманизма, рожденного размышлением, приобретенного ценой великих интеллектуальных усилий и больших нравственных страданий, душевной борьбы, то есть всего того, что напрочь отвергали смахивавшие на солдафонов служители профашистской псевдокультуры. Падение Хефгена-человека обернулось крахом Хефгена-художника. За этим крахом провидится гибель всего режима, ибо Хефген «давно уже угадывал таинственную взаимосвязь между самим собой и той сомнительной развращенной сферой, которую представлял его могучий покровитель». Мелкий бес от искусства, сатирически сниженный Мефистофель, Хендрик Хефген сам становится олицетворением обреченного на бесславный конец фашистского режима, насквозь фальшивого и комедиантского.

Клаус Манн отдал все свои силы писателя и человека борьбе с фа-

шизмом. Он полагал, что победить фашизм в войне — значит избавить человечество от всех бед и напастей. Действительность Западной Германии и Европы первых послевоенных лет опрокинула эти надежды. Увы, народы не слились в братских объятиях под звуки шиллеровского гимна «Обнимитесь, миллионы!», как наивно надеялся Клаус Манн. Он не нашел себе места в послевоенной Европе с ее новыми трудностями и новой борьбой и, находясь в Каннах, летом 1949 года покончил с собой. Но остались жить его книги. Живет и сражается «Мефистофель», ставший сейчас, когда голову поднимают неонацисты, вновь таким же злободневным, как тридцать лет назад.

Ю. Архипов

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог. 1936	9
I. «Г. Х.»	26
II. Урок танца	49
III. «Кнорке»	66
IV. Барбара	88
V. Супруг	112
VI. «Невозможно описать...»	142
VII. Сделка с дьяволом	174
VIII. По трупам	201
IX. По разным городам, по разным странам... .	223
X. Угроза	249
Послесловие	297

Манн, Клаус.

МЕФИСТОФЕЛЬ. Пер. с нем. К. Богатырева. М., «Молодая гвардия», 1970. 304 с., с илл. И (Нем)

Редактор **Л. Васильева.**
Художественный редактор **А. Степанова.**
Технический редактор **А. Захарова.**

Сдано в набор 8/XII 1969 г. Подписано к печати 30/III 1970 г. Формат 60×84^{1/16}. Бумага № 2. Печ. л. 19 (усл. 17,67). Уч.-изд. л. 17,1. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 03 к. Т. П. 1969 г., № 439. Заказ 2532.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Суцневская, 21.

1 р. 03 к.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

